

Виктор Ерофеев
Русская красавица

Русская красавица

П

Виктор Ерофеев



Виктор Ерофеев
Русская красавица



Виктор Ерофеев

Русская красавица

роман

Москва

ЗебраЕ

2001

ББК 87Р7

Е 78

*Художественное оформление
и макет А. Бондаренко*

Ерофеев В.

Е 78 Русская красавица: Роман. — М.: Зебра Е, 2001. — 464 с.

Российский читатель XXI века получает возможность лучше понять себя и мир благодаря увлекательному чтению лучших произведений Виктора Ерофеева, собранных в новую серию из 12 книг. Серию открывает мировой бестселлер писателя, роман «Русская красавица», переведенный на 30 языков.

ББК 87Р7

ISBN 5-94663-001-6

© В. Ерофеев, 2001

© Издательский Дом «Зебра Е», 2001

© А. Бондаренко, оформление, 2001

— Ну?!

Вместо ответа ушел с головой. Кряхтя, шумно отдуваясь, полз. Ползти было склизко. Он то и дело упирался в темноте в тугие эластичные предметы, которые покачивались, будто беспривязные дирижабли, и нехотя уступали дорогу, уплывая в сторону. Густой клубящийся запах обескураживал, но он крепился и полз вперед, бормоча под нос латинские названия, призванные расколдовать угрюмый и хищный мир таинственного чертога, придать затруднительному движению характер научной командировки.

Настойчивость, опыт, вера в медицинскую латынь не в малой мере способствовали. Благополучно проскользнув в расселину между теплыми, булькающими внутри себя камнями, которые напоминали не то бурдюки

с подогретым вином, не то моллюсков, поскольку обладали весьма противными на вид гребешками, гребешочками и присосочками, что ни на секунду не прекращали беспорядочного шевеления, шевелясь на худеньких ножках, — итак, благополучно миновав указанные присосочки, хотя для этого пришлось вырвать несколько присосочек с корнем, причем моллюск стал сочиться кровью, он достиг положенной цели и, невольно охваченный сильным волнением, залюбовался открывшимся перед ним видом:

В ШИРОКОЙ, ОБЛАСКАННОЙ СОЛНЦЕМ ДОЛИНЕ ГОЛУБЫМ НЕЖНЫМ ЦВЕТОМ РАСЦВЕТАЛИ БЕРГАМотовые ДЕРЕВЬЯ.

— Ну? Ну, что вы там?! Эй!

Станислав Альбертович сиял. Станислав Альбертович бросился ко мне со своими слюнявыми поцелуями. Поздравляю! Поздравляю! Он был по-стариковски растроган. Я даже удивилась, хотя известие пришлось мне обухом по голове, и черные круги перед глазами, но я сдержалась, не крикнула дурным голосом, не забилась, не грохнулась в обморок, я только вцепилась пальцами в подлокотники кресла, приняла удар безропотно и достойно, как монашенка или королева.

Русская красавица

В сердце вошла игла жути. Сердце затрепетало в предсмертной скуке, затрепетало, ёкнуло, остановилось. Пот струйками стекал по хребту. С подброшенными вверх ногами я расставалась с жизнью, которая в этот злосчастный год демонстративно повернулась ко мне спиной, она указывала дорогу в такие трущобы и дебри, куда не ступала нога современного человека, а если и ступала, то тут же проваливалась и исчезала бесследно.

Я отвергла ватку с нашатырем — спасибо! — и посмотрела на Станислава Альбертовича с нескрываемым подозрением. Что это он, собственно, так растрогался? Ему что за дело?.. Ах, сука! Думаешь, я забыла?! Я все помню, Станислав Альбертович, все! У меня, Станислав Альбертович, длинная память. И про бабушку русского аборта помню, и про деток в неволе... Но я была шокирована известием и промолчала, воспринимая удар судьбы, хотя новость была относительная, и привкус этот во рту я узнала, как только однажды проснулась, безоговорочный привкус, самый ранний вестник тревоги, да и внизу тянуло, как всякий раз встарь, когда, беззаботно смеясь, залетала, утративши бдительность, однако надежда бодрила меня несомненно, потому как не могло этого случиться, в один голос они уверяли, никогда больше,

и в хоре белых халатов Станислав Альбертович первый сокрушенно разводил руками, строил из себя фигуру сострадания, а я им из кресла смеялась: — Не хнычьте обо мне! — и шутила про деток в неволе, так что в конце концов я имела все основания верить и, беззаботно смеясь, давно махнула рукой на разного рода предосторожности, на всякие там спирали, пилюли, лимоны и мыла кусочки, не говоря уж о прочих спасательных кругах, а лекарь он, что говорить, неплохой, таких не сыщешь днем с огнем, несмотря на наклонности, которые, как заметила Ксюша, сведшая меня с ним на медовой заре нашего знакомства, когда она еще не была француженкой и не носилась впотьмах на розовом рыкающем авто, а был у нее тогда канареечный жигуленок, на нем-то она отвезла меня к Станиславу Альбертовичу, рассказав по дороге про некоторые его наклонности, которые, как заметила Ксюша, выводят пациенток из летаргического уныния. Что же мне от него отказываться, если он мне теперь позарез пригодится, пусть и сука порядочная! Ладно, я только отмахнулась от слюнявых поцелуев и ватку отвергла. Он же, несправедливо истолковав мою слабость в благоприятном для себя отношении, а также для дела приумножения людских ресурсов, зарумянился, заворковал в умилении, что,

Русская красавица

дескать, невиданное чудо, хоть впору симпозиум созывать и докладывать, что выкинула наша игрунья, наша шаловливая киска, а я ему: ручки от киски прочь! Он ручки не спеша отдернул, стоит и смеется, и щеки трясутся.

Эх вы, Станислав Альбертович, неутомимый козел! Как вам не надоест, с утра до вечера шуруете и шуруете, зрение потеряли на вашей должности, а все не угомонитесь, все не насытите вашу мальчишескую любознательность, как припали к матовому окошку, так всю жизнь под ним простояли!.. Ладно, сказала строго, дайте мне сначала с вашего кресла слезть (а помните, Станислав Альбертович, как я к вам в первый раз пришла, по рекомендации Ксюши, жалуясь на болезненные разрывы тканей, и вы, прикрываясь врачебным иммунитетом, изволили меня безнаказанно за груди щипать? Я тогда молодая была, веселая...), дайте слезть с этой чертовой карусели, летящей в камеру мрака и ужаса, вот, и натянуть, с позволения сказать, трусы!.. Отстаньте! Ох, Станислав Альбертович, горбатого могила исправит, а про себя: не исправит могила горбатого, темное это дело, горбатый сам могилу исправит, оттого и мурашки по телу, и в сердце жути игла, но я скрепилась, делаю вид, что одеваюсь.

Ну вот, говорю, другое дело, теперь можете и поздравлять. Мерси, конечно, только, собственно, с чем? Как с чем? То есть как с чем?! Вы, деточка, уже не девочка, чтобы не понимать, свидетелями какого чуда мы нынче с вами являемся вопреки всем научным законам бесплодия, которое, перебиваю его, меня распрекрасным образом устраивало, во что, возражает он мне, я никогда не верил и не поверю, видя в этом одну лишь стоическую систему вашей, деточка, самозащиты, а зря, Станислав Альбертович, очень зря, и вообще рассказать бы вам о нюансах этого чуда, так вы бы сами поняли, что это не вариант, и, вместо того, чтобы горячиться, потребовали бы как врач безотлагательно прекратить развитие чуда в зародыше, на чем, собственно, и настаиваю и что, согласно моим правам и желаниям, исполню, предпочтительно с вашей помощью, любезный Станислав Альбертович. Я так понимаю, что дело в отце, он что, простите за выражение, дебил? алкоголик? незнакомый вам человек? Хуже! — лаконично ответила я. Станислав Альбертович опешил и, поглупев на глазах, задумался... Негр? — наконец вымолвил доктор. Несмотря на то, что в душе был озноб, я захохотала, как будто меня щекочут, хотя, честно сказать, не боюсь щекотки

Русская красавица

или, если боюсь, то самую малость, я скорее не люблю, когда меня щекочат, чем боюсь, в отличие от Ритули, которая сама напрашивается на щекотание, находя в этом непонятное для меня девичье удовольствие. Она еще молоденькая, Ритуля, и я снисходительно смотрю на нее, как она хохочет, когда я ее щекочу. Ну, если человек хочет, почему бы его не пощекотать? Скоро придет Ритуля. У тебя когда-нибудь был негр? — спросила меня Ритуля. Нет, — искренне созналась я. Я всегда была чистоплотна. А за Ритулей ухаживал Жоэль с Мартиники. Негр, но, что характерно, тоже с французским паспортом.

Ритуля ему даже минет делала! А потом он уехал и прислал с Мартиники открытку с видом на лагуну и лохматые пальмы, где он писал, что ему в нашей стране не понравилось, потому что здесь слишком холодно и нет карнавалов. Ритуля очень негодовала и называла Жоэля неблагодарной скотиной.

Нет, — говорю я Станиславу Альбертовичу, — не негр. Хуже! — Хуже не бывает, недоумевает Станислав Альбертович, а самому интересно. Я ничего не ответила. Ненадежный человек. Ладно, сказала я, кончим этот разговор. Он угостил меня сигаретой. Можно вам, деточка, дать совет? Я пожала плечами, но он, невзирая

на это, все же продолжил: вы, разумеется, можете не считаться с моим мнением, деточка. Вы — знаменитая женщина, прославившаяся на весь мир печатно и посредством эфира, у вас, понятное дело, друзья, покровители и советчики, то есть вижу: касается скользкой темы, и не мне, старомодному старику, вскорости выходящему на полный покой и переселяющемуся на дачу — я не знала, что у него дача, и подумала: а ведь он, должно быть, богатый хрен, сколотивший состояние на слезах и женских недомоганиях, и сигареты хорошие держит, пшеничные — а дачка-то где? — в Кратове! — А! Жидовская местность, смеаю, подмосковный Израиль — он же дальше развивал свою мысль: не ему, дескать, вмешиваться в вашу, деточка, бурную и интересную жизнь, некоторые яркие подробности которой он имел нечаянный случай — тут он понизил голос — созерцать в оригинальном журнальчике — я хладнокровно подняла брови, — очень уважаемом им заповедном журнальчике, он преисполнен восхищения, так и сказал, самого неподдельного восторга, хотя, слава Богу, шумно вздохнул, всякое видывал, да и не только он, но и несколько самых-самых ближайших друзей, которые были настолько поражены, что даже сочли легкомысленным бахвальством утверждения с моей стороны, что

Русская красавица

я вас изредка пользовал, во врачебном, разумеется, измерении. Больше того: наше бескрайнее восхищение дошло до некоторых произвольных моментов, которые мы все были вынуждены со смущением и гордостью констатировать, и нам стало ясно, что ваша, деточка, прелесть гораздо более эффективна, чем многие в этом роде иноземные поделки, а так как мои друзья порою склонны к обобщениям, то они обобщили, что мы бы и здесь, в этой области, рассуждая в сугубо патриотическом смысле, могли бы иметь известное преимущество и перевес.

Я живо вообразила себе почтенную компанию, из тех, кто носит подтяжки и маленькие бородки, сгрудившуюся с лупами вокруг стола для созерцания глянцевого деликатеса, который тем временем тащил на себе тяжкий крест! — Ах, Станислав Альбертович, какую ахинею вы развели! — сказала я, скорее раздосадованная, нежели польщенная его признанием, хотя и польщенная тоже. — Какая к черту знаменитость! Что за бурная и интересная жизнь! Знайте же, Станислав Альбертович, что в результате всей этой истории я живу, как последняя церковная мышь, которая лапой боится пошевелить, чтобы ее окончательно не сожрали!.. — Когда-нибудь у нас тоже научатся ценить красоту, тихо вымолвил Станислав

Альбертович, задумчиво барабаня по столу тренированными пальцами и недоумевая, почему моя красота не могла быть поставлена на службу отчизне, а вместо этого была использована в обратном направлении, о чем я также выразила сожаление и намекнула из осторожности, что направление может еще поменяться. — Да я бы отдала всю эту знаменитость, весь шум и суету, — в сердцах воскликнула я, — на тихий семейный уют под крылышком мужа, которому бы я перед сном мыла в тазике ноги!.. — Вот и я об этом, обрадовался старый подлец. Родите ребеночка да и купайте его в детской ванночке, воспитывайте, он — ваш, рожайте непременно, а отец его померкнет, раз он того заслужил! — Вы даже не знаете, на что вы меня толкаете, сказала я грустно и решила спросить его в лоб как специалиста: — Станислав Альбертович, вы помните мой запах?

Он немного заколебался, замешкался с ответом, и я поняла, что, значит, это правда, доступная всем желающим.

Что вы имеете в виду, деточка? — спросил он фальшивым голосом, будто не сам много раз прославлял мой исключительный аромат, вошедший уже в легенду и сравнимый лишь с цветением бергамотового дерева, в то время

как, любил он смеяться, разнообразие запахов удивительно и часто не в пользу носительниц, особенно если речь идет о болотных испарениях, жареном хеке, однако подчеркивал также запах Ксюши: так пахнет связка сушеных грибов, продающихся на рынке по высоким ценам, и это устойчивый запах, он принадлежит женщине с умным и быстрым лицом... Ксюша! Ксюша! Пишу и чувствую тебя, скупая по тому времени, когда в Коктебеле, на пляже, отведя глаза от французского романа, она взглянула на меня с откровенным любопытством, без всякой капли конкуренции приветствуя мои достоинства, так женщины не смотрят на женщин, и я была сражена, я влюбилась немедленно, без задней мысли, в слова и предметы, ее окружавшие, даже в эту французскую книжку с красно-белой нетвердой обложкой, которая, как выяснилось гораздо позже, когда мы сошлись, чтобы никогда не расставаться, оказалась намеком на будущую разлуку, отдаленным раскатом грома и молнии, что совершенно незаслуженно превратит ее в международную авантюристку и даже чуть ли не шпионку.

А иногда, разглагольствовал Станислав Альбертович, преинтересные бывают экземпляры. Вы слушаете, деточка? Они пахнут укро-

пом или, к слову сказать, бузиной... Оне, поправляется он, так раньше говорили. А я говорила: да врете вы всё! Оне одинаково благоухают, нарочно перечила я, хотя насчет связки сушеных боровиков он не ошибся, только напрасно фальшивым голосом пытался Станислав Альбертович отсрочить ответ, и когда я его приперла к стенке, закричав, что разве не слышно, что я-то протухла, провоняла, как будто нутро набито гниющими тряпками, то, припертый к стене, Станислав Альбертович сознался, что внимание его в самом деле было привлечено изменением, но не вечно же цвести бергамоту, пора плодоносить.

Он остался доволен своей неудачной остротой. Я расплакалась прямо там, в кабинете, перед изумленным Станиславом Альбертовичем, который, конечно, большой знаток женских слез и неподвластного нам перепуганного пердежа, несущегося с карусели, а также мой друг, не однажды без боли и канители избавлявший меня от хлопот, а кроме того, мой предатель, рассыпавшийся в извинениях после предательства, укромно ждущий меня в дождь под широким черным зонтом на другой стороне улицы и бросившийся ко мне: — Простите, деточка, меня заставили! — Он норовил поцеловать руку. — Полно, Станислав

Русская красавица

Альбертович! Значит, не трудно вас было заставить... Оставьте меня... — и уехала на такси к дедуле, где тоже был концерт. Станислав Альбертович понял, что это серьезно, поменялся в лице, решив, что тут уже не негр, а во все недозволительное, и как бы ему снова боксом не вышло. Я перестала плакать и принялась его успокаивать. Он предложил успокоиться в обмен на откровенность. Ну, хорошо, угадали: негр! — Он не верил. Ну, не хочу я рожать, не хочу я ребенка, ни мальчика, ни тем более девочки, чтобы она мучилась, ни лягушки, ни свинюшки — никого! Пеленки, горшки, бессонные ночи. Брр! Не хочу! Это, деточка, ваш последний шанс. — Пусть! Не хочу! — Так я говорила.

Где Ритуля? Где ее черти носят? Все! Все! Решено. Я крещусь! Завтра оповещу отца Венямина. У него благостью дышат глаза, ресницы до щек. А Станислав Альбертович, когда я сказала, что собираюсь креститься, спросил: не в католическую ли веру? А вы что — католик? Был, говорит, когда-то в детстве католик, а теперь никто, хотя папа римский и стал поляком. Станислав Альбертович — поляк. Он из Львова, но с жидовской кровью. Не понимаю, почему вы не в Польше? Так сложилось. Я и польского-то не знаю.

Ну, какой вы тогда поляк! Вот бабушка у меня была настоящая поляка! Нет, говорю, взмахнув широкой юбкой, как крылом. — Нет! — Я православная, и не из прихоти, нынче модной, креститься хочу, так что все наши давно уже покрестились и детей своих покрестили, выписав из Гамбурга крестильные рубашки, а крещусь по необходимости. Ощущаю, Станислав Альбертович, мучительную богооставленность! Ну, что же, говорит доктор, понимаю ваш духовный порыв, только как его совместить... не очень ведь это богоугодное дело. — Откуда вам знать? — Он удивился и говорит: — Присядьте, деточка, еще на минутку. Хотите еще сигаретку? — Я говорю: — Мы в принципе договорились? — Хорошо, — отвечает, подождем две недели. К чему спешить?

К чему? Знал бы он, что я стала ареной борьбы высших сил!

И тут Станислав Альбертович, словно на него какие-то флюиды нашли, спрашивает, верно ли, что я имела отношение к смерти В. С. Я, говорит, читал странную статью в газете, где, как понял, про вас говорилось, деточка, под названием Любовь, подписанная двумя авторами, из которой, однако, понял лишь то, что вы были в момент смерти у него в квар-

Русская красавица

тире наедине. Я правильно понял? Действительно, отвечаю, статейка малопонятная, и я сама не очень разобралась, потому как лжебратья Ивановичи напустили, конечно, густого тумана, но, отвечаю, скончался В. С. с большим достоинством. Да, покачал головой, не разобрались сразу, устроили позорное разбирательство. И меня втянули... я когда-нибудь вам расскажу. Вы на меня не сердитесь, деточка? — Ладно, говорю, кто старое помянет... Да, задумался Станислав Альбертович, не каждая женщина может гордиться тем, что у нее на груди умерла целая, в сущности, эпоха... Подождите! — вдруг вскрикнул он. — А ребеночек не от него? — пронзительно посмотрел на меня, как экстрасенс, хотя у меня тоже сильное биополе, я, честное слово, смутилась от его взгляда, но он сам ответил, без моей подсказки: — Впрочем, что я говорю! Он же умер когда? в апреле? А сейчас... — Он глянул в окно: шел снег пополам с дождем, и мы отражались. — От такого человека и ребенка родить не грех, — заметил Станислав Альбертович. — А у меня, деточка, какая-то aberrация. Простите. Как будто других мужчин нет! — усмехнулась я мертвыми... Ритуля! Ритуля пришла! Ура! С бутылкой шампанского! Пить будем, гулять будем...

Ритуля утверждает, что я ночью кричала. Очень может быть, но я не слышала. Ритуля показала мне в доказательство свою руку со следами ногтей. — Я едва вырвалась! — Это мне, наверное, после шампанского кошмары приснились. А чего я кричала? Просто «а-а-а-а-а-а-!..».

Я люблю Ритулю, но молчу, как рыба об лед. Официальная версия: я скрываюсь от одного мужика. В ней есть слабая доля правды. Самое страшное как раз в том, что я должна зарыть тайну в себе и мне не с кем с ней поделиться, боюсь, что меня объявят сумасшедшей, скрутят, сгноят, сожгут, как ведьму, в крематории. С меня достаточно Мерзлякова. Мерзляков, когда я ему рассказала в самых общих чертах, в ужасе протянул было руку старой дружбы. Он повез меня, на всякий пожарный, в подмосковную церковь, где ве-

Русская красавица

лел помолиться. Я помолилась, как могла, от всего сердца, выложила перед образами целую кучу жалоб и разревелась, а потом мы поехали в ресторан. В ресторане мы немножко выпили, отошли, и я под воздействием свежего страха предложила Мерзлякову остаться у меня ночевать и тем самым вспомнить нашу забытую шестидневную любовь. Однако Мерзляков смалодушничал и уклонился под предлогом, что заразится черт знает каким мистическим сифилисом. Ну, не свинья ли? Он меня кровно обидел. Я бы выгнала Мерзлякова из дому, но он к тому времени был уже изрядно пьян. Вместо этого мы совсем напились и непроизвольно заснули.

Проверив человеческую реакцию на мою тайну, я поняла, что вообще с ней лучше не выступать. Но носить в себе тоже, надо сказать, громоздко и обременительно... Единственная моя, сообщаю тебе некоторые события, имевшие место. Не исключаю, что случай со мной, хотя и довольно неслыханный, а также возмутительный сам по себе, с точки зрения нарушения сложившегося в мире порядка вещей, не представляет собой чего-то совершенно уникального, об этом предпочитают просто умалчивать, потому что бабы думают: зачем связываться? Я умалчивать не собира-

юсь, терять мне нечего, хотя бы в интересах науки, потому что наука могла бы дать объяснение, если бы только мне поверили, а не свезли в дурдом. Я же категорически уверена, что с ума не сошла и ведьмой, в отличие от Вероники, не являюсь, а Тимофеем у нее для прикрытия глаз, а если случилось так, как случилось, то, значит, были причины, о чем напишу дополнительно.

Написать, конечно, я могу, но невольное беспокойство вызывает у меня то, что я не знаю как, то есть к литературе не имею никакого отношения. Было бы куда лучше, если бы мою историю взялся описать, например, Шолохов. Представляю, он бы ее так описал, что у всех бы рты отвалились, но он уже очень старый и, к тому же, говорят, до такой степени спился, что начал распространять о себе ложные слухи, будто свои гениальные произведения сочинил не он, а совершенно другой человек. Остальные из живущих писателей не вызывают во мне доверия, потому что пишут скучно и все врут, норовя или приукрасить факты народной жизни, или, наоборот, полностью осквернить, как Солженицын, о котором мне В. С. достоверно рассказывал, что тот в своем лагере был известным доносчиком и дезертиром, не даром потом и сбеленился,

Русская красавица

в отличие от того же Шолохова, который писал честно и как было и потому заслужил всеобщее уважение и даже имеет собственный самолет. Более интересно и по-человечески пишут иностранные авторы (за исключением, пожалуй, монголов), которые зачастую печатаются на страницах журнала «Иностранная литература», на которую меня раньше регулярно подписывал Виктор Харитоныч, а теперь не подписывает. Они удачнее, чем наши, умеют передать психологию, да и потом про иностранную жизнь читать веселее, потому что про нашу и так все понятно, чего про нее читать, я и в кино-то не хожу на всякую эту чушь, времени жалко, но они тоже иногда чего-нибудь такое завернут и заумь напустят, не поймешь, где конец, где начало, сплошной модернизм, который ослабляет художественную силу, и неясно, зачем публикуют. А так, исходя из своего опыта, должна сказать, что писатели — народ мелкий, как мужчины еще того мельче и, несмотря на импозантную внешность, кожаные пиджаки, вечно какие-то взбудораженные, суетятся и очень быстро кончают. Я никогда и не хотела выйти за кого-либо из них замуж, хотя несколько раз подвертывалась возможность, даже был один директор издательства. Довольно молодой еще чело-

век, но с совершенно испорченной нервной системой, который мечтал всех заново раскулачить. Он особенно мечтал раскулачить певицу Аллу Пугачеву. В своих мечтах он доходил до истерики. Из скромности я выдавала себя за воспитательницу детского сада. Это его пленило. Но он, тем не менее, хотел меня тоже сначала раскулачить, а уж потом жениться. Пришлось с ним расстаться. И многие женились на таких дешевках, что даже обидно.

Но я не только хочу поставить науку в тупик, снабжая ее новыми сведениями. Это меня, признаться, ничуть не волнует. Пора наконец навести порядок в своей судьбе. Однако каяться не собираюсь. Иногда я кажусь себе несчастной и глупой бабой, которую измородовала жизнь в лице, между прочим, крикливой мордовки Полины Никаноровны, и ничего другого не остается, как пойти удавиться в собственной ванной, где гудит, не смолкая ни на минуту, нечеловеческая выдумка — газоаппарат, а иногда, распустив пушистые волосы, я смотрю на себя и говорю: утри слезы, Ира! Может быть, ты в самом деле новая Жанна д'Арк? Пусть ты обосралась. Ну и что? Подумаешь! Ты не смогла спасти Россию, но зато не побоялась пойти на смертельный риск ради этой сомнительной затеи! Ну, кто еще

Русская красавица

из твоих соотечественниц, чья самая большая смелость состоит в том, чтобы в тайне от мужа завести, как говорит моя мама, набегавшая в Москву душить моими духами, посторонний интерес и жить с ним раз-два в неделю, по дороге с работы домой, прикрываясь погоней за дефицитом, кто из них рисковал так красиво и безнадежно, как ты?!

Не раз садилась я в лужу в вечерних нарядах, не раз обрекала себя на позор, и меня выводили, но ведь не из какого-нибудь кабака, как привокзальную курву, а из зала консерватории, где на премьере я забросала апельсинами британский оркестр из-за полной безвыходности моего положения! Нет, Ира, ты была не последняя женщина, от твоей красоты балдели и блекли мужчины, ты пила исключительно только шампанское и получала букеты цветов, как солистка, от космонавтов, послов и подпольных миллионеров.

Потрясающий мужчина, племянник президента латиноамериканской республики, красавец Карлос, любил тебя на столе своей резиденции, забыв о костлявой жене, и Володя Высоцкий часто подмигивал тебе со сцены, выходя кланяться после «Гамлета»... Были и другие, попроще, были просто шушера и подлецы, но только в сравнении видится ве-

личие человека! А по-настоящему любила я только крупных людей, с их лиц лучился маслянистый свет жизни и славы, перед которым была я бессильна, и вся горела, но я тоже умела делать чудеса, и недаром Леонардик называл меня гением любви, а он знал толк. Да и вся любовь с ним, какой бы зловещей и пагубной ни оказалась она для меня, разве можно назвать ее пошлой? — Нет, Ира, говорю я себе, рано вешать нос, твоя судьба решается не в какой-либо мелкой конторе, за ней, между прочим, неотрывно следят шесть самых красивых красавиц Америки, на которых, видя их постоянно в кино и по телевизору, дрожится миллионная армия средних американцев, и они собрались раз все вместе: пять белых, одна — шоколадная — в фешенебельной русской чайной в Нью-Йорке на 57-й стрит и под вспышки фотоаппаратов, жужжание камер в один голос потребовали, чтобы меня не обижали, чтобы не трогали их сестричку, которая в единственной своей шубе из огненно-рыжей лисы казалась далекой нищенкой, золушкой, замарашкой, затерявшейся в снегах и несчастьях. Я думала, вместе с приветом они пришлют мне какой-нибудь милый подарок, хотя бы дубленку на память, которую я все равно не приняла бы из гордости, достав-

Русская красавица

шейся мне от прабабушки, на которую я похожа, у меня над кроватью ее портрет, но они не прислали, не разорились... — Да плюнь ты на них! — сказала Ритуля, когда мы рассматривали фотографию, где они обнялись: пять белых, одна — шоколадная. — Противные рожи! Зубастые, как на подбор! — ворчит Ритуля, ревнуя меня к американкам. — Правильно им Харитоныч отписал! — злорадствует она. Ритуля вообще недолюбливает иностранных женщин за то, что они претендуют на львиную долю иностранных мужчин. Но ко мне она очень добра и ласкова, как козочка. Второй месяц живу у Ритули в состоянии ежеминутного переполоха. Я верю в нежные узы женской дружбы. Без них я бы совсем погибла. — Ты бы лучше позвонила своему Гавлееву! — советует Ритуля. А что Гавлеев? Он тоже от меня отшатнулся. Да ну их, опротивели все! А раньше я и трех дней не могла прожить, я благоухала, как голубой бергамотовый сад в лунную ночь, когда звезды торчат в южном небе, а рядом в волнах плещется моя Ксюша. Но сад растоптали. Креститься? А вдруг мне нельзя? Ведь я ни за что на свете не признаюсь отцу Вениамину! Все в заговоре против меня! Не зря, не зря он выпрашивал насчет Леонардика, как, дескать, умер. Пожалуйста, я отве-

Виктор Ерофеев

чу, как на духу, как перед следователями, которые мучили меня и оправдали, и уж кто должен был быть главной на панихиде, так это я, а не она, или по крайней мере должно было произойти примирение, равносильное тому, как у гроба раздавленной Анны Карениной примирились со слезами на глазах ее муж и офицер Вронский, потому что перед смертью все одинаковые, но не хватило у Зинаиды Васильевны великодушия, да и откуда ему у стервы взяться, так мало того, что в шею вытолкали, но козни Зинаиды распространились еще дальше! Она употребила все свое вдовье влияние, чтобы меня стереть. А тут еще бега... Ах, зачем я бегала?

Знали бы они, пять белых, одна — шоколадная, как худо мне нынче! Ой, худо!.. Но теперь они мне не помогут, ничто не поможет. Нет, вот я покрещусь в ближайшие дни — тогда посмотрим! Тогда на моей стороне встанет светлое воинство божеских сил, и если кто посмеет ко мне прикоснуться — пусть попробует! Рука отсохнет у обидчика, ноги разобьет паралич, печень покроется раковой опухолью... Не горюй, Ира, говорю я себе, ты живуча, как сорок тысяч кошек! Ты живуча, как сорок тысяч кошек... Может быть, ты в самом деле новая Жанна д'Арк?

Пила исключительно только шампанское, пила вообще мало, не возводя в хлеб насущный, отстраняясь от простонародной привычки, нечасто и мало пила, и только шампанское, ничего, кроме сухого шампанского, и перед тем, как выпить, крутила в высоком бокале проволочку, что сдерживает выхлоп пробки. Тогда бокал пенится и шипит, колючие, невозможные для горла пузыри летят вверх, но всему остальному шампанскому предпочитала брют. Ах, брют! Ты brutalен, ты гангстер, ты — Блок-гамаюн! Ты божествен, брют...

Когда шампанского не было, сдаваясь на уговоры, пила коньяк, что наливали, то и пила, вплоть до болгарских помоев, но дело не в этом: я хотела понимания, а меня спаивали умышленно и целенаправленно, и я делала вид, будто не догадываюсь, и начинала кап-

ризначать и все презирать. Не хочу мартеля! Не надо мне вашего курвуазье!.. — Я люблю куантро! — говорила с победоносной улыбочкой, желая всем насолить, а они отвечали: — Так это же не коньяк! — Почему не коньяк? Разве коньяк не может быть апельсиновым? — Все хохочут. Знаток посрамлен. А не держи меня за дуру! Ладно, Гриша, скажут ему, кончай выступать. Неси куантро! А у Гриши нет куантро, и несолидно получалось. — А однажды я была в компании, где был, представьте, один барон, настоящий барон, седоватый, нет, правда, Ксюш? — Ксюша ласково смотрит на меня, как на расшалившегося ребенка. — Владелец вот этого коньяка. — И что он пил, барон? — спросит какой-нибудь вшивый профессор из Университета Лумумбы. — Свой коньяк? — Нет, — говорит ему, подмигивая, уязвленный мною хозяин, который уже ненавидит меня за куантро, этот — как его? — Гриша, к которому мы с Ксюшей приехали, сделав, можно сказать, одолжение. Нет, иронизирует Гриша, это все равно, что пить собственную мочу! — Ах, как остроумно, говорю холодно. Совсем не смешно. — И я с ужасом чувствую, что меня здесь не понимают, что я чужая на празднике жизни, что нужно выпить, скорее выпить, чтобы не разрыдаться, нужно вы-

Русская красавица

учить какой-нибудь язык, потому что барон не говорит по-русски, хотя бы двадцать слов в день, но я такая ленивая, такая ленивая, что своей ленью могу заразить целый остров вроде Исландии, и настанет в Исландии опустошение... Крах!! А мне-то что? Я оглянулась, чтобы найти Ксюшу, но вместо Ксюши лежали на полу туфельки, потому что Ксюшу уволокли на кухню, прельстившись ее фантастическим блеском, а она только что приехала на розовой машине, вся нарядная, приехала и сказала: — Не могу в России. Не могу без России... Что делать мне, солнышко?

Она всегда звала меня солнышком, вкладывая в это слово столько нежности! Увели ее босую на кухню. Я пошла за ней, вижу: вокруг нее крутятся два режиссерчика с Мосфильма, а она сидит и безучастно пьет быстрорастворимый кофе. Я говорю, Ксюша, идем отсюда! Здесь нас не понимают, а только спаивают. Идем, солнышко, говорит она мне, встать помоги! Мужики в замшевых куртянчиках нас за руки удерживают, танцевать приглашают. А я говорю: подо что танцевать? под это старье? Ну, спасибо, говорю, с вами неинтересно! Насилу отпустили, а Гриша качается в проеме двери и смотрит злобно, как мы в лифт водружаемся. Может быть, девочки, передумаете?

У меня дыня есть. А Ксюша говорит: давай сюда дыню. Мы тебе ее завтра назад привезем. Гриша даже обуглился от обиды, а мы на кнопку нажали и вниз. — Не наши люди, — говорю, — не наш калибр. — А она отвечает: как мы здесь очутились?

Сели в розовую машину и думаем, что дальше? Ксюша предлагает ехать к Антончику. Что за Антончик? Не выйдет ли, говорю, накладки? Я никогда не поспевала знакомиться со всеми ее знакомыми, на ней друзья гроздьями висели. Ну, как ты, спрашиваю, во Франции? Хуево, отвечает. Ксюша вышла за зубного врача, смеясь, что зубы болеть не будут. Этот Рене приезжал в Москву на ученый конгресс, а она его снимала для телевидения, он умел складывать ручки, как мадонна, — ах, солнышко, рассказывала она мне, у него расстегнулась пуговка на рубашке, и я увидела его опушенный пупок... Участь моя была решена. Она думала, что во Франции тоже будет работать на телевидении, потому что с детства знала французский и играла на пианино, как в прошлом веке, однако француз не позволил и поселил ее под Парижем, на станции Фонтенбло, где похоронен Наполеон, но я не об этом: Ксюша жила в просторном доме с большим грушевым садом и писала мне истошные письма. Нежное мое солнышко,

писала она, мой муж Рене при ближайшем рассмотрении оказался полный мудака. Целыми днями сверлит зубы, размеряет время до каждой секунды, деньги закалывает булавочкой. По вечерам с важным видом прочитывает газету *Ле Монд* и рассуждает в постели об особом пути социализма с французским лицом. Его прикосновения и стерильные запахи напоминают все тот же зубо врачебный кабинет, хотя его член не похож на бормашину и вообще ни на что путное. Я объелась грушами, у меня хронический понос. От здешних русских, с которыми познакомилась, тоже понос. Они ушиблены пыльным мешком и все время оплакивают отчизну. Возражать им бессмысленно: они подозрительны и косолапы. Гарвардскую речь С. читала? — жуткое позорище. Я краснела за этого рязанского долбоёба и с большой радостью узнала о старинном партийном кличе: за вчерашнее — спасибо, за сегодняшнее — отвечай! а они решили, что я вообще красная. У меня развился локальный комплекс Эммы Бовари, я завела себе молоденького водителя грузовика, но он тоже зануда... В другом письме она все-таки признавала, что Франция довольно прекрасная страна, что она принялась со скуки путешествовать, что за прелесть — Нормандия, только, к сожалению, повсюду изгороди, частная собственность

и французы, несносная публика! Особенно меня убивает парижский снобизм, — писала она. — Слова не вымолвят в простоте, все подсюсюкивают, мысли не имеют никакого приложения к жизни, сплошная риторика и нафталин! Были мы с мужем у одного академика. Академик подал Рене два пальца — представляешь? — вместо рукопожатия. Рене даже не возмущился! Сидел на кончике кресла со сладчайшей рожей... Где этот растленный Запад? — писала Ксюша. — Не вижу в упор! Все они удручающе положительные, а когда грешат, то с таким чувством меры, с такой обстоятельностью, с какой лавочник из колбасной лавки режет ломтики ветчины. Или как пьют водку — мелкими глоточками и не больше двух рюмок, а потом, от сознания исполненного греха, ходят довольные и еще больше, чем раньше, положительные... — Я не верила ее письмам, думала, что разыгрывает... — Единственная отрада моя — она-низм, — писала она. — Мои мысли — о тебе, солнышко!.. — Я решила, что у Ксюши свои какие-то цели, что ей нужно так писать, и продолжала любить Европу. Ах, какой был, например, этот седоватый барон, которого я видела в ресторане «Космос»! А Гриша решил, что я вру. Я смерила Гришу уничтожающим взглядом, который не выдерживают мужчины, не почувст-

вовав собственного ничтожества. Эх ты, Гриша! И откуда он только взялся со своей глупой дыней? Ксюша, сказала я, ну, скажи ты на милость, куда мы поедем, ты же, Ксюша, совсем надралась!.. Плевать, сказала Ксюша, в конце концов я — француженка. Что они со мной делают? — Она долго тыкала ключом в зажигание и долго не попадала. Машина взревела так, будто сейчас взорвется. Валил снег, и было темно. Ксюша, сказала я, поехали на такси! — Сиди тихо и слушай музыку, сказала Ксюша и включила музыку. Одна певица из Бразилии, фамилии не помню, запела громко, но таким теплым голосом, словно запела только для нас с Ксюшей. Я вспомнила Карлоса. Мы обнялись, прильнувши друг к другу. Она — в модной волчьей шубе, разрушающей представление о жмотстве врача, которого до свадьбы я даже не знала, потому что Ксюша, несмотря на нашу любовь, всегда вела свою отдельную жизнь и никого в нее не допускала, а я обижалась и старалась быть, как она. А я — в своей старенькой рыжей лисе, что подарил мне Карлос, брат президента, только его уже не было в Москве и, может быть, в живых, потому что президента свергли и к власти пришла хунта совершенно отпетых людей. Они отозвали Карлоса из Москвы, и он канул, не откликнувшись ни единым письмом.

Не знаю, был ли Карлос хорошим послом, но то, что он был потрясающим любовником, я знаю точно! Он превратил свое посольство в самое веселое место в Москве. Он был очень прогрессивный, и ему, скрепя сердце, не запретили. Он был такой прогрессивный, что на приемы ездил в жигулях-фургоне, прицепив свой пестрый, как пижама, флажок, и без шофера, но я-то знала, что в гараже у него стоит, поблескивая черными боками, мерседес, и по ночам мы ездили на нем, когда мне хотелось прокатиться. Он переоборудовал подвальный этаж в танцевальный зал. Он накупал бесчисленное количество жратвы, выпивки и сигарет в валютке на Грузинской и закатывал бешеные пиры. Туда ходила вся интеллектуальная Москва. Там Белла Ахмадулина признавалась мне, что вы, дитя, несказанно собой хороши. Карлос прекрасно танцевал, но я танцевала еще лучше, и он это быстро заметил и оценил по достоинству. Я осталась у него, когда под утро разошлись последние гости, и милиционер отдавал им поочередно честь. Я — посол, — внушал Карлос стерегущему особняк милиционеру, держа в руке стакан и бутылку Московской водки, — и если ты откажешься, я обижусь. — Милиционер из боязни обидеть посла дружеской страны пил, не моргая. Я осталась у него, и он, оказалось, умел

Русская красавица

любить еще лучше, чем танцевать. Мы сошлись на любви к классической музыке, и нам постелью в ту ночь стал его безразмерный письменный стол со стопочкой книг и бумаг на дальнем краю, хранивших мимолетные тайны банановой республики, но он не был жгучим брюнетом с черной полоской усов, сулящей брутальность и ложную пылкость клятв. Его южная наружность была смягчена и обуздана оксфордским шиком, в котором он жил много лет, когда учился. Я имела дело не с каким-нибудь знойным выскочкой. Он покорила меня аристократической тишиной, и я не верила Ксюше.

Ксюша приехала через год, выдумав липовую командировку для сбора репродукций к выставочному каталогу, одетая так небрежно и безукоризненно, что не нужно было даже разглядывать этикеток ее платьев, сапог, свитеров и ночных рубашек, чтобы определить их принадлежность к самым убойным бутикам, не говоря уже про розовую машину, на которую все сбегались, но не успела она из нее выйти, принять душ и переодеться с дальней дороги, как начала поносить своего мужа, а заодно с ним и грушевый сад. Привыкшая понимать ее с полуслова, намек или вовсе без слов, лишь только взглянув в ее беспримерное лицо, я почувствовала себя обманутой, но промол-

чала. А когда после всей суеты и подарков, а она меня всегда баловала, мы наконец залегли, я попросила объяснений. Неужели, думала я, Ксюша переродилась? Нет, говорила я себе, от этого я не буду любить ее меньше, я вообще ей все прощу и не буду перечить, но ведь мне хотелось не только простить, ведь я тоже не раз примеряла на себе ее выходку, в которую она меня не посвятила до самой свадьбы, итак, я попросила объяснений, и она, зевая, сказала, что к хорошему, солнышко, привыкнуть нетрудно, но стоит привыкнуть, как оно перестает быть хорошим, становится каким-то, и все начинается с нуля и отмечаются утраты. Это что, ностальгия? — спросила я. Она вяло запротестовала. — Но ты говоришь: утраты... — Ах, сказала она, отложим до завтра, и поцеловала в висок, но завтра негодовала уже по другой причине: за ночь у нее сперли щетки от розового авто, а на капоте крупными буквами нацарапали ХУЙ. Она материлась, и это мне было доступно. Ее облаяли в магазине. Стоя рядом, я получила большое удовлетворение. Она заказала Фонтенбло и долго щебетала со стоматологом. Странные люди, рассказывала она. Не успеешь выйти замуж, требуют ребенка, как у нас в Средней Азии. Маразм. К тому же он такой ревнивый!..

Русская красавица

Оставайся, — предложила я. — А что! — сказала Ксюша с вызовом. Я ничего не сказала, и вместо этого мы пустились в гульбу и на четвертую ночь выплыли на Антона, который был похож, заметила Ксюша, на молодого Алексея Толстого. Это хорошо или как? — спросила я, не представляя себе, признаться, ни молодого, ни старого, а только улицу с особым режимом. — Зависит от настроения, — сказала Ксюша. — Я познакомилась с ним в Париже. — Что он там делал? — Трахал меня. — Мы выехали за пределы Москвы. — Ксюша! — заволновалась я. — Мы куда-то не туда! — Было темно, но снег больше не валил.

На выезде нас задержали гайшники. — Спокойно, — сказала Ксюша и надвинула на глаза черную вязаную шапочку. Опустив стекло, Ксюша ласково обошлась с инспектором. Она с ними ладила и подкармливала с руки одноразовыми зажигалками, брелоками, шариковыми ручками, сигаретами, шведскими гондонами, магнитофонными кассетами, жвачкой и календариками с голыми женщинами — от календариков они просто шалеют, — радовалась она. Всей этой бесценной дрянью у нее был набит бардачок. Буро-малиновый от мороза инспектор браво козырнул, пожелал проявлять осторожность на трассе и напоследок

сожрал нас глазами. Мы поехали дальше, и нас сразу обступил лес. — Вот что невозможно в Европе! — ликовала Ксюша. Потом помолчала и добавила: — Дикари...

Она была непоследовательная, моя Ксюша, в этот вечер и дальше. И чем дальше, тем больше. И чем больше она там жила, тем меньше она становилась последовательной.

В дачном поселке горели редкие фонари и лаяли редкие собаки, но дорога была образцово расчищена. По пути мы еще чуть-чуть выпили, и нас совсем развезло. Ксюша смеялась и хватала меня за коленки. Нам стало жарко. Ксюша загудела так пронзительно, будто она здесь своя. Собаки вдруг затаивали со всех сторон сразу, но нам не отперли ворот. Часы в машине показывали третий час. Я ничего не сказала, но для бодрости глотнула martini. Наконец ворота приотворились, и в свете фар мы увидели бородатую морду в черном тулупе. Бородач рассматривал машину с сонным видом, но с нескрываемым подозрением. Впоследствии этому сторожу с телячьими глазами суждено будет сыграть некоторую роль в моей жизни, хотя я тогда об этом не догадывалась. То ли сторож знал Ксюшу, то ли испытал прилив уважения к машине, однако, поразмыслив, он нас пропустил, и мы въехали на территорию, которая мне показалась

Русская красавица

большим парком. Ксюша подрулила к дому, вход был освещен, и мы вылезли из машины, наполненной музыкой. Ксюша сделала несколько шагов и, обессиленная, упала в сугроб. Я поспешила ей на помощь. Мы лежали в снегу и глядели на сосны, которые в вышине шумели. — Во кайф! — сказала Ксюша и засмеялась. Я согласилась, но все-таки спросила, удивленная размахом рядом стоящего дома. — Ксюша, где мы? — В России! — ответила Ксюша, совершенно в этом уверенная. В снегу было хорошо, и мы стали задирать в небо ноги в тонких колготках и возиться. На крыльцо вышел человек в одной рубашке и, присмотревшись к нам, закричал: — Ксюша! — Антончик! — закричала Ксюша. — Мы принимаем снежные ванны! Иди к нам! — Вы простудитесь, идиотки! — дружески захохотал Антончик и помчался вытаскивать нас из сугроба. — Антончик! — сказала Ксюша, сопротивляясь и не желая вставать. — Ты будешь нас трахать или не будешь?! — Буду! — оживленным голосом откликнулся Антончик. — Ну, тогда пошли! — сказала Ксюша и прекратила сопротивление. Антон подхватил нас под руки и потащил к крыльцу. — Вообще, слово трахаться, — рассуждала Ксюша, уже совсем мокрая от снежных ванн, но прекрасная в своей черной шапочке, роковым образом надвинутой на глаза, — оно, —

заметила Ксюша, — облегчает тяжелое дело русской ебли... В душе я признала ее правоту, но смолчала, слегка смущаясь незнакомого мужчины.

На крыльце Антон представился мне, и мы сразу познакомились, после чего устремились в натопленный дом. Сбросив шубы, прошли в столовую, где за столом сидели разные люди и ели остатки ужина, а может быть, они не сидели и не ели остатки ужина — и никого не было, потому что от жары и новых впечатлений я быстро отключилась, равно как и Ксюша, которая совсем ничего не помнила, вплоть до того, как доехали и как она разговаривала с гаишником.

Как передать состояние, когда отключаешься и начинаешь жить в другом измерении, заложив всю себя в ломбард, отдавшись на поруки доброму попечителю, с которым, однако, встреч не бывает? А иногда вдруг всплывешь на поверхность и держишься на воде, а потом снова под воду и — до свидания!

Так, всплывая в ту ночь в разомкнутые мгновения, я находила себя в кровати, а рядом барахталась Ксюша, ее искривленное лицо потянулось ко мне, вытянулось и укусило так, что я встrepенулась и не могла сообразить — не то возразить, не то согласиться с таким отношени-

Русская красавица

ем, однако была отвлечена видением более категорического порядка, которое установилось мне в щеку и стало горячим. Я схватила его и, оттянув — он вздрогнул и выгнулся, — сказала ему: Здравствуй, вождь краснокожих! Упершись коленями в мягкость постели, обласкав его для приветствия, была удивлена тем обстоятельством, отчего, видно, и всплыла, что некий другой вождь впился в меня с совершенно иной стороны, а Ксюша, как луна, взошла откуда-то с правого бока. Казалось, меня обложили, и я недоумевала, представленная на крыльце одному Антону, не мог же он настолько раздвоиться, однако была занята и только удивленно промычала, да и Ксюша наконец-то попалась, но вместо того, чтобы от меня отползти, она еще больше прижалась, и мы, обнявшись, поднялись в воздух. Охваченные волнением, пламенем и оттопырясь, мы набрали высоту и — понеслись! понеслись! вытянув головы, наперегонки, смеясь и повизгивая — понеслись! понеслись! И снова я отключаюсь, и память спит — вдруг боль и мой возглас! Наступив на бокал, я порезалась и притянула к себе ступню. Ксюша, как собака, зализывала мне рану, а я лежала навзничь и стонала под одобрителный гул — и снова Ксюша, с губами в крови, как в вишне, дурашливая, родная — и я заплакала от нестерпи-

мой любви к ней — на фоне поверженного гиганта, который, собираясь с силами, повис уныло и безветренно. Тряпочка. Но не в наших с Ксюшей принципах отступаться! Я жалостливая, как всякая баба. Делаю чудеса и глупости одновременно.

Антон стоял в халате и играл стаканом. На, выпей! — Я приподнялась на локте, но опустилась, не в силах удержаться. Антон сел рядом. Его подбородок — пухлый, маленький, никудышный — мне не понравился, и я отвернулась к окну. На подоконнике цвели фиолетовые и белые альпийские фиалки, а там, дальше, была зима. — Форточку! Открой форточку! — попросила я и пригубила. Это было шампанское. Я выпила до дна. Он налил еще. Я снова выпила и легла, глядя в потолок. — Ты была гениальна, — прошептал, улыбаясь, Антончик. Шампанское делало свое дело: я оживала. Ты тоже — ничего, — сказала я слабым голосом, с усилием вспоминая какие-то раздвоения личностей и наш совместный с Ксюшей полет. — А где Ксюша? — беспокоилась я, не найдя Ксюши. — Она уехала утром в Москву. У нее дела, — объяснил Антончик, подтверждая мое восхищение Ксюшей, которая умела, при помощи силы воли, оклематься и перешагнуть в дневную жизнь.

Русская красавица

После бессонной ночи она становилась еще более собранной и кипучей, и только подпухшие глаза наводили сведущего человека на лукавую мысль. В обеих жизнях она оставалась собой, не крошилась, сочетала сноровку и нежность, с одинаковым пылом отдаваясь ночи и дню, находя в каждом случае свою прелесть. Я отходила гораздо медленнее, и следующий день был погибший, особенно зимой, когда к обеду темнеет, а в сумерках хочется сидеть в теплом свитере и неподвижно смотреть преимущественно в камин, который также оказался на этой чудесной даче, вместе с картинами, карельской березой, библиотекой, безделушками и коврами, что тяжелым и мягким грузом лежали на паркетных полах. — Ты был молодец! — сказала я Антоше, — благодарная за глоток шампанского, и он наклонился и поцеловал меня, и я, помедлив, призвала его к себе, несмотря на его подбородок: пухлый, маленький, никудышный.

Приведя себя в порядок в голубой ванной с кафельной во всю стену гравюрой нимфы, моющейся в тазу, а еще у них на втором этаже была настоящая финская сауна, я осторожно спустилась по лестнице, испытывая легкое головокружение, от которого все казалось зыбким и призрачным, но в нем тоже свой кайф. Антон

пригласил меня к столу, отодвинул стул и улыбнулся несколько опустошенной улыбкой. Холодные закуски, разметанные во множестве, меня не особенно привлекли, но меня тронуло их гостеприимное изобилие. Высокая худая прислуга — жена сторожа — была миловидна, однако несколько пучеглаза, и рот был похож на куриную попку. Она не понимала шуток своего рта и ярко красила губы. Сам сторож половиной лица высунулся из кухни, интересуясь моей персоной, чтобы потом обсуждать меня со своей женой, и я посмотрела на него, нахмурившись, но Антон, пребывавший в том расположении духа, в которое неизбежно приходят мужчины, доказав состоятельность, пригласил сторожа, с которым был на «ты», выпить сто грамм. Предложение повергло сторожа в театральный испуг: он всплеснул руками, глаза заворачивались, и он стал отказываться, ссылаясь на уголь, рассыпанный в гараже. Так отказываются от водки только самые большие любители этого дела, и я не выдержала и рассмеялась. Жена сторожа — тоже, видно, не дура выпить — первая сдалась на уговоры. Покуда они угощались, я искоса все рассмотрела. Это был не плебейский дом, и я пожалела, что не расспросила Ксюшу про его владельцев, хотя зеленые солдатики во главе со знаменосцем, выстроенные

Русская красавица

в ряд на каминной полке, сказали мне больше, чем обручальное кольцо, которого он не носил. Подали борщ. Как я обрадовалась жирному горячему борщу, который дышал и дымился в белой супнице, совсем забытой и неупотребляемой части обеденного сервиза, то же самое, что галоши. Как целителен был этот борщ! Как кровь бросилась к лицу! Нет, в жизни бывают все-таки светлые моменты, не только метель да сумерки! Но дело не в этом: тогда, на излете утреннего похмелья, когда я радостно ела горячий борщ, а Антон, приближая ко мне свое лимонно-серое лицо, с резиновой рекламной улыбкой произносил мне дополнительные комплименты, что говорило не только в пользу его галантности, но и о воспитанности — я ела горячий борщ, а Антон говорил, что красивых женщин встречал немало, но редкая из них бывала красива во сне, потому что во сне лицо красавицы расслабляется и дурнеет, на нем выступают следы неискоренимой вульгарности и первородных грехов — однако у меня на спящем лице он прочитал только искренность и красоту, — тогда, на излете утреннего похмелья, в моей жизни распахнулась новая дверь, и в нее с декабрьского морозца твердой поступью удачника и знаменитого человека вошел Леонардик!

Он вошел под переливы моего смеха. Я смеялась, откинув голову, смехом радостного недоверия к тому, что была красива и искренна в этом похмельном, послелюбовном сне, в который погрузилась, так и не придя в себя, то есть перейдя из одной отключки в другую, а Антончик, который впоследствии оказался редкостным говном, повернулся к двери и сказал: — А, привет! — Я оглянулась и увидела тебя, Леонардик!

Ты шел не с мороза, не из туманных сеней, расстегивая по дороге тонкокожие автомобильные перчатки, потому что, несмотря на возраст, ты был заядлым автомобилистом — ты шел ко мне с экрана телевизора, шел в синеве мерцающего ящика, в облаке неспешных слов, струился из мира искусства, в ожерелье лавров и уважения — ты был только ниже рос-

том, чем я предполагала, и чуть сухошавее, чем я думала, но твое лицо с серебристой шевелюрой, красноватыми залысинами, высоким недостижимым пробором светилось именно тем безошибочным светом пожизненного успеха, хотя в глубине его, как я потом уже разглядела, ютилась некоторая растерянность.

Ах, если бы я к той поре не прошла хорошую школу Ксюшиных манер и уроков, если бы у меня не было Карлоса с его оксфордским шиком, если бы я не сидела за столиком в «Национале» с тремя послами одновременно, не считая эфиопского поверенного в делах, если бы не дружила с крупными людьми, включая Гавлеева, и второразрядными, по сравнению с тобой, знаменитостями, я бы окаменела при нашей встрече! Но я была уже не той двадцатитрехлетней дурочкой, которая бежала в обожаемую Москву из родного старинного города, где, по совести сказать, ничего хорошего нет, не было и не будет.

Я не вскочила, как школьница. Я дождалась, не отрываясь от стула, его взгляда и приветствия, и в этом приветствии — клянусь! — уже был заложен свой интерес, а не просто абстрактная вежливость и гуманизм нестандартной личности. — Познакомьтесь! — просиял Антон, пронизательно это заметив, и мне для

личного знакомства он был представлен по имени-отчеству с подачей руки. — А это, — сказал Антон, и они залюбовались моей хрупкой шеей, которая выпорхнула из пестрого, но преимущественно лилового платья, немного цыганистого, однако с точки зрения элегантности совсем безупречного, подарка моей изменницы, бросившей меня Антончику на утренник, в качестве добавки к безобразию любви, добавки, которую требуют мужчины скорее не из жадности, а из-за непроизвольного состояния отдохнувших запросов тела. — А это, — они любовались, и у В. С. смягчился несколько засушенный профиль, тот праздничный медальон, который отчеканился в победах и который он дарил, не отходя от кассы, всякому быдлу, хотя на фотографиях с дарственными надписями, висящих в его кабинете, профиль плавился от повышенной температуры, однако всюду было видно, что в молодости он был волевой и вихрастый: вот сам Хемингуэй зорко всматривается в В. С., пожимая ему ладонь на фоне нерусского южного города, а В. С. так же зорко всматривается в Хемингуэя. — А это что еще за долгожитель? — Это был такой легендарный в свое время сказитель Джамбул. — Не знаю такого... А этот, ласковый, с коробочкой в руке? — Ка-

линин. Мой первый орден. А вот посмотри. На фронте. С Рокоссовским. — А это? — Это неинтересно — какой-то народный хор... — А со Сталиным есть? — Есть. — Он наклоняется, лезет в ящик стола, бережет. — Вот. В Георгиевском зале. — А ты-то где? — Видишь, в левом углу, за Фадеевым и Черкасовым. — Ой, какой он маленький! — Великие люди все были ниже среднего роста, — слегка обижается он. — Значит, ты тоже у меня великий! — Он скромно отшучивался: — Думаю, что в некрологе обо мне напишут «выдающийся». — И как в воду глядел! В некрологе написали: выдающийся. — А это мы с Шостаковичем. — А чего он как будто виноватый? — Провинился, должно быть. — Он задумывался над фотографиями, по-доброму улыбался, обращаясь к вихрастой молодости, и добавлял, играясь чем-то, любил крутить он в руках какую-нибудь штучку: коробок, фантик, вилку, брошку мою или прядь: — Тогда нетрудно было провиниться, — добавлял он, считая меня всегда достойной его добавлений: — Мне, случалось, тоже доставалось... Он снова задумался, но не мучительно, не тревожно, не беспросветно, не бесповоротно, как задумываются всякие мелкоплавающие — так он именовал шушеру, куриные мозги, судящие-рядящие вкривь

и вкось, страдающие недержанием речи и склонностью к непростительным обобщениям, а он не пускался играть своим медальоном в крикливые игры — ну, там, в расшибалочку... — Искусство должно быть конструктивно, — ворчал он, но не злобно, скорее миролюбиво. — А что они понимают в этом хозяйстве? — Любил он это словечко «хозяйство», употреблял и в государственном, и в повседневном смысле, и даже некоторые совсем уже земные вещи называл любовно «мое хозяйство». Я тоже в глубине души всегда была патриотка, и я говорила: — Представь себе, подруга моя, ненаглядная Ксюша, мне пишет из Фонтенбло истошные письма! — Он самым внимательным образом слушал меня, подергивая себя за мочку уха, — такая тоже привычка, — вообще, у него были красивые уши, породистые, они не торчали, не оттопыривались, не сращивались мочками, не были востренькими — они изгибались, пленяя меня и намекая на музыкальность натуры. Я сразу заметила эти уши, хотя у нас уши — избыточный предмет беседы, и нет на них моды — народ неизбалованный — им бюст подавай да бедро, большие охотники бюста — сужу по себе: интерес вызывает огромный, согласна, — не последнее обстоятельство, я и сама прибе-

гала к сравнениям, объективно оставляя за собой победу, взять хотя бы те же фотографии, а Ивановичи меня спрашивают: на какие фотографии вы намекаете? — будто он снимался с одними только Хемингуэями! и вижу — задело их за живое, только, говорю, не вздумайте искать — общаетесь, не найдете, я тоже не дура, но красоту ушей напрасно чтут мало и невнимательно: затейливый орган. К тому же полезный. И на медальоне, добавлю от себя, видный. Виднее, чем глаза или брови. То есть, ежели в профиль. Хотя как пошло такое поветрие, я сразу перестала, гордясь, прибегать к ношению лифчика, что вызывало в Полине гримасу изжоги, и сколько она мне крови испортила, в связи и помимо: литры! литры! Бывало, завидит меня — и на взводе, — я жаловалась Ксюше в Коктебеле, а Ксюша тихонько ко мне подступалась, на мягких подушечках, чтобы случайно не вспугнуть, не оцарапать нетерпеливым движением, она же видела, что ничего не смыслю, что простофиля, приехавшая покуролесить и в эпатажном купальничке выступающая на пляже, она от стыда за меня сгорала, моя Ксюша, так высоко меня ставила! С Полиной же творилась истерика, не желала ничего слушать, раз плечиками в меня запустила, чуть глаза я не лиши-

лась, даром, что и так папаша кривой! До того доходило, что криком кричала: пиши заявление! — да только была на нее управа в лице полномочного Виктора Харитоныча, ценителя и почитателя, а вместе с тем покровителя до известной степени риска, позволявшего мне опаздывать или вовсе не приходить, влачить довольно свободную жизнь, а уж как она ликовала! как злобствовала! когда степень риска была перечеркнута, и ненависть, как кипяток, мне ноги ошпарила начисто, а я еще старалась держаться, как будто к ненависти можно привыкнуть. Ни в жизнь не привыкнешь! Однако до прошлой истории, ничего не скажу, Харитоныч меня охранял, поблажки устраивал, то да се, ну, зависть была в коллективе, отчего привилегии, а вам-то что? Распускали, конечно, всякие домыслы, только мы повода не давали, не на людях же! Хотя бывали, конечно, промахи, с его стороны, не с моей! потому что не хотел знать разумной меры и рисковал за мой счет, по-солдафонски склоняя меня к кабинету: мол, есть разговор. Отвечала отказом, он дулся, Полина рвала и метала, а вообще мы с ним задумали план — перейти мне в Большой, танцевать в амплуа королевы: танцевать не обязательно, здесь важна походка и грация, главное, умение царственно

наклонить голову и освежить себя веером — все это заложено в генах, нетрудно развить, к тому же соблазн: все заслуженные и даже народные танцуют у тебя в ногах, отчего неприхотливый зритель может издали поддаться на обман зрения, приняв меня за солистку, так почему не попудрить мозги? Вопрос был отчасти уже согласован, во всяком случае, некоторые предварительные шаги и знакомства заключены, в ход пошли общие связи, и, глядишь, открывалась мне перспектива не только дурачить провинциалов, а и гастрроли, но тут спохватился Виктор Харитоныч и тормознул, рассудив, что, вырвавшись из-под его покровительства, стану недосягаема, как та самая королева, сообразил он, но этот психологический барьер сокрушить было возможно: он был хоть упрям, но отходчив, да и в летах, да и я бы его не обидела, а если бы обидела, тоже не беда, он бы стерпел и забылся: выбор большой, все с радостью только и ждут привилегий, утешился бы, ничего бы с ним не стало, а слово есть слово, не зря же я терпела! И только я принялась сокрушать исподволь психологический барьер согласно тому, что под лежащий камень ничто не течет, как неожиданно погорячилась на другой, исключительно частной стороне моей жизни, потому

как и здесь наступал конец моему долготерпению, начало которому было положено на излете утреннего похмелья, в ту самую минуту, когда, смеясь над случайной остротой, я опрокинула голову, и тут он — с негласным вопросом: а это, мол, кто? — А это, — ответил Антон и замедлил мое представление по причине забывчивости, несмотря на все комплименты, но я и сама в отношении имени держусь непредвзятого мнения, по принципу: лишь бы человек хороший. — Ира, — назвалась я так своевременно и невзначай, как будто сорвала цветок незабудки у самой кромки болота. — Это Ира! — с жаром подхватил Антон, который, однако, мог бы запомнить нехитрое имя, которое возвратила мне Ксюша, не без колебаний с моей стороны, поскольку с легкой руки Виктора Харитоныча меня все с удручающей вульгарностью называли Ирена, и это мне даже нравилось — Ирена! — однако Ксюша схватилась за голову: — Это все равно, что в кримплене ходить! — Я обиделась и понурила голову, так как мне, интеллигентке в первом поколении, не сразу удалось по плечу отличить фальшивый камень от настоящего, а годы тем временем шли. Все остальное звучало как дифирамб. Он сказал, что назвать меня Ирой — значит вовсе никак не назвать, по-

Русская красавица

тому что я — гений любви, непревзойденный, божественный, обалденный! — Отец! — в запальчивости выкрикнул Антон. — Ты не пове-ришь! То есть это — такое!.. Он закатил глаза и поправил распахнувшийся от избытка дви-жений халат, купленный, по всей видимости, а Париже, куда он мог ездить не реже, чем я — в Тулу, только нечего делать мне в Туле.

Владимир Сергеевич совершенно ничего не сказал, а просто подошел к столу, налил се-бе рюмку водки и выпил. Из кухни возникла постного вида прислуга в белом передничке с предложением пообедать. Предложение бы-ло принято с энтузиазмом голодного человека, хотя, по прошествии времени, он со смешком признавался, что сыт был по горло, вернув-шись как раз из гостей, но я не знала и была удивлена, что он, усевшись за стол, стал от всего отказываться, за исключением неболь-шого кусочка семги. Я внимательно наблюда-ла за ним. Он выпил вторую стопку, но с нами не чокался, а так: сепаратно.

— Сегодня холодно, — заметил он. — Двадцать градусов. — Холодно, — поморщил-ся Антон и тоже выпил. — А я люблю зиму, — сказала я с легким вызовом, хотя зиму отро-дясь не любила и всякое другое время любила больше зимы. Владимир Сергеевич посмотрел

на меня с медленно нарастающим одобрением: — Это хорошо, — сказал он весело, — что вы любите зиму. Каждый русский человек должен зиму любить. — Почему это он должен? — спросил Антон. — Пушкин любил зиму, — пояснил Владимир Сергеевич. — Ну и что? — сказал Антон. — При чем тут Пушкин? А я не люблю! Ненавижу. — Значит, ты не русский, — сказал Владимир Сергеевич. — То есть как не русский? — изумился Антон. — Кто же я тогда, еврей, что ли? — Евреи тоже любят зиму, — сказал Владимир Сергеевич. — Как можно не любить такую красоту? — спросил он и посмотрел в окошко.

Смеркалось.

Владимир Сергеевич казался мне несколько строгим, то тем не менее я была счастлива сидеть с ним за одним столом и вести беседу. — А вы не украинка? — спросил он меня с небольшой хитрецей. — Я чистокровная русская, — ответила я и продолжала: — Зимой хорошо. Зимой можно на коньках. — Вы любите на коньках? — Обожаю! — А я подумал, что вы украинка, — признался Владимир Сергеевич. — Нет, я русская, — разубедила я его. — Егор расчистил каток? — спросил он Антона. — Мы зимой заливаем теннисный корт, — добавил он мне: он и тогда считал меня достойной его до-

бавлений! — А черт его знает! — сказал Антон. — Я все равно не катаюсь. — Расчистил, — вмешалась прислуга, убирая тарелки. — Это хорошо, — одобрил Владимир Сергеевич. — Вот вы пойдите тогда после обеда и покатайтесь! — почти приказал мне Владимир Сергеевич, и я ответила ему признательным взглядом, имеющим к катку только косвенное отношение, а он чуть заметно мне улыбнулся, и я чуть заметно ему улыбнулась, и он взял вилку и принялся постукивать вилкой по столу, задумался, отвернулся к Антону и пустился с ним в деловой разговор о телефонных звонках, который скоро оборвался, поскольку Антон со вчерашнего дня отключил телефон.

Я закурила, держа сигарету на дальнем отлете: давая понять, что не только манеры знакомы, но и руки мои — с особой тонкостью запястий. В споре благородства и эталона я мысленно отдам пальму благородству, да и щиколотки у меня заужены, но редкий мужчина у нас не мужик, поистине: бюст и бедро — их убогий удел, хотя никогда не допускала вольности нахалу, нигде не бывала так одинока, как в его атакующем обществе, и с грустью глядела на низкопробные лица коммунального транспорта, пригородных электричек, стадионов, скрипучих рядов киноте-

атров: им мои щиколотки и запястья, как мертвому — баня! Искривленные заботами, они валили валом, они скользили серыми тенями близ винно-водочных магазинов, а я оставалась непонятой в лучшем, что было в моем существе, а я садилась в такси и обгоняла их на последний, бывало, рубль. Я их так сильно презирала, что даже надумала спасти. Во мне всегда покоилась Жанна д'Арк, и она наконец проснулась. Терпение лопнуло.

Ну и что? Ничего хорошего. Однако отмечаю, что я до сих пор теплая, я еще живая, хотя и беременная, хотя и начиненная смертельным зарядом похуже атомной бомбы. Живу, скрываюсь у Ритули. Обо мне знает весь цивилизованный мир. Но какое это имеет значение, если страх выползает, особенно из-под дверей, в виде шорохов, скрипа паркета, урчания холодильника, когда он вдруг включается среди ночи, содрогнувшись боками? Гады! Гады! До чего довели! И не будь Ритули, ее послушных и ласковых глаз, ее задумчивых прикосновений, снимающих хотя бы на минуту мой бранный позор, незаслуженный ужас, что оставалось бы мне, как не ванна крови со всплывшим оттуда телом? Но я щажу ее и не до конца доверяю. К Станиславу Альбертовичу тоже нет доверия, но раз взялся по-

Русская красавица

мочь — помоги! И ты, Харитоныч, ты тоже — бесстыжая морда, пусть он и оказывал мне некогда послабления, и я спала, отсыпалась, до часа, до двух, а потом лежала в хвойной пене, и приходил семирублевый массажист, такой расторопный, хотя Ритуля не хуже его делает массаж, что я под руками его в конце концов содрогалась. Никогда в этом ему не созналась, и он тоже вида не подавал, не переходя порога обычной учтивости — он мне все про актрис и про балерин сообщал последние известия — ни разу не объяснившись по поводу моих невольных содроганий. И это после всего, что было, вызывает меня Харитоныч писать резкий ответ моим заступницам! Нет, милый. Сам пиши. При этом он меня умоляет и логически возмущается тем, что то, что было недавно доступным — стало далеким и не твоим! А я смеялась над тобой, гад! А ты корчился! А я смеялась!

Подали кофе. Разговор опять стал всеобщим и оживленным, но вдруг раздались тяжелые женские шаги, и к нам в столовую, где так непринужденно текла беседа, при которой Владимир Сергеевич нет-нет да и посмотрит на меня, хотя он всегда был человек скрытный, руководствуясь образцами классической поры, не то, что Антончик — у того изо рта ка-

пал соус, он слишком шумел, чтобы глубоко чувствовать, зато Владимир Сергеевич, отказавшись от десерта, довольствовался дружеской беседой, когда в столовую вошла хозяйка.

Полная преждевременного негодования, а также извращенного чувства собственного достоинства, она осмотрела стол и обнаружила меня, и ее словно стошнило, хотя я приподнялась ей навстречу, как принято, и отдала честь всем своим смиренным видом, но она глядела на меня, как, в лучшем случае, на летучую мышь! — Антон! Это еще кто? — взвигнула она. — Это Ира, — хладнокровно отрекомендовался Антон, не замечая никакого недоразумения. — Хочешь кофе? — Ты разве не знаешь, что мне вредно кофе! — Ей все было вредно, этой перекормленной индейке, этой невоспитанной гусыне, которая в светском обществе корчила из себя образованную женщину, разбирающуюся в искусстве, и, смерив меня с головы до ног, словно я была воровка их фамильного серебра с вензелями, которое я даже не заметила, не имея в своей природе ни малейшей склонности к материализму вещей, она составила обо мне превратное впечатление и вышла из помещения. Как он с ней жил? что общего было у него — человека душевной организации и тай-

Русская красавица

ных позывов к освобождению от семьи — с этой фыркающей бабой? Согласна, что в молодости, судя по нескольким жухлым фотографиям, не будучи красавицей или даже просто приятной для глаза особой, она вместе с тем могла нравиться, допустим, своей эрудицией и преданностью идеалам мужа, на что Владимир Сергеевич наивно и нерасчетливо клюнул, однако сладкая жизнь, в которой она прозябала, ее окончательно погубила. Не всякий достоин томного существования, хотя, с другой стороны, сойдясь поближе с Владимиром Сергеевичем, я обратила внимание на то, что он тоже не подарок и, должно быть, изрядно истрепал нервы своей Зинаиде, не раз глумясь над ее свежим и пухленьким личиком, несмотря на то, что жизнь в их усадьбе, где не хватало лишь ручных оленей, могла постороннему обозревателю с улицы показаться мажорной и радостной симфонией, если прибегнуть к музыкальному термину, потому что музыка — единственная услада моих мытарств, однако я никогда не жаловалась, не складывала оружия, а, бывало, высунусь из чужого окна, в районе бульваров, где я позировала, только-только приехав в Москву, убогому художнику Агафонову в роли феи для детской книжки народных

сказок, вижу: трамваи звенят, деревья, крыши, а дальше пруды, пруды, и сверху люди выглядят даже слегка счастливыми — и ничего не надо, вот так бы сидеть целый день и смотреть на закат, завернувшись в белую простыню. И я пожелала вослед этой твари вдовства и позора, хотя я не вредная. Она получила сполна. Меж тем кофе выпит, коньяк смешался с кровью, похмелья как не бывало. Хочу на коньках! — А вы не хотите? — прямо спрашиваю его. Он отказался, но посмотрел на меня не без задней мысли. Антончик отстаивает свои интересы, приглашает наверх посидеть в кожаных креслах, но я знаю цену предложениям, а он говорит, что мечтал бы оставить меня погостить, да только мама неправильно поймет, блюдя интересы семьи, хотя не в ладах с невесткой, из чего заключаю со всей очевидностью, что Антон — же натик — в придачу с дитем! — никчемный человек, прохожий, и я собираюсь в Москву, оставляю свой телефон без всякого рвения, а тут совпадение: Владимир Сергеевич — тоже, и готов меня подвезти. Я замечаю взаимные флюиды, но не спешу себя поздравлять. Антончик все-таки напоследок меня укрادкой заманил наверх, где оставались рассеянные части моего туалета, и я уступила, зачем

Русская красавица

наживать в нем врага! Только Антончик повел себя сыном, не достойным умершего отца! Да-да, Антончик, пишу и не прощаю. Самой не сладко! Часов в девять вечера мы покинули с Владимиром Сергеевичем его гостеприимный дом. Сторо^ж Егор — который только делал вид, что он сторож, во все глаза следя за райской жизнью, услужливо подличал, будто при старом режиме, благословил нас в дорогу, распахнул ворота и замер, торча бородой, однако Зинаида, на сча стье, не вышла, сославшись на мигрень и на то, что читает в постели — так сообщил мне Антончик, поцеловав руку в знак признательности. Он был доволен, уёбыш!

Эх, Ритуля... Бог с тобой! едем дальше. Москва приближается. Между сосен и елок, посреди полевых цветов горит в небе Москва: из нее меня выписать хотели, но я не далась, я стала бешеная. Но тогда, в тот самый вечер, когда Владимир Сергеевич, оборачиваясь на меня в немом восхищении, приближался к Москве, все было сонным, и над лугами туман, река струилась, все было романтическим и мерцало, как в телевизоре. Простой народ укладывался спать по деревням, бабы кричали, нагнувшись к рукомойникам, мычал засыпающий скот, мужик разглядывал свои ноги, чесал грудь. Мы ехали через все это. Мы чуть не разбились в лепешку, еще ни о чем не договорившись. Это нас сблизило.

Владимир Сергеевич долго не мог решиться. Я видела, но тоже не решалась подбодрить его, однако Москва приближалась. Я уже начала

беспокоиться. Я была в сущей панике, видя, как он мучительно тянет время. Наконец он спросил меня строго: — Вы помните сказку Пушкина о рыбаке и рыбке? — Я помнила сказку, но плохо, давно не перечитывала, смутно помнила. — В общих чертах, — уклончиво ответила я. Он так строго спросил, что мне даже стало не по себе: не проверяет ли он мою образованность? не заставит ли прочитать сказку наизусть? Мало ли что ему придет на ум! Я его тогда совсем не знала. Так что я ответила: — Ну, в общих чертах, конечно... Нет, это невозможно. Я ее придушу!!! Я подошла и перевернула ее на бок. Живот тянет, груди болят. Муть. Ладно, я сегодня недолго буду. Едем дальше. — Помните, в этой сказке, — немного помолчав, сказал Владимир Сергеевич, — старый рыбак просит золотую рыбку об одолжениях... — О новом корыте он просит! — сказала я, вспомнив. — Не только, — возразил Владимир Сергеевич, неуклонно держась за руль в автомобильных перчатках, и всегда хорошим афтершейвом от него несло, это подкупало, но иногда, при жизни, был такой нерешительный!.. В общем, — сказал Владимир Сергеевич, — по-моему, старик этот был глуповат. Растерялся, не то просил, и в конце концов уплыла рыбка. Так что вот, Ирина... — Я даже вздрогнула от звука своего имени. — Чувствуете ли вы в себе силу и же-

ление стать, например, золотой рыбкой? Вопрос ребром. — Иногда чувствую... — неопределенно отвечаю я, а сама думаю: не собирается ли он мне денег предложить, нанести оскорбление, не принимает ли он меня за кого-нибудь другого или, можно сказать, за дешевку? — Хотя, — добавляю, — никакая я не золотая, и нет у меня пристрастия к низкому материализму. — Что вы! — восклицает испуганно. — Я в самом высшем смысле! — Ну, если в высшем, — успокаиваюсь я, — то чувствую. — Тогда, — говорит, — знаете, что я бы у вас попросил как у золотой рыбки? — Боюсь, — отвечаю, — что догадываюсь... Он резко поменялся в лице: — Почему, — говорит, — вы боитесь? Я, — косится он на меня, — не страшный. Я, — добавляет с горечью, — совсем перестал быть страшным... — Понимаю, — киваю, — все понимаю, но все равно страшно. Вы — знаменитость, вас все знают, я даже до вашей руки боюсь дотронуться. — Он обрадовался и повеселел: — Ирина! — говорит. — Я очарован вашей искренностью. — Тут он кладет руку мне на коленку и по-дружески пожимает ее, словно руку. Пожатие оставляет неизгладимый след: я и сейчас его чувствую, несмотря на репрессии.

Это не было слабое пожатие старого развратника, хотя он, конечно, был старый развратник, занемогший от частого злоупотреб-

Русская красавица

ления, потому что, как говорил, в отличие от русских, хотя сам был русский, женщин он любил больше, чем водку, а выпить всегда очень любил.

Настоящий, клевый развратник умеет утаить свою развратность, он прикинется товарищем, другом, незаинтересованной фигурой и вообще не по этой части, и такой развратник опасен и волнителен для женщины, а показные, демонстративные, с исступленным и решительным лицом — те лопухи, и мне смешно наблюдать за их телодвижениями. Владимир Сергеевич достиг высоких ступеней не только в славе и почете. Он всюду был удал! Но старость брала верх. То есть что значит брала верх? Он умел, конечно, находить себе разные отдушины, однако был беспомощен в главном средстве, а следовательно, огорчен. Не нужно было обладать проницательностью, чтобы догадаться. Он был огорчен настолько, что огорчение отразилось даже в пожатии коленки. Он с огорчением ее пожал. И вместе с тем с достоинством. Я ему так на это сказала: — Знаете что, Владимир Сергеевич. У золотой рыбки тоже могут быть свои прихоти. — Он встретил мои слова ответными заверениями, что в долгу не останется и на этот счет будьте совершенно спокойны. — Нет, — сказала я. — Вы меня не пони-

маете. Я так устроена. Я могу только тогда, когда любовь.

Я прочла в его глазах робкое недоверие и была серьезно покороблена, потому что я всегда искала любви. Я хотела любить и быть любимой, но вокруг меня редко бывали достойные люди, потому что их вообще мало. Где они? Где? С некоторых пор я стала сомневаться в благородстве и сердечности людей. По себе замечала: восемьдесят процентов моих далеко не многочисленных мужчин, сложив оружие, бессовестно засыпали, забыв про меня, а я шла в ванную подмываться и плакать. С другой стороны, оставшиеся двадцать не засыпали, но, дождавшись моего возвращения, требовали различных продолжений своего эгоизма, как-то: курили в постели, гордились собой, показывали бицепсы, рассказывали анекдоты, обсуждали недостатки других женщин, жаловались на некоторые отрицательные аспекты семьи и быта, листали увеселительные журналы, выпивали, смотрели по телевизору спортивные матчи, ели бутерброды, подставляли спину для поглаживания и мурлыкали, а потом с новой силой тянулись в мои объятия с чисто эгоистическими целями, чтобы затем заснуть, как первые восемьдесят, а я шла в ванную подмываться и плакать.

Не скрою: были исключения. Был посол Карлос с шикарными повадками, желавшими женщине счастья. Был Аркаша, любивший меня беззаветно, несмотря на то, что он обычный кандидат технических наук с рассыпающимися жигулями, но у его жены, как назло, родились близнецы, и он был вынужден расстаться со мной. Был Дато, грузинский скрипач и виолончелист. Он и сейчас меня любит, он и сегодня стучался бы в дверь моей квартиры и, должно быть, стучится, да только нет меня там, и потушен свет, и на полу неубранные осколки: я живу у Ритули. Она опять храпит. Как выпьет, так храпит. Но Дато был рабом грузинских привычек, и родители его любили меня, как дочь, но для женитьбы подай им целку! Плакал Дато, плакал его отец-прокурор Виссарион, все мы плакали: я не была целка. И что же? Он придет ко мне после женитьбы, сцепит руки перед собой, как они это умеют, на кавказском жаргоне скажет: — Дай! — Нет, — отвечу. — Не дам! Спи спокойно со своей ташкентской целкой!.. Нет, было, конечно, немало достойных людей, от их трофеев ломится мой туалетный столик, и они меня будоражили, я всегда была доступна своему наслаждению, хотя Ксюша, мудрая, как кошка, научила меня смотреть на мужчин более

Виктор Ерофеев

независимо и зависеть от них лишь в согласии с прихотью, но прихоть моя в тот душный вечер фантазии и полевых цветов, когда мы с Владимиром Сергеевичем приближались к Москве, отражавшейся в небе, была безгранична. — Владимир Сергеевич, — сказала я. — Я сделаю чудо. Не скрою: я гений любви... **НО ЗА ЭТО ВЫ НА МНЕ ЖЁНИТЕСЬ!**

Что стало с ним! Нет, что с ним стало! Ксюша, ты не поверишь! Он захохотал так, что мы буквально сбились с пути и помчались прямо под фары летящей на нас машины. Мы чуть не погибли от его хохота, в котором звучал восторг и полнейшее недоумение. Мы едва увильнули. К нам подбегал бешеный шофер, приготовившийся драться от страха за свою шоферскую жизнь. Но Владимир Сергеевич нашел подходящие слова. Шофер моментально скис и унялся. Владимир Сергеевич был сильной личностью. Мы стояли на обочине с заглухшим мотором. Владимир Сергеевич снова положил мне руку на коленку, и снова пожал ее, и сказал односложно: — Годится.

В небе горела Москва. Мы протяжно поцеловались. Прочувствованный и невинный, поцелуй скрепил договор, от которого содрогнулась в широкой кровати мерзавка Зинаида Васильевна.

Отец Вениамин, поп искренней и чистой души, крестил меня вчера пополудни в глухом приделе вверенной ему церкви. Деликатно отворотясь от греха, он обливал меня святой водой, а старуха-прислужница, божий одуванчик с железными фиксами, оттягивала мне резинку трусов, чтобы святая вода остудила мой стыд и срам.

Несмотря на беременность, я выглядела, как девочка, только груди отяжелели и висят, как чужие.

В белом платье с узеньким поясом, в белых колготках и синеньком шарфике, я, окрыленная, воздушная, ласковая, выпорхнула из церкви, приветствуя солнце, клены и нищих, приветствуя кладбищенские кресты, и венки, и черные ограды, дух нежирной осенней земли, перестук поездов. Как дочь православной

церкви и смиренная послушница, я объявляю перемирие в моих мелких и неблагочестивых войнах, прошу прощения у врагов и чуть что — прибегаю к совету отца Вениамина, из которого исходит волнение несовременной томительной святости. Никому не желаю ни зла, ни укора, сама же пребуду чистой, а если согрешу, то все равно я теперь ближе к Богу, насчет которого мои сомнения быстро улечиваются. Сегодня я верую больше, чем вчера! Завтра — больше, чем сегодня!

Ритуля ходит, завидует. Она тоже надумала креститься, но мне не хочется знакомить ее с отцом Вениамином, потому что она еще не созрела. — Теперь искушения могут стать особенно прельстительными, — со вздохом открылся мне отец Вениамин. — Борись с ними! Будь бдительна! — Понимаю! — ответила я.

А Ритуля напрасно на меня обижается.

Господи! Я не умею молиться Тебе, прости меня, я не виновата, никто меня этому не учил, жизнь моя текла далеко от Тебя, не в ту степь, но случилась беда, и я поняла, что, кроме Тебя, мне не к кому обратиться. Я не знаю, есть ли Ты или нет Тебя, хотя скорее Ты есть, нежели Тебя нет, потому что мне бы страшно хотелось, чтобы Ты обязательно был. Если же Тебя нет и я молюсь в пустоту, то почему тогда столько разных лю-

Русская красавица

дей, русские и иностранцы, инвалиды и академики, старухи и более молодые люди, всегда, с самых ранних времен, строили церкви, крестили детей, рисовали иконы, пели гимны? Неужели все зря? Не может быть. Никогда не поверю, что это было сплошное надувательство и всеобщая недалёковидность, которую вдруг осмеяли и унизили!

Конечно, Ты можешь мне возразить, что пока не приспичило, я жила вдалеке от Тебя, предаваясь радостям, пела песни и танцевала. Но разве это плохо? Разве нельзя петь песни и танцевать? Разве нельзя грешить? Ты, может быть, скажешь: нельзя! Ты, может быть, скажешь, что я жила не по правилам, которые записаны в Евангелии, но я их не знала. И что же? Мне теперь после смерти идти в ад и вечно томиться? Если так, то какая, однако, жестокость и несправедливость! Если — ад, то Тебя, значит, нет!

Ты только страшась нас адом. Скажи, что я угадала! Но если ошибаюсь, и все-таки он есть, отмени Ты его божественной волей, дай амнистию грешникам, многие из них уже долго сидят, и сообщи об этом, и вообще не скрывайся, почему Ты скрываешься столько веков, ведь из-за этого все сомневаются и ненавидят друг друга! Дай знак!

Не хочешь? думаешь, что мы недостойны? Но тогда объясни, для какой цели мы здесь, зачем Ты создал нас такими мерзавцами? Нет, если Ты создал нас такими мерзавцами, то чего, спрашивается, на нас обижаться? Мы — не виноваты. Мы хотим жить.

Отмени ад, Господи, отмени сегодня, сейчас! А не то я в Тебя верить перестану! И не только потому об этом прошу, что за себя беспокоюсь, а потому, что все недостойны рая, но именно потому, что мы недостойны, пусти нас туда!..

Или Ты решил, что я боюсь Леонардика? Его посещений? — Конечно, боюсь! Оттого и живу у Ритули, которая тоже хочет креститься, но это из моды, а так она не созрела, поверь мне! Но если даже я его и боюсь, то не потому, что он страшный: я просто его не ожидала увидеть, а он был, наоборот, не очень страшный, только с югтями, но в целом ласковее, чем раньше, и я растерялась, наделала глупостей, а потому я его боюсь, что могу не выдержать и, только Тебе признаюсь, согласиться на его предложение. А ребенок, если я сохраню, — кто он? Ответ! Мне расстаться с ним или нет? Но разве это не единственный документ, подтверждающий мою жизнь вне всякой жизни, помимо жизни, подтверждающий то, что я живу?

Русская красавица

Подожди, я еще ничего не решила, и я заклинаю Тебя, если это в Твоих силах, а всё в Твоих силах, пусть он пока не приходит, запрети ему, я Тебя заклинаю, дай мне самой решить, и сними с меня страх!

Не очень складная вышла молитва, хотя никогда не была я склочница и ни разу не подводила женатых мужчин, только не надо меня обижать, я сама кого хочешь обижу, и даже била по морде Дато, когда он связался с одной проституткой во всех отношениях, чтобы мне досадить, хотя он пламенно отрицал, словно они не лежали на диване в компрометирующих позах половых отношений, словно я не видела собственными глазами и не была готова все простить и свалить ответственность на эту дрянь с сальными волосами, которая уже давно подкрадывалась к нему за кулисы, заглядывала в лицо и произносила пустые словечки, которые целили известно куда, и я предупреждала Дато, смотри, я — ревнивая! не допущу! не стерплю — а он отделялся непонимающим лицом и с тем же самым непонимающим лицом смотрел на меня с места своего преступления, как тогда, когда нас с ним застукал отец Виссарион, когда я гладила ему, дураку, сорочку, — вот до чего дошли наши отношения! Я гладила ему сорочку, а он

напал сзади, как какой-нибудь барс, и — пристроился! Стоит и напевает своим музыкальным голосом частушки, причем по-английски, любил он переиначивать частушки на английский лад, и мы хохотали, только это был не совсем Дато: это был такой мальчик Володечка, мне по плечо, но очень техничный мальчик, вступающий в коммерческие отношения с заграницей по долгу службы, а мы отдыхали с ним в Ялте, в совершенно роскошной гостинице, и англичанин, отец двух английских детей, постучавшись в мой номер 537, объяснился в любви, покуда его супруга волновалась внизу в валютном баре, но я даже глазом не повела, а Володечка как раз в это самое время собирался в поездку и звал меня, но я отмахнулась: подумаешь! Как стюардесса, я облетела многие аэродромы мира, была в Сомали и на Мадагаскаре, в Дакаре и на Огненной Земле и плевать хотела на его приглашение, а он почти не удивился, поверив и приняв за должное, он тоже в Дакаре был пролетом, а теперь звал с собой в Тунис: не беспокойся, там все, как у белых людей, — я задумалась, чтобы принять приглашение, хотя он мне по плечо и на шесть лет моложе, но очень техничный, почти, как Дато, только тот больше любил повозиться, покусаться, побало-

Русская красавица

ваться, вот и тогда, когда на месте преступления поднималась и мерно сияла его добродушная жопа, он отпирался с упорством военного человека, хотя я уже нашла объяснение и попросила юную тварь вон! — ну, как не стыдно вам, девушка! неужели не стыдно? — она же, ничуть не смутясь, идет к зеркалу расчесывать сальные волосы, наводит марафет и хихикать, как мы с Дато, когда вдруг вошел районный прокурор Грузии, папаша Виссарион, и говорит басовито: ого! — а я глажу под звуки музыки, потому что Дато мой — органист международного класса, вечно на гастролях, и брал с собой мою фотокарточку, где я, после ресторана в Архангельском, снялась в аппарат, который тут же делает карточки, под пьяную лавку, и показываю непонятно зачем, а он говорит: это кто? — и тычет в незнакомого ему человека, а у незнакомого ему человека на роже изображено сладостное бессилие, как всегда у них в этом случае. Какое твое собачье дело? Хочу взять, а он не отдает: дай на хранение и — в бумажник, а то твоя мама приедет, еще увидит, и — в бумажник, я не успела вырвать, и полетела фотокарточка в самолетах и вертолетах, полмира объездила, была в Сомали и на Мадагаскаре, в Дакаре и на Огненной Земле, была свидетельницей авиа-

катастрофы века в Лас-Пальмасе, а я равнодушно говорю: — Стюардесса. Походка у меня — замечаете? — Он замечает. Так я всю Ялту с ним и проходила, а папаша Виссарион в дверях: ого! — а Дато смолчал, человек сдержанный, даром что грузин, но они, между прочим, бывают такие, я сама наблюдала, но чуть что — за ножи! хотя тоже не все, а когда юная тварь выходит за дверь, на прощание сказав «до свидания», будто ничего не произошло, нахальства не занимать, я даже удивилась: во, думаю, уровень! немытая, а такая нахальная, я Дато на концерте к ней спиной разворачивала, и, казалось, он не заметил, но как сели в машину, поехали по Руставели, где так хорошо и магазины торгуют до полночи, смотрю: она в нашей машине сидит, и Дато раскинулся в серединке, между двумя девушками, как садовник. Нет, говорю, Дато, так не пойдет, а он уже с ней целуется: она его в губы целует и по брюкам ползает, как мандавошка. Повернись-ка сюда, мой милый! Он был занят, однако обернулся. Я ему — раз! — по морде, он мне руки схватил, держит: ты что? Я говорю: ты с кем меня сравнил? — и — кусаться! Он даже всплакнул от обиды, нервный, как многие музыканты, но охочий до всяческих выдумок: нет, чтобы порвать фото-

Русская красавица

карточку, нет, чтобы от ревности взвыть, так он ее, напротив, в бумажник и по всему миру возить, а как она за дверь, все отрицает, ничего, дескать, не было. Как то есть не было?! Я даже обомлела. А он запел:

Кам, Маруся, уис дак.

Уи шэл иит энд уи шэл фак!

Стоп! говорю, Володечка, на пошлость право сначала заслужи! То же самое скажу про ругательства, раньше вовсе не употребляла, сторонилась, считала за невоспитанность, но Ксюша объяснила преимущества, когда, говорит, к слову возвращается его первобытный смысл: это — кайф! А не употребляет их одно только учительское сословие, что в кайфе ничего не смыслит. И верно, не ошиблась и здесь моя Ксюша, а что французов поносила — великая тайна, а недавно в США побывала и сообщает: там ЕЩЕ хуже, совсем некультурный народ, вроде нашего, только побогаче и очень гордятся, что искренние. Мы, говорят, искренние, как никто, и безо всяких комплексов, но слишком много, сообщает, среди них искренних дураков, это носит характер эпидемии. Если ей верить, то она даже вздохнула свободнее, улетаая обратно в Париж, жуткий, говорит, народец — американцы. А вку-у-ус у них!..

Их в Париже, говорит, за версту отличишь. А в музеях, как обезьяны, в наушниках ходят. В каких еще наушниках? Не нравятся мне ее речи, и чем дальше, тем больше! Ты постой, говорю, в очередях, по аптекам за ватой побегай, сапоги, говорю, за два стольника не хох? — Злится. Я, говорит, никогда в очередях не стояла, без апельсинов могу прожить: на сырках да на сыре! Наступает моя пора, распирает меня от злобы: Ксюша, ты американцев не трожь! Тупой народ на Луну не летает. Хотя, с другой стороны, что за наушники? А это, говорит, такая привычка: приходишь в музей, берешь гид-кассетник, он болтает, а ты — в наушниках. Так вот, поясняет, американцы гуськом от картины к картине, как заводные, в наушниках. Лбы наморщили, морды глупые. Им механический гид велит: шаг вперед! Шагают. Подойдите к картине! Подходят... Назад! Два шага назад! Отходят... Теперь в другой зал. Номер три. Идут в зал номер три, минуя зал номер два, где ничего не оглядывают, потому что им велено напрямиком в зал номер три. Ну, не идиоты ли? Я за них обижалась: ничего, говорю, тут позорного не вижу, кроме прогресса, и сама бы ходила в наушниках, благо что английский со школьных времен помню и даже частушки могу пропеть по-английски:

Русская красавица

Кам, Маруся, уис дак...

Ну, он просит, чтобы она пришла к нему с гусем, гусь, понимаете, гусь! Уи шэл иит — ну, этого гуся — иит — кушать, а потом — англичанин пялит глаза, напрягается, юмора не понимает, моргает, вежливо улыбается, никакого чувства юмора, однако, говорю, многое зависит от компании: если компания не подкачает, частушка может стать даже высокохудожественным произведением, идущим от корней народной жизни, потому что народная жизнь, как убедилась на собственной шкуре, явление противоречивое и не до конца изжитое. Есть в ней хорошие стороны, склоняющие меня к патриотизму (я — патриотка), но есть, конечно, и полный провал. Евреи, например, говорят, что мы — тугодумы, что такого медлительного народа больше нигде не сыщешь. Ладно вам! Народ у нас не очень поворотливый, особенно деревня, где живут даже хуже, чем надо, с другой стороны, живи они лучше, питайся мандаринами, грецкими орехами, мясом — что бы вышло? Как объяснили мне два брата Ивановичи (они журналисты), народ носит в себе неисчерпаемый резервуар природной мудрости, даже если глупы, но как перестанут пить и жить хуже, чем

надо, то природной мудрости лишатся и прочих добродетелей тоже, потому что душа чиста в воздержании! Верно, возражаю им, во мне, например, нет низкого материализма, а нынче, покрестившись, обеими руками подписываюсь: душевный народ! А про американцев Ксюша зря, они тоже народ хороший, только мы получше! Это я как родная дочь православной церкви, а не какая-нибудь отщепенка, когда бросилась на колени молиться, смотрела на доски и не знала, что сказать. Мерзляков шепчет мне: Молись! Молись! Я говорю: я молюсь. А сама только воздух церковный смущаю. Но как священник Венедикт возник на моем пути, то постепенно стала я различать красоту и слышать запахи нежирной осенней земли, на которую слетают опавшие листья, и будущий желтый ковер под ногами, идешь себе по нему, сама не своя, душа радуется, песня в ушах слышна, а вот как закроют провинции въезд в столицу, устроят вечную Олимпиаду, еще лучше станет, потому что, скажу я по праву собственной жизни, иначе они портятся и не хотят возвращаться, скупая весь товар, особенно, если с претензиями и не последние выродки, очень сбивает их с толку столица и развращает. На въезд в Москву получи визу — тогда и въезжай, а так

Русская красавица

сиди дома, не рыпайся, по ночам иначе будет сниться, кричишь, бывало, во сне, на расстоянии ночи в дороге, причем приведу факт: туда поезд ходил переполненный, мест нет, как в метро, спят на багажных полках, зато обратно, бывало, в общем вагоне доезжала почти одна-одинешенька. Вместе с тем населения в городе не убывало. Была дважды замужем, то есть до двадцати трех лет, оба раза по глупому, но дело не в этом: ездила я в Москву навещать театры и рестораны: душой отдохнуть, все чаще и чаще навевывалась, завелись кое-какие знакомства, а главное, проживал в Москве мой родной дедуля — случай уникальный! — в двухкомнатной квартире! — один!!! Ну, умерла его жена, моя бабушка, — а я должна была коротать жизнь в полнейшем провинциальном мизере! Не у всех, конечно, проживает в Москве родной бабушка, старый стахановец, со слабоватым здоровьем, требующим надзора, а только сын его, мой беспутный папаша, имел безумие выписаться из Москвы и застрять навечно в нашем старинном городе, стать подонком со всех точек зрения. Чувствую за ним уголовное прошлое, о котором в семье по неписаному уговору распространяться было не принято, не случайно папаша оказался кривой, то есть в буквальном

смысле одноглазый, а другой, искусственный, глаз был маленький и очень неудачный, за что меня в школе принялись дразнить с самого первого класса, но дедуля благоразумно отмалчивался, а теперь мать пишет: лежит на койке с обширным инфарктом, может быть, в данную минуту умер, откуда мне знать? Я живу у Ритули, хотя надоело мне у Ритули, ну ее! Да и мать вечно хитрила, а когда отцовское прошлое накатило на меня непосредственным образом, о чем по младенческой дури я не догадывалась, ходя с красным галстуком, я думала, это он меня так воспитывает, это он меня так наказывает за провинности и плохие отметки, это так надо, я не сразу сообразила, я бы еще долго не сообразила, была темная, а мать работала и не знала, как открылось ей все через развевающуюся занавеску, когда не ко времени возвратилась, то немедленно, бегом донесла в милицию, и я подумала: ну, теперь они точно друг друга убьют — так ругались! — а был отец, говорят, когда-то краснодеревщиком, есть в семье такая легенда, однако не помню, чтобы он хоть раз в жизни держал в руке кусок красного дерева.

Однако друг друга не убили, живут по сей день, а дедуля — что дедуля? — останется светлым пятном. Впрочем, инфаркт обширный.

Русская красавица

А когда мать сюда собралась, с целью отъезда в Израиль, желая на моей беде сбить сметану, она говорила, что отец наш совсем дошел, искусственный глаз в который раз потерял, новый не заказывает. Во всяком случае, не исключено, что папаша сидел, за что, не знаю, а может быть, его только собирались посадить, тут он и свалил с концами, в глушь, где меня из-за него, кривой сволочи, принялись дразнить с самого первого класса, доводили до рева, а была я на редкость крупная малолетка, с глупейшей рожей, двумя косичками и робкой кособокой ухмылочкой. Очень была застенчивая, до дикости, в женской бане стеснялась раздеться, и в душе осталась такой навсегда, только Москва нанесла на меня свой столичный лоск, а как я в Москву влюбилась!

Не могла без нее, словно отравилась. Говорю: по ночам бредила, мужа пугала, особенно второго, был же он отчасти даже городской знаменитостью: футболист. Я ему, что называется, изменила, когда он в больницу с воспалением легких попал, я бы рада была не изменить, да он сам во мне такой пожар раздул, что крепилась я, крепилась и не усидела: вместо Москвы стали мне одни хуи сниться, целыми семьями, как опята, просыпалась вся в мыле, жуть! Да не в том беда, что изменила,

а неудачно изменила, из другого спортивного общества. Тот, конечно, куражась, всем разболтал. Город — небольшой, большей частью остался деревянный, и на древней эмблеме — крылышки. Долетела городская сплетня до моего дворового игрока. Была безобразнейшим образом бита, и если не искалечена, то чудом! просто чудом! хотя шрамик на переносице так и ношу, как привет от футбола.

Шрамик — ладно, придает пикантность, но издевательства не снесла, бежала в Москву, в ноги дедушке: возьми в опекуны! Дед, строгих воззрений, опасался, что загуляю. Клялась здоровьем родителей, а если подвела старика, то совсем непреднамеренно. Да только теперь уже непонятно: кто кого подвел? Потому что дедуля, конечно, мог и не выступать на собрании, сказавшись больным, как старый человек, на веревке бы не поволокли, а то, что будто бы он меня защищал — это еще бабушка надвое сказала, покойница. Ну, да Бог с ним, а только как залегли мы с Ксюшей, обнялись, я и спрашиваю невзначай: — Ну, а как Нью-Йорк? Небоскребы не давят на психику? — Нет, отвечает, ни капельки. Напротив, вид красивый. — Ну, значит, думаю, врешь ты все, только ума не приложу: зачем? А дедуля по Финскому заливу прет босиком: — Не надо-

Русская красавица

ело, мол, гужеваться? Любовнички телефон надрывают! — Был моим секретарем, отвечал на звонки, по закону минувших дней говорил: — На проводе! — И Карлос звонил, латиноамериканский посол. А дедуля ему: — На проводе! — И Леонардик, бывало, наберет номер, поджидая меня и сгорая от любви и истомы, а дедуля: — На проводе! — Вел у меня телефонную бухгалтерию, но немного брюзжал, не понимая плюрализма, а теперь вот умирает, а может быть, умер.

Лежим, разговариваем, воспоминания о Коктебеле нахлынули на нас, как морская волна. Ночные купания под лучами пограничников, а мы купались, на спинках плавали, молотили руками по морю, а когда выходили, были задержаны, как шпионки турецкие, только Ксюша, понимая в шпионстве толк, осадила солдатиков, объясняла: не мусульманки! не видно, что ли? — Солдатики светили из фонарей и гоготали: вы, случаем, не актрисы? Такие высокие обе! Не знаменитости? — Ксюша, хлебом ее не корми, говорит: — Знаменитости! Солдаты гоготали, а мы арбуз ели, красный-красный, под тентом сидели, а она французский роман читала, с детства языки выучила, а за нами орава мужчин ходила: мы их презирали, мы друг друга лю-

били, слов нет. И напрасно Юрочка Федоров утверждает, что я враг культуры, напрасно, это он так утверждает, потому что у него голое место на том месте, где у меня шумят бергамотовые деревья, где журчит ручеек и рыбы с красными плавниками — там у него голое место, выжженная земля, а насчет культуры — напрасно. Я начитанная и все понимаю, даже Ксюша дивилась: откуда берется? Недаром, конечно, потому что долго не могла отмыться от запаха старинного города с эмблемой из крылышек, как ни мылась, к каким шампуням и духам ни прибегала, принимаюсь к себе — тлетворный дух: хозяйственное мыло и плесень. Нет, Юрочка, тебе не понять! — А помнишь, говорю, Ксюш, как мы с тобой великий закон вывели, основываясь на взаимном наблюдении? Помнишь? Как, говорит, не помнить, солнышко, великий и справедливый закон, только не всем доступный. Всплакнули и обнялись, и никто нам не нужен. А после рассказываю про Леонардика, про наш договор, она Леонардика с детства знала, дядей Володей звала, потому что родители дружили, с Антончиком чуть ли не с четырех лет в дочки-матери играли, а того — так просто дядей Володей. А я, говорю, в это самое время чуть не погибла, поскольку

Русская красавица

на нашей улице самосвал в грязи утонул. Приехали трактора вытягивать, тянули-тянули, а мы, детишки, смотрели, как тянут, а тут трос взял и лопнул, как струна от гитары, зашвистел и рядом со мной мальчишечку прибил, по виску ударил, тот упал, а я — рядышком, ну, в полшаге от него на корточках сидела, тоже интересовалась, как вытягивают, а как его вытянешь, если он по самую кабину в грязь погрузился. И смотрю: лежит мальчик, умирает, а вы, говорю, в малиновых кустах глупости друг другу показывали, пока родители ваши с важным видом прогуливались под соснами в жаркий день, обсуждали мировые проблемы, в парусиновых шляпах и в летних костюмах, мусоля исторические моменты, статью в газете и виды на завтра, кивая головами, а красивые жены поодаль семенят и щебечут о тряпках, да только не про газету шла речь, а небось про баб. Всякое было, говорит Ксюша, не обязательно только про баб, хотя и про баб, ибо дядя Володя всегда был коллекционер, и мой папа тоже не святой, хотя и талантливый. Ну а мальчик? — Умер, говорю, немедленно. Хоронили. Потом мамаша его говорит: — Ничего. Другого рожу. — И родила, но сначала плакала, убивалась, в руки его схватила, не отдает, из гроба

вытащила, не отпускает, вся кричит, а потом родила, снова мальчика, как две капли воды, такой же бритоголовый, с сизым затылком, как голубь, а я — рядом: на корточках. — Самосвал-то хоть вытащили или там все стоит? — Смеемся, будто не расставались, будто она не француженка, не на розовом авто разъезжает, пугая людей. А что, говорит, у вас с дядей Володи? Женится он на тебе или шутит? Я ему пошучу! Однако жалуюсь: время тянет, ссылаясь на репутацию. Они с хирургом, говорит, с детским профессором, помню, замышляли сиамских сестричек попробовать. Две головы, две шеи, на шеях платочки, два сердца, четыре соска, а дальше — пупок и единое целое: все ходили, облизывались, по девять лет девкам было, сохранялись отдельно от всех, няньку наняли, их обхаживала. Вот, сокрушался профессор, дожили бы только, интересно, да только не доживут, и верно: померли девки, не достигнув положенного возраста. Я, конечно, запомнила, даже если и шутка, и Леонардика спрашиваю: что же ты пишешь-то все про другое? Читала, говорю, еще в школе проходили, и фильмы видела, мутило меня от них! — Это когда ссориться стала... — Ну, что? — спрашивает Ксюша. — Воскресила ты его Лазаря? или так

Русская красавица

и висит до колен в седом опушении? — Ой, говорю, какая ты, Ксюша, вредная! — Да ну его! — говорит. — Он противный! — Он противный, Рене противный, у тебя, Ксюшенька, все противные, а по-моему, каждый чем-то красив! Вот мой Карлос, покуда его длинноногая жена окантовывалась на родине, он гулял, на столе мы с ним жили, посреди письменных принадлежностей: — Вы, говорил, редкая дама, Ирина, вы ноги можете буквой У держать! — Только вдруг его отзывают. Что такое? Пришла к власти хунта! — Знаю, — говорит Ксюша. — Бесчеловечные бандиты! Даже священников пересажали! — Кто? — Да хунта! Не мудри, солнышко, выходи за Аркашу! — Выходи! Предан он мне, конечно, как конь, и жена его все терпит, прямо удивляюсь женщине, да только что с него взять? Тоска. Ой, солнышко, повсюду тоска!.. — А Рене? Все еще социалист? — А что? — говорит. — Я ведь тоже социалистка! — Ксюша, помилуй, — говорю, — ты... ты — социалистка? — А она не смеется, она серьезная, и к деньгам относится без шуток, деньги-франки булавочкой, как жуков, протыкает, вижу: не все так просто, лежа в обнимку, может, думаю, в последний раз, когда снова приедет, совсем изменится, откажется от меня, а кто меня

обучил, что такое идиллия? кто? Все в том же Коктебеле, все в том же Черном море и началось, в восточном Крыму, только я этого никогда не забуду, как она стояла передо мной на коленях, как заботливо растирала меня полотенцем после ночных купаний, и память об этом пронесу, не отрекусь, а если какая-нибудь Нина Чиж, которая даже не знает, из какого точно места женщины писают, потому что она меня об этом сама спрашивала, не смотря на то, что ей уже за тридцать! — да как она смеет меня обзывать! — только я тушу ненависть: я — христианка, с давних пор тяготела к религии, крест носила, думала, для удовольствия, а оказалось: ошиблась. Осветили тот крест святой водой, и священник Валериан провозгласил меня мученицей.

А что до первого мужа относится, скажу так: повстречайся он мне на улице, не признала бы, совсем выветрился, и спросить меня: сколько с ним прожила? — отвечу: ну, месяц, ну, максимум, два, а если по паспорту, то два года! А теперь на улице не узнаю. Не потому, что гордая или делаю вид, — а просто забыла, два года жила, жила, — и все забыла, начисто, даже где работал — забыла... Зато второй — помню: футболист! Была зверски бита за вынужденную неверность, потому что дело до-

шло до такого безобразия, пока он отходил в лазарете от травмы ноги, что, увидев однажды двух лижущих уши дворняжек, была охвачена смертельным волнением и решила, что хватит! Теперь — все не то! Ветер старости дует мне в лицо, и груди торчат в разные стороны, как у козы. Ну, куда я, глупая мама, поеду? Кому я нужна? Нет, это конец. Ветер старости дует мне прямо в морду.

И зачем, говорю, ты, дедуля, прешь так нагло через Финский залив по воде босиком? Ты-то, скажи мне на милость, куда собрался? Уж не в Хельсинки ли обарахлиться, уж не отвалить ли задумал? Так ведь финны-то, они, говорят, догадливые! Не ходи, дед, по Финскому заливу, не пугай меня на ночь! Нет, отвечает дедуля, и идет себе гордо по Финскому заливу, не обращая внимания, нет, не в Хельсинки-Гельсингфорс я собрался, не на барахолку, слишком стар я, чтоб врать и лукавить, ничего мне не надо, дышу свежим воздухом! — Смотри, говорю, подстрелят тебя, старого стахановца, ко дну пойдешь! — Пора, отвечает, мне по Финскому заливу походить-побродить, а подстрелят, беда не велика, пойду ко дну. Ну, Ксюша, говорю, цирк: дед по Финскому заливу гуляет, а она прижалась ко мне и тихонечко скулит. Волосы по последней моде, надо, ду-

маю, тоже себе так выстричь, не удержалась: позавидовала, хотя, думаю, с другой стороны, чего завидовать, если человек с жиру несчастный или от крайней нужды — какая разница!

Зато как разбалуется, спасу нет! Смотрите, говорит, не мусульманка я, хотя татарскую кровь тоже имею, как все мы, грешные! И стоим мы с ней в лунной дорожке, по колено в Черном море, взявшись за руки, московские знаменитости, мировые кинозвезды, Марьи Ивановны, а солдатики-пограничники нас рассматривают, и штаны у них шевелятся от этой невидали. Как заметила это Ксюша, так и взвизгнула от шалости: — Ну, говорит, ребяташки, скидывайте свои автоматикки, расстегивайте пуговицы на мундирах, пошли вместе купаться, а они отвечают хором, с хохлацким акцентом: — Находимся при исполнении служебных обязанностей! — Бросьте, говорит Ксюша, на минуточку ваши обязанности, давайте лучше купаться, дружить! Покрутили головами пограничники: — Купаться, мол, не имеем права, а на бережку посидеть, папироску выкурить — выкурим. Ну, мы вышли. Ночь в звездах, вокруг скалы, и волны шуршат. Природа располагает. Не выдержали хлопцы, скинули тяжелые автоматы, ведут нас раскладывать на скалах, забыв о шпионах, плыву-

щих из Турции. Сняли замок с государственной границы. Посидели потом, покурили. Оправили солдатики мундиры, водрузили на плечи оружие. Расстаемся друзьями. Пошли они дальше стеречь границу, а мы снова в море — бултых! — и плывем по лунной дорожке. — Как думаешь, — говорю, — не заразные? — Что ты! Чистые! — плещется. — Онанисты!

А наутро замечание делает: у тебя, солнышко, гадкий купальник, вульгарный очень! Смени! Хорошо ей сказать: смени. Я за этот купальник на одной бретелечке... а она: смени! Не любила вульгарности, отдала мне свой: на, примерь! Многому от нее выучилась, хотя не всегда бывала Ксюша права, Леонардика зря обижала. Ну, говорит, расскажи, что у тебя с ним? Нет, морщится, не рассказывай! Да почему же, недоумеваю, старый хрен? Совсем не старый хрен, весьма обходительный, умеет ухаживать, вовремя плащ подать и стул отодвинуть, страдает, конечно, за свою репутацию, но влюблен, как юноша: розы на дом шлет, дедуля нюхает. — И не противно тебе с ним? — Отвечаю откровенно: — Ничутьочки! — Она смотрит на меня, как француженка: — Станные, говорит, вы люди. — Кто МЫ? — Ничего не отвечает, молчит, перерождается на глазах, и не успеет приехать, погос-

Виктор Ерофеев

тить, погулять на свободе, вдали от своего стоматолога, — смотришь: сборы. Икру паюсную на подарки достает и фашистские хунты поругивает. Конечно, зря они Карлоса убили, зря разорвали дипломатические сношения и его подвал с танцами, хотя, конечно, вздохнули с облегчением, заколачивая досками дверь: уж больно чудил! больно вольничал! Только в джинсах американских зарекся ходить, не ходил. Америку, как Ксюша, не любил, говорил, что дрянная нация, ну, да мне все равно: дрянная так дрянная, хунта так хунта!

Отвечаю ей откровенно, от всей души, не таясь: нет, моя милая Ксюша, ни чуточки! Великий, говорю, человек! Динозавр! А что, говорю, он пишет, не нам судить, он с государственной точки зрения видит дальше нас, а мы с тобой — мелко плаваем. Да, говорю, другие горизонты открыты ему, не нашенские. А она смотрит на меня, головою качает: — Станные Вы люди! Станные! Станные!

Ящики настезь. Колготки свисают желтыми исхоженными ступнями. Возвращаюсь в пустынный свой дом.

Вот флаконы духов, пробочки граненые, стоят в ряд, диориссимо, теснятся, перламутровая вазочка с засохшими незабудками, разноцветные ватки, лосьоны, черепашьи гребешки, золотые патроны губной помады. Я осколки с тех пор не замечала, пусть себе валяются, на трюмо пальцем написала ИРА, завела патефон свой шипучий, нахмурилась и дальше пишу, писанина отражается в зеркале: вот флаконы духов, пробочки граненые, стоят в ряд, диориссимо...

Вот пузо. Скоро все будет непоправимо. Я ему крикну, как посмеет войти: вот оно, мое пузо, вот! Почтовый ящик полон газет, это — дедулины. На стене, без рамы, прибит боль-

шими гвоздями холст: моя прабабушка. Портрет старинный и работы неизвестной, талантливой. Кавалеры дивились, хваля: кто это?

Кровать славная. Покрывало атласное, тяжелые кисти.

Мерзляков, раз съездив с тургруппой в Польшу, рассказывал: там, в ихних костелах, таблички висят серебряные и золотые, с благодарностями. Спасибо, Иисус Христос, что Ты мою дочку вылечил от менингита или что я благодаря Тебе человеком стала, спасибо! Такие, говорит, висят в костелах таблички, привинченные к стенам, окладам, колоннам, а сколько таких благодарных табличек к твоей кровати можно бы привинтить? Я, говорил Мерзляков, привинчу из чистого золота: дзенкуе, пани Ирена! — Не привинтил... Шла у нас с ним тогда шестидневная любовь, долгие часы мы с ним в это трюмо гляделись без усталости, он, бедняжка, уже на ногах не стоит, кровью кончает, а все любит, да что толку? Остался с женой, синхронной переводчицей, принялся размножаться, про таблички забыл, записался в старые друзья, раз в полгода зайдет чайку попить, и уже все не то, все не то, без особого вдохновения, будто подменили человека.

Помрет дедуля, не оставят мне этой квартиры, слишком просторная, дед служил ве-

рой-правдой, а я что? Подписала, как водится, по собственному желанию, чтобы Виктор Харитоныч смог письмишко свое поганое отписать, марку наклеить и послать моим заступницам, мол, никакой особой беды мы ей не причинили, сама решила посвятить себя частной жизни, как принято и в вашей стране, хотя в процентном отношении у нас работающих женщин в шесть раз больше, чем у вас, и никто у нас асфальт из слабого пола не ложит, все это неправда, ты бы, говорит, и сама черкнула пару строк: спасибо, мол, за заботу, за ласку, да только не стоило беспокоиться... — Обойдешься! — отвечала я и подумала: может, и верно, не тронут, после их статейки, ведь если свалили все на любовь, значит, вышло мне алиби. Смолчала я, затаясь в смертельной обиде, выписываю срочно Ксюшу из поселка Фонтенбло французской железной дороги, а они потихонечку начинают меня в родной город обратно спраживать, выпирают. Бросаюсь звонить в тысячу мест! Был на примете Шохрат у меня, большой человек во всей Средней Азии, захотелось мне у него отсидеться, в себя прийти: — Это я, Шохрат! — говорю с фальшивым весельем, а летали мы с ним по всяким там Самаркандам, посещали мусульманские святыни, только дальше гос-

тиницы не выходили, останавливались в люк-сах: рояли, климатизаторы, дыни отборные. Во рту таяли.

Расстаюсь с Маргаритой несколько сухо, хотя, безусловно, по-дружески, и она меня тоже не задерживает, завелся у Маргариты неизвестно кто, несмотря на оказанные ласки: ничего, думаю, не пропадешь, не окочуришься, потому что совести не хватает, будто не помню я, как ты япошку своего, фирмача, заразила, и он улетел в Японию в полной прострации, хотя ты знала про себя, что заразная, и тут же в баню меня зовет, как здоровая, я даже слов не находила, нельзя же все-таки так, Ритуля, некрасиво, только у нее другие понятия, да я ничего: подлечилась она и опять ко мне потянулась дружить, мы сдружились, но нежность любила скорее из любопытства, не было в ней мракобесия, не то, что у Ксюши, у той хватало на всех, бывало, несется по Ленинскому проспекту: жигуленок канареечный, сиденья черные, груди торчком, хотя есть отметина, один сосок видный, а другой как бы не проклевывается, несимметрично, но даже оригинально, правда, не в дневное время, а поближе все-таки к полуночи, но шоферы такси и другая запоздавшая публика совершенно дурели и терли глаза.

Русская красавица

Но Вероника сказала мне: ты дальше пойдешь. Вот и пошла, да что пошла — побежала! И знаю: Ксюше этого не дано, все дано, а этого не дано, такие дела. Вероника мне объяснила: не Ксюшина это епархия, Ксюше театр и радость отпущены, а тебе, Ира, — смерть. — Не болтай! — говорю, но в глаза не смотрю, взгляд тяжелый, не выдержу. Вероника — та еще ведьма, лоб бугристый, много мыслей заключено, и странно видеть, как в метро она едет, в лабораторию: некрасивая, нечесаная, неотличимая от всех, ноги толстые, одежда — лучше не говорить, ни один мужик не обернется, а взглянет — вздрогнешь! Как уехала Ксюша, а Ксюшу она любила, в Ксюше находила радость, которую мы позабыли, где, спрашивает, еще такая радость, где? Обернулась: затмение полное, как будто дубиной, и Ксюша тоже не выдержала, стрекоза, и остались мы с Вероникой, только с нею дружить нельзя, это из другой жизни, а в метро: баба бабой, с кандидатским дипломом, едет химичить. Зам. зав. лабораторией. Вот так.

А на бабушку, на прабабушку свою, я похожа, скажи, бабушка! Висит себе, гордая. Так что, уж извините, я не плебейка! А они все хвалили: какие щиколотки! какие лодыжки! — но с моей подсказки, а так только Леонардик за-

метил самостоятельно. Ксюша спрашивает: воскресила ли я его Лазаря? Ну, хвалиться не стану, воскресила, хотя положение было пиковое, надежд не подавал никаких, потому, видать, и согласился на договор, скрепив его искренним поцелуем, однако хитрость скоро дала о себе знать, потому что не верил в свои силы, на последнем издыхании находился, да и избалован был выше меры, любил перечислять балерин, козырял фамилиями, оглушить хотел, как рыбу. Но я свое дело знала, а когда Ксюша подробности пожелала, отвечала: ты сама не хотела подробностей про дядю Володю, не скажу, но сказала, потому что хотелось, конечно, похвастаться, воскресила, чего уж там! Ну а как воскресила, говорю ему, будто в шутку, но не сразу, естественно, пусть наслаждается, а кончал у меня, как миленький, словно не гений интернациональный, а свой человек, а как умер, дедуля вбегает с газетой, от новости радостный: смотри, кто умер! Мне ли не знать, глупый старик, нашел, чем удивить, сама только что оттуда, насилу отпустили, едва отстали. а я виновата, что не знала, как замок открыть? там не дверь, а баррикада целая, скорую помощь не я ли вызывала? Когда? — спрашивают. — Он тогда вроде бы еще не умер, — говорю, а они говорят: это ты! ты!

ты! ты! — Нет! Любовь, отвечаю, была! Я сама, говорю, поседела, жуткое дело: на глазах кончился, если не сказать того хуже. А почему ссадины и кровоподтеки на теле? На каком еще теле? Не валяйте, говорят, дуру! Спасибо, отвечаю, не надо мне ничего показывать, и так уже поседела, а что до прихотей, так он, извините, так любил! понятно? нет?! — Понимают, но не верят, однако замечаю: на «вы» перешли. Нервничают. Я говорю: зовите Антона! Антон — свидетель, надеялась я, но не вышло, хотя все-таки отпустили, только вместо прямого ответа на мою шутку: КОГДА ПОЙДЕМ РАСПИСЫВАТЬСЯ? — предпочитал откупаться незначительными безделушками, и так длилось, я ждала, чтоб привыкнул, чтоб некуда было ему, голубчику, деться, не к Зинаиде же Васильевне! а Зинаиду Васильевну, думаю, тоже желательно поставить в курс положения, потому что женщина она истерическая, но здесь не особенно правильно поразмыслила, Ксюша была не товарищ, то есть не то, чтобы она осуждала, она с интересом следила издали, я писала ей, она жаловалась на почерк, почерк мой, почему не знаю, ей не нравился, говорила: у тебя наклон слишком резкий, полегче! полегче! а что? нормальный почерк... Только не товарищ она была, потому что, должно

быть, не хотела, чтобы я — с дружкой ее папашки, а что делать, если он меня обожал, это, я им говорю, так и есть. Она никогда не верила, исключала такую возможность, а выходило по-моему, только Зинаида сорвалась: как узнала через третьи руки, сказала устало: да ебись он с кем хочет!.. Я думала: заверещит! А она: пожалуйста. Не ожидала от нее такой премудрости, опешила несколько, но думаю: погоди! И динаму кручу. Он терпит. Дедуля кричит: — На проводе! Смотрю: он звонит. Говорю: — Нету дома! — Когда будет? — Не будет! — а списочек у меня был особый, вписала для сведения моего Тихона Макаровича: — На некоего Владимира Сергеевича реагируй отрицательно, а он рад стараться, он бы на всех отрицательно, да шалишь, я тоже еще не мертвая, звонили, приходили в малиновых джинсах, шваль, конечно, а дедуля, он что? — он в другой комнате, как сурок, никогда после десяти не высывался, телевизор посмотрит и спать ложится, ну, конечно, потише, чем без него, а на лето и вовсе съезжал в свой курятник, выделили ему по Павелецкой, любил поковыряться в земле. Вдруг нагрянет с красной смородиной. Красной смородины не отведаешь? Хороша уродилась, витаминов не счесть! Я покорно благодарила. Я изучила всякие словеч-

ки благодарности, тут Ксюша из меня вытравила всю нечисть, прижав к своей несимметричной груди, как Офелию, а когда узнала, что зову его Леонардиком, громко хохотала!

Динаму кручу, а встречаюсь: веди в ресторан, или в филармонию, или в театр, культуры хочу! Он сразу скукожится, жметесь, я тебе, говорит, лучше машину куплю. Покупай! Нет, спасибо! Не надо! Я в театр хочу! Идем в театр. Официально была с ним на «вы», вплоть до самой кончины, соблюдала дистанцию, из уважения к профилю и за заслуги, а как Ксюша на помощь явилась: — Отчего, — первый вопрос в двери, — он умер? — Как отчего? — отвечаю не колеблясь: — От восторга!

Оговорюсь и сейчас, принимая в свидетели бабушку, чей портрет не продам, скорее удавлюсь в ванной, а ванная, разве это ванная! — С газовой горелкой, газоаппарат, насмешка над современностью, зато горячая вода есть всегда, оговорюсь и сейчас, ибо происходим мы из княжеского рода, хотя и заблудшего на дорогах, потерянного в обстоятельствах: — Мой Леонардик умер от восторга!

Положа руку на сердце, я его не убивала. Я только довела его до восторга. Дальше он сам себя довел... А то они тут слетелись на меня, вши лобковые, кровь пьют, озверели сов-

сем! Что я вам сделала? Что привязались?! Вы моего сломанного мизинца не стоите! Вон, посмотрите, у меня прабабушка — столбовая дворянка из Калинина! Вон портрет, писанный маслом! Совершенно шикарная женщина, бездна обаяния, декольте, надменный взор, драгоценности. Я все продам, пойду по миру побираться, но портрет не продам, хотя жить мне, скажу не таясь, больше не на что, а если икру ем, то тоже трофейную, запасы кончаются, икра да коньяк — вот и все, чем меня вы одаривали, да я не продалась, я динаму крутила, и любовничков, если на то пошло, было у меня не больше десяти! А прабабушку не продам! Это память. Ритуля говорит: мы похожи. Ритуля Ритулей, а я сама сравнивала: прикреплю портрет к трюмо, встану рядом, смотрю: сходство несомненное, и взор тоже надменный, не наш, и шеи похожие. Только у нее меньше беспокойства в лице...

И ты, Леонардик, хорош, нечего сказать! Видишь, как некрасиво получилось. А теперь пристают: отчего, мол, кровоподтеки?! А мне что отвечать? Почему я должна страдать за твои фантазии? С какой стати?! Я, конечно, рада сохранить в невинности твою репутацию, да только мне тоже не нравится, когда на меня орут! Я к такому обхождению не привыкла,

по-другому, не по-хамски воспитана, а что касается подарков, коль скоро интересуется, будто они объясняют цену нашей любви, то скажу: крохобор! все больше посулы, мне Аркаша, до близнецов, куда лучше подарки дарил, от семьи отрывая, и на что мне машина, когда я и так, на такси, куда надо поспею, но они в этих ссадинах вымогательство предполагали, а Зинаида Васильевна говорит: ничего знать не знаю, первый раз, что называется, слышу. Совсем завралась! Как не знать, ВСЕ знали, я на люди рвалась, а как что, крутила динаму, нет, мол, дома — и все! — и он не выдерживал, неделю от силы, а потом: — Иришенька, собирайся! Я билетики взял. — Привязался ко мне... Ну, я выряжусь так, что все ахают, а он: — Поскромнее бы ты, а то прямо как наклонишься, все видно! — Ну и что? Пусть смотрят, завидуют! — Не нравилось это ему, хотя старался ходить генералом и гоголем, встречались знакомые: — это, мол, Ира, — знакомил, хотя не любил, рад был уклониться, да я видная, все смотрели, платья такие Ксюша дарила, не на зарплату, конечно. Так год прошел, и второй наступил, и мне скучновато становилось, с места не двигалось, правда, он кое-как пытался разнообразить: то Зинаиду в санаторий на юг отправит, то еще куда-ни-

будь сошлет. Приглашает на дачу. Егор улыбается, радуясь за хозяина, но был тоже не прост, познакомившись ближе: оказалось, пьески сочиняет, а Владимир Сергеевич ему сто пятьдесят рублей платил, покровительствовал, а Егор нашептывал мне: — Это он на мне думает спастись, раз отогрел. — А жена его, прислуга худая, та очень портвейн любила, и была глуповата не в меру, потому что, объяснял Егор, он женился до срока, еще не поверив в себя, а Владимир Сергеевич, как подопьет, вызывает Егора и говорит: — Ты, Егор, смотри у меня! Не пиши чего не следует! — А Егор сразу юродивым прикидывается и начинает лебезить: — Что вы! что вы, Владимир Сергеевич! Век буду помнить, Владимир Сергеевич...

А как умер хозяин, встречаю, ораторствует: наблюдал, дескать, за нравами: был, доложу вам, полный подлец. Я, перед новыми друзьями, Егора осаживаю, мол, помолчи, неблагодарностью не размахивай, только вижу: для них Владимир Сергеевич не человек, а какая-то порча, значит, все можно, вали на него, но спорить не стала, себе на уме, а если по справедливости разобраться, то напрасно Егор выступал, так как у Леонардика был высокий полет, а что писал, так, значит, была в том необходимость. Он же, Егор, сравнения приводил: прославлял,

Русская красавица

мол, подвиги, когда люди сгорали живьем из-за кучки колхозной соломы, а сам бы пошел сгорать? Э, нет, говорю, люди разные: одни должны умирать, а другие песни о них слагать, кажется, понятно, и тогда Юрочка Федоров, что смотрел на меня с самого начала как на лазутчика из дачи Владимира Сергеевича, начинает сомневаться, не стукачка ли я, а я вообще людей люблю с непонятной душой, и когда так ставится вопрос, мне сразу скучно.

Он и Ксюшу мою разоблачал, будто не ходил за ней, как собака, досье собирал, всякие там истории, и вот как Ксюша вошла, улыбаясь всем вокруг, замыслил черное дело, устроил скандал, хотя, собственно, по какому праву? Ты, — закричал, — курва грязная! Стрелять таких надобно, грязных курв! — Ксюша улыбается, не понимая, но с интересом прислушивается, смеяться даже стала безо всякой истерики, я ее в истерике только после ласк видела: не выдерживала, бывало, визжит, попискивает, да вдруг как закричит! как забьется!! Ну, прямо судороги, руки к лицу приложишь: лежит, успокаивается, а после ничего уже не помнит, да и напоминать грешно, но поражалась я силе ее удовольствия, которая даже сильнее была ее интеллигентного организма, хотя и сама, бывало, кричала, а если не вовремя кто кончал, готова

была убить, а Ксюша — та просто до посинения, как барышня из Тургенева, так доходила! А тут стоит, улыбается, на Юрочку Федорова смотрит с улыбкой: — Бедный мальчик. Извелся!.. — А тот ругается, кровью налился, весь свет ненавидит и говорит, в свою очередь: — А где же сестра твоя родная, где Лена-Алена, почему ты про нее никогда не расскажешь? — Ксюша пожала плечами: зачем ее упоминать, ей и без того плохо, лежит себе на даче. И тут я сама вспоминаю, что у Ксюшиных родителей тоже есть дача, только она туда не навещается, вообще не бывает, иногда, когда родители позовут, съездит на часок и тотчас вернется, не заночует. И мне она про Лену-Алену никогда не говорила, я тоже прислушалась, вдруг что приключилось? Неужели? От Ксюши всякое жди, но чтоб криминал? А Юра Федоров — мой будущий сопровождающий, хотя я возражала, да без толку: Мерзляков отказался, побоявшись, а остальные друзья, что постарше, сомневались в моей затее, даже обидно было смотреть, а я в себя верила, как в Жанну д'Арк!

Нет, говорит Юра Федоров, ты нам расскажи, курва грязная, почему твоя сестра всю жизнь на даче томится, с бабками, приживалками, почему за ней горшки с калом выносят зимой и летом? — Я смотрю, Ксюша задумалась,

ничего не отвечает, ну, думаю, полный скандал, а была всегда Ксюша гордая, чуть не то, сразу вспыхнет, презирала все, а тут молчит, а компания пьяная, Юрка тоже, а как пьян, бывал грубоват и тоже вспыхивал, хотя я с ним, признаться, ни разу, — не нравился: все у него теории, разоблачительные дела, я, говорит, однолюб, а как выпьет, совсем гадом становится, все знали и все равно приглашали, да и я, бывало, позову: наперед знаю, будет губы кривить и фыркать и ученость свою демонстрировать, но так сложилось, куда он придет, вроде некоторое событие, хотя, что он делал и как, понятия не имела да и не хотела: ну, широко известный в узких кругах — и ладно! — а как стали интересоваться, посреди прочего, Юриной персоной, отвечала: — А черт его знает! Но что психопат — это точно... — И были довольны ответом, да я искренне, потому что нельзя обижать мою Ксюшу, но все-таки интересно, по-человечески, было узнать, чем Ксюша моя провинилась. Ладно, — говорит Ксюша, обводя глазами компанию, а еще была она тогда не французенка, в людях хорошо разбиралась. — Ладно, говорит она, я скажу: есть у меня сестра парализованная, всю жизнь в койке лежит, отсюда и горшки, и приживалки, и умственная отсталость. Лежит и повизгивает, отсюда и пролежни, и прочие беспо-

койства: лучше бы умерла, да никак, понимаете, не умирает... — Ты нас, отвечает за всех Юра Федоров, на понимание не возьмешь, здесь люди грамотные, жизнь видят, а компания как компания — кто зашел, кто вышел, и дело у меня происходит: без дедули, он в земле ковыряется, в общем, лето, и мы с Ксюшей вдвоем, идиллия. — Как жить так можно, когда рядом сестра в койке время проводит, за всю жизнь говорить не научилась? Как, скажи, можно от счастья до потолка прыгать, когда слезы катятся?.. Курва ты грязная! Ксюша все улыбается и говорит: — Я, говорит, может быть, за себя и за нее живу, коли ей, говорит, отпущено такое несчастье, лучше, говорит, один живой труп, чем два, лучше, говорит, равновесие, а не мрак крошечный, который и так все равно мрак. Да, говорит Юра, не ожидал я, по совести сказать, от тебя или, вернее, как раз ожидал! Встает и демонстративно выходит, я не задерживаю, а компания так, случайная, посидели, помолчали, а потом давай выпивать и закусывать. Через час, смотрю, Юрочка сам возвращается, с извинениями за вторжение в чужую тайну. А Ксюша уже пьяненькая, отвлеклась, с кем-то там присела, беседует. Полез он мириться — она помирилась, была незлопамятная, но когда разошлись и Юрочка стал задерживаться, ожидая подарка,

то он не ошибся, она к нему переметнулась, оставив не помню кого, да только неважно: взяла я актера, она — Юрочку, и была с ним как шелковая, слушалась и выполняла команды, или нет! я была с капитаном, интересный такой капитан, он мне тихо сказал, что скоро космонавтом станет. Мне, признаться, плевать, и мы принялись с ним трахаться, а Юрочка Ксюшу терзал до утра. А когда поутру разошлись, капитан мой да Юрочка, лютыми врагами между собой по непонятно какому поводу, разошлись в глубоком молчании, бросая кривые взгляды, то я говорю Ксюше: — Сестренка Алenuшка — это сказка, или на самом деле страдает? — Страдает, говорит, о стенку скребется, звуки странные издает, то ли мяукает, то ли смех ее разбирает, а то вдруг завоет, слушать не могу, уезжаю, а помереть — не помрет, мать совершенно с ума сходит, такое, мол, положение. Было мне интересно взглянуть на ее сестрицу, сравнить лицом, да и вообще интересное дело: одна скачет, а другая в постели скребется, возьми, говорю, меня как-нибудь на дачу, когда соберешься. — Обязательно, солнышко! Нет, мол, у меня от тебя тайн, а что про сестру Лену не говорила, пойми: тяжело мне все это, вот, улыбнулась, живу за двоих, а что грех веселиться, если рядом такое, то, может быть, верно, что грех...

Улыбнулась она, закурила, да так и не отвезла, то ли вышло нечаянно, то ли я не напонила, только Ксюша не отвезла меня семейный позор показывать, как горшки выносят и слезы льют круглосуточно. Была гордая. Зато Ритуля меня чрезвычайно огорчает, скажу откровенно, тревожит меня Маргарита — вдруг как выскользнет — вся без кожи, вся в прожилках и мускулах наружу, — на подоконник, чтобы дальше вниз по трубе соскользнуть, и я знаю: уйдет — не воротится, я схватила ее за ногу, чувствую — слизь. Нога слизистая. Вырывается, но в конце концов я с ней справилась, уцепилась, втянула назад, отчего и спасла, а могла ведь разбиться, дуреха! А делить мне с ней нечего, кроме любви, ты моя ненаглядная падчерица! Эх, Ритуля, могла и погибнуть... подружка! Но не прошло полминуты: звонок!

Я к телефону крадусь, вся в волнении, руки дрожат, будто кур воровала, звонит звонок в мертвой квартире, кто-то звонит по мою душу, стою в нерешительности, боюсь отозваться, но любопытство пересиливает, беру трубку: молчу, вслушиваюсь, пусть первым отзовется, и чувствую: он, хотя почему, собственно, по телефону? но так подумала и молчу. Слышу, однако, Ритулин голосок, вздыхаю свободнее, я, говорит, заеду к тебе, дело есть, — голос ласковый, словно

Русская красавица

обида позади. — Ну, конечно, — обрадовалась я. — Конечно, моя любовь!

Кто поймет желания беременной женщины? Не селедочки захотелось вдруг, не огурчиков маринованных, а желания вовсе не благодные снизошли на меня: то ли трюмо на меня действовало, рождая старинные образы, то ли страх искал выхода?

Открыла буфет, бутылочка ополовиненная, коньяк, что пили с Дато, от давнишней размолвки осталось, налила стакан и села, согревшись от выпитого, всеми брошенная на старости лет, закусила вечерним звоном с орешком, но еще живая и теплая, на себя гляжу: кожа белая, незагорелая, мне б на юг, поскакать на коне, выдавали по страшному благу, а Володечка, что с иноземцами занимался счастливой торговлей, только он не фарца, а на благо отчизны, он достал скакуна, я любительница, все обеспечил, маловат только ростом, но в Тунис зазывал и походкой моей восторгался, а потом уехал, ну, да я и так облечу весь свет, стюардессой или так себе, по рецепту врача, загляну в Фонтенбло, в гости к Ксюше: — Здравствуй, Ксюша! — Она обрадуется, сядем за стол с ее стоматологом, разберемся, в чем там дело, затем — в Америку, к спасительницам: пять белых, одна — шоко-

Виктор Ерофеев

ладная, и встретимся в роскошном отеле на крыше, открытой ветрам, соболя все да норки, а я в своей облезлой лисе, а под ней пустота и отсутствие меня, потому что, скажу, я, подружки, пьяна, уложите, не трогайте, а не то блевать буду, простите... а потому что, простите... напилась... я еще нашла!.. напилась ликера... и объявляю всем... слушайте!

Я рожу вам такое чудовище, что оно отмстит за меня, как Гитлер или еще кто-нибудь, они тоже из тех были, я знаю, только бабы молчали, чтобы их не сожгли, я поняла! Я не первая, мне так голос говорит, он мне подсказывает: я не первая не последняя, а для мщения вы из меня половую тряпку не делайте! Я страдать за вас не хочу сами страдайте и вы со всякими там идеями страдайте и вы жополизы и ты мой родимый народ, но дело не в этом вот наш закон мы с Ксюшей закон выдумали и сказала Ксюша такого закона еще не выдумывало человечество и назвали мы его законом Мочульской — Таракановой это очень важный закон он всех объединяет я вам потом скажу вы понимаете что я говорю, а рожать я рожу ждите с радостью будет вам вот такой подарок от любви к вам ко всем вот такой только я пошла спать... баиньки... называю своих врагов... запоминайте... вы меня поняли?... ну всё... академики...

И стало чисто в природе, как будто надела она белые кружевные трусы.

По первому снегу возвращалась от Станислава Альбертовича. Встретил как родную, не приставал, чувствуя ответственность момента, был строгий, только ручку поцеловал, был деловой, как и я. Остался доволен. Решили рожать. Обещал поддержку. В конце концов, давно мечтала иметь ребеночка. Буду его нянчить. У него будут такие маленькие ножки и ручки. Буду стричь ему ногти. Чувствую: просыпается материнство. Сердился, что от меня несет перегаром. Дала слово не пить, потому что вообще не люблю, не в моих правилах, а напилась случайно и что до сих пор написала — отменяю как полный вздор! **ВЕСЬ ЭТОТ ВЗДОР ОТМЕНЯЮ И ПЕРЕЧЕРКИВАЮ!!!**

Предыдущее не читать!

Однако пришла и все-таки выпила, потому что решение важное, с Ритулей не делюсь, но Ритуля вчера, раздевая меня, удивлялась округлости и разбитому трюмо, но мне сделалось плохо, не успела ответить, а утром, когда снова спросила, ответила уклончиво, но она подозрительная, что да как, и я принялась ее щекотать — она отвлеклась и захохотала, а когда пришла в себя, было поздно, хотя шила, конечно, не утаишь. Нотабене: В недалеком времени обещают быть подземные толчки, если он там живой, а не мертвенький...

Стану матерью-одиночкой и буду пристально следить, а если что, откроюсь науке — чем черт не шутит! — вот и рожу, коли мне другое не светит, пить же бросаю категорически и пьянство презираю до дна, однако свое решение не рассматриваю как капитуляцию перед Леонардиком, который по-прежнему для меня предатель и некрасиво поступивший мужчина, потому как, если обещал выполнить договор, — выполняй! а бросать слова на ветер такому уважаемому человеку, под некрологом которого был черный лес подписей, а я вырвала газету у дедули и заперлась, села в теплую воду, реву и читаю.

Русская красавица

Я его еще больше полюбила за его некролог, напечатанный во всех газетах, по телевизору тоже объявили пасмурным голосом, а подпи-сей! подписей! Я просто обалдела.

Я и раньше знала, Леонардик, что ты знаменит, что при жизни живая легенда, а как прочла, поняла, что потеряли мы великого человека, куда только ни приложившего свой талант, в какую только сферу, с детства знала имя твое, а когда новые друзья, во главе с Егором, лакейским Иудой, как барин умер, пошли продавать тебя, мол, говно, но ты не говно, ты в историю вошел, с кем только не фотографировался, и даже со мной, в школе проходили, меня даже из-за тебя после уроков оставили, чтобы учить, когда все побежали купаться на пруд, чтобы успеть до грозы, где в начале XX века утонула дочка помещика Глухова, барышня двадцати двух лет, и с тех пор, как рассказывали очевидцы, в нем никто не купался из суеверия, а на месте усадьбы сохранилась пустая плешь, старательно обсаженная вековыми вязами, зато в самом городе осталось от Глухова трехэтажное здание в затейливом стиле и с плавными очертаниями — в нем теперь наша школа, в которой училась.

Пройдет время. Твоя дача превратится в мемориальный музей, и зашмыгают посетите-

ли в войлочных тапочках, заложив руки за спину, проносясь по паркетам, как по льду, у всех на глазах обособят шелковым шнурком кровать из карельской березы, где мы с тобой оживляли увядшего Лазаря. Задача была не простая, но ты знаешь: твоя Ирочка с нею справлялась, потому что, если слово дала, не отказывалась, а ты от кого не хотел уходить, даже не понимаю: сам признавался — старая каракатица... А я тебе, знаешь, какой бы была женой! О, ты был бы у меня как за пазухой: до сих пор бы не умер, я бы сразу разобралась, кто твой враг и кто тайный недоброжелатель, вроде Егора, которого ты приютил, а он тебя с ног до головы обосрал, чтобы на этом дешевый капитал заработать, да еще обещал про тебя написать, что будет уже совсем клеветой, я ему так и сказала: — Егор! Не успел остыть твой барин, как ты клеветешь... Побойся Бога, Егор! А он божится и говорит, что верующий. Таких верующих надо расстреливать! Вот что я вам скажу, и если кто удосужится прочесть Егорову клевету, прошу не верить, потому что все это неправда. Владимир Сергеевич был человек разносторонний, о чем некролог лучше меня написал, а некролог каждый может прочесть в газетах, даже в сельскохозяйственной, я вырезала.

Сидела в ванне и плакала, слезы так и текли, несмотря на издевательство, которое незамедля перед тем испытала, как последняя мученица. Вероника не зря напороочила: Ксюше — радость, а ты, Ира, на муку обречена! Однако, сидя в ванне, я не только плохое вспомнила, не только твои ухищрения, не только обман и конечный отказ, а я прикинулась, будто на отказ согласилась, вернее, не то, чтобы согласилась, а то, что жить без тебя не могу в любом, даже самом заштатном качестве, хотя аргументы, которые ты выставлял, звучали, как детский лепет, и если ты боялся рогов, то Господи! ради жизни с тобой я бы всех их послала подальше, а если, например, Ксюша, то это не считается, это совсем другое, это все равно как сама с собой, только гораздо лучше, потому что я знаю: однажды на теннисном корте, в момент ее сильной подачи, ты вдруг обнаружил, что она выросла — и пропустил мяч, приведя в некоторое смущение ее папá, несмотря на всю дружбу, и Ксюша сказала: — Ну, хорошо. Если не хочешь, я больше не буду туда ездить... Я не только плохое вспоминала, были счастливые деньки, когда ты выступал генералом и гоголем, гордясь своими достижениями, своими фантазиями, которые редко встречались в людях твоего поколения,

как сам говорил, да ты и, верно, был уникальный, а если жмот, так кто без слабостей?

Между тем, со своей стороны, я тебя не обманывала, а что одевалась красиво, это еще не грех, но ты все равно сомневался, чем напоминал других, совсем уже не великих, хотя были среди них и достойные люди, тот же Карлос, латиноамериканский посол, гораздо тебя пощеднее, притом иностранец, и я бы за него давно вышла, если бы имела желание, потому что он бредил мною и проносился под моими окнами на мерседесе и даже — ой! скрипнула дверь!.. вот испугалась... нет, я правду говорю: ты напрасно ревновал и сомневался!

Только поздно теперь. Нельзя было зря целоваться в тот первый вечер и подавать надежду, потому что, хотя ты во мне и не вызывал отвращения своей старостью и беспомощностью, потому что я понимала сама, на что иду, и потом — орел несомненный, однако, как рука упала на грудь, я, по совести сказать, немного вся сжалась, ощущаю все-таки разницу в возрасте, как будто с дедулей, но нет, это для меня пустое, я в тебе человека различила и очень мне нравился твой полет, я не брезговала, я ради тебя на все была с самого начала готовая и ласковая, ты ожил от этого, а ты вместо благодарности вдруг испугался за свою ре-

путацию, хотя великие люди на старости лет рубили дрова и шли напролом. Репутация! Репутация! Да кто бы посмел тронуть твою репутацию! Кому ты нужен?!

Вот это меня и выводило из равновесия, толкало на мрачные мысли искать утешения на руках, например, у Дато, который мог играть на рояле только для меня, хотя на гастролях играл перед многотысячной аудиторией и показывал рецензии и программки, где писалось о нем как о новом феномене, а ты на семью оглядывался и юлил, но я не только плохое вспоминала, и Ксюша свидетель: когда она приехала после твоей смерти, я была безутешна, не только потому, что меня довели эти сволочи, это само собой, а еще и потому, что тебя не доставало, чтобы меня защитить. Но я не только вспоминала плохое: я помню счастливые деньки, когда мы ездили на дачу, обедали, пили сухое вино, ты слушал меня, мои мысли, которые я вслух говорила, да и твои фантазии меня тоже начали увлекать, но когда прошел год и стал кончаться второй, мне уже порядком поднадоело, потому что время бежало и молва росла, что я вроде как к тебе приписана. Дато тоже пронюхал неладное, да я рассмеялась в ответ: мол, чистая дружба! Дато я заверила: просто через Ксюшу имею удовольствие

знать, а Дато, между прочим, до сих пор с почетом, хотя все как-то сникло вокруг тебя после смерти и редко произносится всуе имя твое, отчего торжествуют враги, а я плачу.

Только я не только плохое помнила, Леонардик! Я была в тебя влюблена, правду говорю, и правду потом написали, хотя и туманно так, чтобы никто не догадался, хотя и сказали Ивановичи, что надобно было так написать, чтобы и никто ничего не понял, но чтобы написано было как документ. И взвилась тогда Зинаида Васильевна, пуще пареной репы взвилась, обездоленная статьей под названием ЛЮБОВЬ! А не будет глумиться надо мной! Я торжествовала. Не скрою. Но все равно шла ко дну, и гудел газоаппарат, и дедуля, старый стахановец, вспоминал про тебя как про гения и про героя. А я хорошо узнала слабости этого гения с сокровенной фиговинкой, которой не только игралась, но даже примеряла с его разрешения, накалывала на маечку и в таком виде являлась в объятия, и он хохотал и чувствовал прилив новых сил, потому что всегда нужно было выдумывать ему необычное, или между коленок зажму: ищи, мой любимый! Иль брить меня, дело к лету, собирался: намыливал кисточку и, надев очки, важно наморщив лоб, брил, как цирюльник

или как нянька, только более обстоятельно, потому что няньки жестоко скребут, тупым лезвием, и при этом остервенело кричат: — Ну, целки, кто следующая?! — и я сама их спешила опередить, залюбовавшись в трюмо, где среди трофейных духов выступала я маленькой девочкой, и бюстгальтеры не носила, за что Полина Никаноровна зуб точила, лишь повод подай! Да спасибо Харитонычу, уберегал, а я ему ни слова про Леонардика, хотя обожал он рассказы: Расскажи да Расскажи, все выпрашивал. Но Леонардику я предстала совершенно с другой стороны, хотя он задним числом придумал приревновать меня даже к Антончику, только я не далась, перешла в наступление, а на предложение Ритули, приехавшей ко мне со вчерашним предложением, отвечаю, что нужно подумать, поскольку деньги давно на исходе. Пример моей несравненной Ксюши встает перед глазами, но она-то не ради, конечно, копейки! она из богатых, семейство Мочульских известно, и папá ее дружил, между прочим, с Владимиром Сергеевичем, прогуливались под соснами и в шахматы садились после обеда, зевая и напевая куплеты, чтобы думалось лучше, — а для большего кайфа, и она получала его (были случаи), ненароком выходя на Манежную площадь, со

своим спаниелем ушастым, я даже не верила, но она приглашала для смеха, да я не решалась. А почему? В другие истории охотно вмешивалась, и будет что вспомнить нам с Ксюшей, двум шелковым бабушкам, но не то, чтобы стеснялась, как-то казалось мне не солидно, да Ксюша не настаивала: не хочешь — как хочешь, пойду со спаниелем, а Вероника — та просто мужчин не терпела из принципа, за людей не считала как существа неэстетические, ей, видите ли, не нравилось, что у них там, положим, болтаются яйца — фи! гадость! Мы спорили. Но с ней не поспоришь, когда же сердилась, она, словно шутя, говорила: — Лобок твой, Ириша, сильнее, чем лобик — что было обидно, но ведьма есть ведьма!

И когда Ксюша кружилась близ обожаемой мною архитектуры, среди бесконечных тюльпанов, я признала свое поражение: так не могла! боясь то Полины моей Никаноровны, то просто обычного милиционера, который зорко глядел мне под ноги и ждал, когда поскользнусь, чтобы поглумиться над длинноногой, — всегда в ожидании высылки туда, где футболист все играет, а время стоит, несмотря на измену со встречным соперником, в голубой нейлоновой куртке-обновке, она так мне нравилась! хотелось потрогать, из-за чего вы-

шел бешеный провинциальный роман, когда в вечернюю стужу набросил мне куртку на плечи, внизу текла наша мелкая коричневая речка и дети бродили по ней, ловя сеткой раков, спускалось солнце, когда второй муж в больничку попал со временной травмой того, чем меня раздражил на всю жизнь и себе на беду, была зверски бита велосипедным насосом, а что первый муж совершенно выпал, то здесь тоже доза несправедливости: не приюти он Ирочку, схоронив от ее родителей, что случилось бы с девочкой и увидела бы когда-нибудь Ксюшу — вопрос, хотя Леонардик обществом баловал мало, и во мне накопилась обида: чем хуже я Зинаиды, которую он прогуливает по фойе и банкетам с брильянтами в старых ушах, уж разве не поняли бы его — ему во всем шли навстречу! — а он весь лучился, и только мне разрешалось шутить, а если пошли там потом кровоподтеки и ссадины на теле, то он и это придумал под моим руководством, я чувствовала нюхом и кожей такую его предпоследнюю блажь, и Лазарь восстал!

Мы бросились опрометью в объятия, спешили отпраздновать торжество, я пальчик поспешила и помогла, чтоб не мучился, вот он и кончил и, кончив, сказал, потирая просветленное лицо: — Ну, гений любви! Ну, богиня!

А я лежу себе навзничь, как будто ни в чем не бывало, и он трогательно печется о моем удовольствии, как, может, никто из его сурового поколения, пройдя через славу и смерть, был он жертва масштабов, и когда все завершилось, хотелось ему воспеть хоть солом, пусть даже сомнительный случай или вовсе чужой континент вроде пышущей Африки, потому что творческая душа у него была увеличена, как печенка, и титки тоже большие любил (как все они, из сурового поколения). А я сидела в ванне и плакала, вспоминая так много хорошего! Заботился с воодушевлением, самозабвенно, и я притворялась: дышала, дышала, стонала, но горечь накапливалась, и не нужно мне было никакой машины, которую если и подарил, сразу разбила, как куриное яйцо! Я не машину, я счастья хотела, а что с Харитонычем дружбу водила, так все потому, что замыслила танцевать королев, вернее, не то чтобы танцевать, а прохаживаться, но закрадывалась порой поважнее мечта, оцененная Ксюшей: перейти через яму оркестра — в зал шагнуть королевой! то есть всех осыпать своей милостью, щедростью, добротой, я бы смогла, повторяя лихую предшественницу, только если кутеж, так кутеж, а когда благородная цель, то цветы, моя родина!

я патриотка! — Ксюша млела, она обожала растительность сна, говорила: — Я верю! Я верю! — И подумала я: от Леонардика путь шел такой, мне он нужен был для парения, и, чуть что, крутила динаму, и фыркала, и убегала. Да рухнуло все, потому что не широка оказалась натура моего кавалера, он был занят срочностью муравьиных дел и профиль носил. Я его наизусть изучила, но мечта пересиливала: мы идем с ним по лестнице вверх, белый мрамор, и лица лучших людей, и венчает нас сладкий поп Венедикт, и желает нам счастья, а родине — процветания, и я тоже! я тоже хочу, чтобы скромное счастье свое подарить делу общей гармонии, только народные песни и пляски предполагала несколько сократить, потому что занудство, зато пошло бы такое благополучие, что лучшие люди единой толпой маршировали бы с факелами по праздничным площадям столицы, а я — сама скромность — стою в окружении преданных мне заместительниц, смотрю и ликую с бесстыдницей Ксюшей, которой любое море по пипку ее незабвенную, которую обожаю! с ума схожу! нет больше таких! умираю и плачу... Да, радость моя была безмерна, бывало, со сна слезы лью, восхищаюсь и снова рыдаю, такие видения! да только робел Леонардик, мой па-

инька, руки протягивал, а про договор ни гугу, а я ему говорила: осторожней! сердечко будет шалить! — а он мне в ответ: ты меня за старика не держи! Мы еще повоюем!

Я это запомнила, но время, однако, сгушалось, обман поднимался, и меркли мечты, да только шлет он мне вскорости приглашение, которое тут же потребовала достать, проведав, что английский оркестр приезжает и объявлен там Бриттен. Ну, Бриттен — не Бриттен, событие важное, хочу! Он в очередной раз впадает в сомнение, ссылается на нерешительность, мол, много знакомых, превратно поймут, и слух разнесется: ты лучше б с дедулей! С дедулей! Ха-ха! Нет, думаю, хватит ловить оскорбления в лицо, золотая я рыбка или нет? — Золотая! — отвечает. — Золотая моя! ненаглядная! только не надо! — Да что, думаю, уперся мой лауреат! Нет, думаю, не пойдешь со мною на Бриттена, стану безжалостной. Он сдался, предчувствуя полный провал, была я неумолима, а он без меня жить совсем разучился. Бодрится: ну, ладно, пошли! Оделась. Мое платье, как пламя, надела и — на крыльцо, стою, как самая неприступность, мы едем, он в страхе от платья, бормочет слова, репутация, мол, репутация, мне, знаешь, нельзя, за мной слава ве-

дется мужчины серьезного, воспевающего подвиг и труд, а ты вся в нарядах и грудь без прикрытия, хоть бы, мол, шарфик какой-нибудь, а я говорю: ну, скажи мне на милость, чего ты боишься! Ты всех их сильнее, и они робеют, а ты их боишься, да я хоть вообще без одежды войду, но если с тобой, то нам честь отдадут и пропустят в любое посольство! Нет-нет, говорит, только не туда! Был барин, а все-таки опасался, такое было воспитание, теперь по одному вымирают, выходят на пенсию, все было доступно, но только без шума, в сервант убирали коньяк от непрошеного гостя и ездили за занавесочками, выказывая ограниченность чувств, и Ксюшу, когда студенткой была, папа ее, тоже деятель, наставлял, говоря: — Ебись — только тихо!

Такая, значит, была установка. Не нравилось мне, но выбор какой?

Подъезжаем к подъезду. Сияют огни, словно сон мой ожил, и входим: весь зрительный зал ожидает английский оркестр, по бокам флаги, волнение, красота, занимаем места в директорской ложе, мой милый галантен, кивает вокруг головой на приветствия, вижу: интерес пробудился, взгляды ловлю и подбородок держу, не опуская, как леди, английский оркестр настраивается, будут иг-

рать, дирижер вдруг входит японского вида и внешности, все бурно его принимают и — начали! Прикрыла глаза. Божественно! — общаю ему, наклоняясь, — какое блаженство! — Я рад! — отвечает, но несколько, чувствую, сухо. Напрягся — никак не расслабится, тоскует, торопит конец, вздыхает украдкой: ему бы на дачу, за забор, там он себе хозяин, а здесь вот японец без палочки. Думаю: палочками они рис кушают, поэтому оркестром управляет без палочки, шепчу это — он улавливает шутку, но тихо шикают соседи, а как перерыв, отведи, мол, в буфет, есть мороженое, а он: посидим лучше здесь, я за день устал, нету сил, и музыка меня отвлекает от суеты буфета, а я говорю: ну, пожалуйста, пойдем! Он нервно: иди сама, и так все глазелю! — Да ну тебя! — Я повернулась и ушла, он с радостью дал четвертной, чтоб ушла. Я ушла как оплеванная. Стою в очереди, страшнее тучи, вокруг народ делится мнениями, высоко ставя японца, я тоже согласна, да только молчу, в этой очереди чужая и лишняя, наконец, до меня дело доходит, я говорю: откупорьте бутылку шампанского и взвесьте, пожалуйста, пять кило апельсинов! Они мне в ответ: шампанское вам откупорим, а апельсинов так много не выдадим,

поскольку не на базаре, и чувствую — унижают меня. Народ смеется, отовариваться пришла на английский концерт, как будто в каком-нибудь фельетоне, да только другую имею мысль, плевала на апельсины. — Вы меня не так поняли, — говорю. — Мне надо не для себя, я в директорскую ложу несую. — Подумали, посовещались и отпустили. Тут Ксюша меня, хохоча, имела привычку перебить, зачем, дескать, столько купила? — От злобы, отвечаю, от чистой и неприкрытой злобы. Дай, думаю, войду в директорскую ложу с пятью кило апельсинов, как последняя жлобка, если он настолько ничтожен в своем страхе за репутацию, пусть охнет, а шампанское — беру стакан, как положено, и выпиваю к третьему звонку всю бутылку на глазах у изумленной публики, закусывающей бутербродами с пивом и обсуждающей между собой достоинства паршивого японца. А как выпила к третьему звонку всю бутылку, ни капельки не оставив, возвращаюсь в директорскую ложу, наполненную почтенной, но мне лично незнакомой публикой, хотя, замечая, знакомой моему трусливому кавалеру, вваливаюсь в ложу с пятью килограммами цитрусовых плодов и произвожу, разумеется, обещанный эффект. Владимир Сергеевич меняется

лицом и шепчет мне в неистовстве: — В своем ли ты уме, Ирина? — Отвечаю: — в своем, — и дышу на него шампанским. — Зачем тебе, говорит, эта куча апельсинов? — Люблю, — отвечаю, — апельсины. Не замечал разве? — Он посмотрел на меня и говорит в некотором недоумении: — Ты что, выпила? — А что, нельзя? — Можно, — говорит, — но поедem лучше домой, нечего нам тут делать. — Говорит внешне спокойно, умел он себя в руках держать, не срываться, хорошая, отмечаю, школа, но внутри, смотрю, полная растерянность, вроде желе, даже чуточку жалко мне его стало, да я уперлась: — Нет! — говорю громким голосом. — Хочу, наконец, Бриттена услышать, да ты, говорю, лапуля, не волнуйся, все будет в полном порядке! — Он побледнел и так выразительно на меня глянул, что я поняла: КОНЕЦ, и Бриттен будет нам погребальной мелодией, отпевать сейчас будут нашу любовь, такое у меня чувство, хотя несколько выпила и разругманилась на славу. Леонардик тоже молчит, бледный, но весьма благородный старик, если со стороны взглянуть. А я с апельсинами. Сижy, дирижер снова входит, бурный восторг, я тоже, естественно, аплодирую, а собственно, в чем дело? Пропала моя любовь, конец мечтам, и не бу-

ду я никогда своей предшественницей, и как только они заиграли, стало мне на душе и во все нехорошо, ветер старости подул мне в уши, шампанское разобрало, захотелось заплакать от всего этого минора и пакости, от всех этих женатых мужчин, что держали меня за дурочку, не справляясь о потребностях души, а только нюхали бергамотовый воздух, нюхали и балдели, и пичкали икоркой, икоркой, икоркой, прельщали анфиладой квартир и машин, а сами дарили духи, духи, духи и на часы украдкой посматривали, и хвастались, хвастались, хвастались, кто чем, без разбора: кто славой, кто деньгами, кто талантами, кто тем, что он всем недоволен и потому с ним тоже изволь считаться и уважай, раз такой двойной счет открыт, как шутила насмешница Ксюша, презиравшая эту компанию и в несуществующем городе Париже, потому что он не существует, и Ксюша, садясь в розовое авто, проваливалась в пустоту, и здесь, на твердой, родимой почве, потому как, считала она, всякая карьера полна приключений, зигзагов и подлости, одни стоят других, ненавидела, но жить не могла без: возвращалась, чтобы смеяться, и уезжала, и возвращалась, а я сиди да помалкивай! а Ксюша на это: — Поехали вместе! —

Да только у меня, извини, роман. — С кем? С Антошкой? Так выбрось из головы! Не-серьезно! — Нет! — отвечаю. — Выше бери! С Владимиром Сергеевичем, твоим крестником и лауреатом! — Не поздравляю, — хмурится Ксюша. — Отчего? Человек-то он видный. Не обидит. — Так думала я, а смотрю: сидит бледный, готов растерзать, отплатиться и больше не звонить, несмотря на то, что привязан и трудно, вздыхает, ему без меня. Только я тоже выступаю с позиции силы, извини, говорю, а как наш договор? — А апельсины? — спрашивает гневно. — При чем тут апельсины! Так спорили мы в роковое свидание, но дело до этого еще не дошло: сижу на Бриттене, очень нравится, я в восхищении, вся покраснелась, слушаю: очень! очень прекрасно! — но только сосед мой, Владимир Сергеевич, затаился и портит мне жизнь.

Потому что похожа была я всегда на застенчивую школьницу с толстыми косичками, не умела хамить людям, даже слабым и беззащитным, но не любила, когда со мной обращались, как с дешевкой, кормили и требовали красоты, потому что высоко себя чту и красота моя неподвластна, ибо только та женщина может меня судить, что красивее меня, а мужчины и вовсе судить не имеют

Русская красавица

права, а только восхищаться, а что до красоты, то красивее себя не встречала. Спросят: а Ксюша? — Вот разберемся. Ксюша, конечно, красотка, я ничего не скажу, недостатков у нее, положим, нет, а то так бывает: лицо красавицы, а спина вся в угрях, я видела много таких и сожалела, а Ксюша, бесспорно, красотка, только я красавица, я — гений чистой красоты, так меня все прозвали, и Владимир Сергеевич тоже говорил: — Ты — гений чистой красоты! — то есть без примесей, но красота твоя не бульварная, не площадная, красота твоя благородная, мочи нет оторваться! — Так говорил и Карлос-посол, и среднеазиат Шохрат, но когда я ему позвонила, спрашиваю: — Узнаешь ли меня, Шохрат? — отвечает он без всякого юмора и цокает в трубку языком. Я сразу все поняла: — Ну, до лучших времен, Шохратик! — а сама чуть не плачу. — До лучших времен! — отвечает Шохрат, большой в Средней Азии человек, мы с ним на самолете одну за другой республики облетели, форель кушали, и читал он мне Ахматову и Омара Хайяма, гордясь не бульварной моей красотой. — До лучших времен! — вторит Шохрат и цокает языком, как восточные люди, обманутые в самых искренних чувствах. А Флавицкий, Станислав Альберто-

вич, оказался, в конечном счете, другом: ну, зачем ему, спрашивается, чтобы я рожала? какой толк? — а он беспокоится, звонит, на консультации приглашает, и, когда Ритуля мне свое нетелефонное предложение передает, я к нему обращаюсь: не повредит ли? потому что опасалась, не будет ли это посягательством на жизнь нерожденного младенца, не пробьет ли ему череп разгулявшийся армянин? — Исключено! — отвечает мне доктор Флавицкий. — Исключено, только будьте, деточка, поосторожней, случай ведь уникальный, хотя раньше говорил: никогда не рожу, и я, довольная-предовольная, улыбалась ему в ответ, только по ночам огорчалась немного, да Ксюша тоже сказала: — Не хочу! — а стоматолог ее заставляет который уже год, а Ксюша крутится на сковородке и удивляется: — Ну, прямо как в Средней Азии! — И тут не выдерживает мое сердце, взрывается: выхватываю апельсин из авоськи и кидаю! — и пошла! пошла! — полетели оранжевые плоды в японского подлеца и его английскую братию, в скрипачей и виолончелистов, одетых во фраки — нате! вот вам! — и стала я ими швыряться, и набросился на меня побелевший уже окончательно мой знаменитый и героический кавалер, но оттолкнула его старые

мощи, так оттолкнула, что они отлетели не на шутку, и — дальше! по Бриттену, по его безобразной симфонии! пока музыка не смолкла, и воцарилась тут загробная тишина, и в ложу ворвались, как три толстые собаки, капельмейстерши, что программки за пазухой носят и налево торгуют. Я по ним апельсином вцепилась, и сделалось мне смешно, а в зале тишина и почтенная публика, а в ложе от меня все отшатнулись, а я с капельмейстершами завязала потасовку, не рвите! кричу, своими грязными руками мое платье! как смеете! И бьюсь в директорском ложе, как красная тряпка, и японец с интересом обернулся в мою сторону, и все англичане за ним, да тут вбежали к нам в ложу еще какие-то сильные и отчаянные мужчины, простирают руки ко мне, чтобы я прекратила, однако на глазах англичан не желают насильничать, скорее даже на мировую, манят, пока не выйду, не зря же перед началом гимны играли, а я думаю: пропадай все пропадом, буду драться! Но они все-таки обходятся по-джентльменски, видят, я с самим Владимиром Сергеевичем рядом сижу, думают: а вдруг так положено? приказ поступил обкидать апельсинами английскую музыку? — так Ксюша рассуждала, выслушивая историю и очень довольная замешательст-

вом. — Вот видишь, сказала она, ты, солнышко, смелее меня оказалась! Я бы так не рискнула — по англичанам. Красиво!

Стоит ли, однако, добавлять, что Юра Федоров, прослышав про это, прекратил со мной знакомство на основании обиды за культуру, потому что решил, что это культурный терроризм и невежество, идущее от корней души, а я вам на это возражу: гоните его подальше! И вот, представьте себе, встречаю я этого Юру в компании моих новых друзей, и он начинает меня порочить, хотя на мне уже к тому времени лежит отблеск всеобщей известности, а на нем? — Ты кто? — говорю я ему. — Ты, мразь, кто такой? — И тогда ему стало совестно, потому что последнее слово осталось за мной как за мученицей за идею, но в этот момент Владимир Сергеевич увидел, что мне руки выворачивают и поступают невежливо — волокут в коридор, а там тоже толпа, готовая увидеть и растерзать, иные во фраках, но звери зверями! Вот тогда Владимир Сергеевич как мой кавалер говорит собравшейся администрации: — Расступись! — И все, надо сразу заметить, начинают расступаться, а Зинаида Васильевна утверждает, что она, видите ли, обо мне не знала! Все знали, а она не знала! Да ведь этот эпизод стал доступен любому человеку,

Русская красавица

никогда не надевавшего фрак, а Владимир Сергеевич, мой Леонардик, взмахнул своей небольшой ручкой и говорит: — Расступись!

Они расступились, несмотря на милицию и ажиотаж в дверях, я хотела было взять с собой апельсины, но кулек из рук вырвали, и они покатались, и их тут же стали давить неуклюжие ноги многих мужчин, и Владимир Сергеевич грубо схватил меня за запястье и — на лестницу, откуда тоже свешивались разные любопытные люди, а в зале молчала музыка, и он сказал администратору, пожелавшему осудить его за спутницу: — Вы бы лучше концерт продолжали! — И администратор, догадавшись, что Владимир Сергеевич прав, побежал успокаивать японца, и японец быстро успокоился, во всяком случае, Бриттен опять витал над сводами, когда мы выходили через служебный вход, Бриттен был восстановлен, а у меня от шума голова разболелась, и я едва видела, так разболелась голова!

Мы медленно катимся. Мы подолгу молчим.
Мы — катафалк.

Ну, думаю, убьет. Имеет право.

Он держит на отдалении белый профиль, переживает. Что, своего добила? — Нет! — отвечаю, боюсь его гнева и в восхищении, все-таки спаситель, а мог бы на растерзание, однако, вот едем. А дальше? — спрашивает Ксюша. — Что дальше? А дальше он говорит: ты, надеюсь, понимаешь, что это конец, что это, говорит, окончательно, а сам везет меня дальше, не выбрасывая на улицу. Молчу, слушаю, мигрень, апельсины в глазах пролетают, японца взгляд удивительный, косится на мое выступление, пораженный нравами иностранной державы, или почуял чего недоброе, защемление прав, но Бриттен снова витает над сводами, и все права мои при мне. Ты по-

нимаешь, говорит, что это конец нашему договору! Я рот открыла. Ого!

Ну, думаю, ловок! Ну, бестия! Не ожидала. Ни Ксюша, ни я. Тонкий мыслитель, отслоил одно от другого, а я, значит, у разбитого корыта, и пальцем тыкаю в пыльное трюмо: конец договору! Но всему остальному начало! Перехожу в иное качество, лишаюсь положения золотой рыбки, а становлюсь, выходит, дешевой. Я рот разеваю: дивлюсь благородству и профилю, едем дальше, а он даже рад, будто камень свалился, и Зинаида Васильевна очень ликует, прослышав про весть. Ликуй, мародерка, ликуй! Только позже всплакнешь, как за гробом великого человека пойдешь не хоженной раньше дорожкой, и на холодной даче сцепишься из-за дележа с Антончиком, который мчится, мчится на похороны не то из Осло, не то из Мадрида, потому что пристроился мальчик, поклонник мой липовый, да я и сразу поняла: вшивота. А перед Владимиром Сергеевичем преклоняюсь — великий муж! Но расстроилась, узрев облегчение на бледном лице. Выкрутился! Недорого купил, и довозит меня домой, руки пахнут автомобильной кожей, где дедуля, скоротав вечерок с телевизором, спит сном праведного стахановца и вернейшего ветерана, спит и в ус не

дует, что его любимую внучку выбрасывают на панель, у самого дома, и напоследок желают доброй ночи! Ну, что же, отревела свое, отсуе- тилась, вхожу домой, апельсины по комнате катятся мне под ноги, люди во фраках жести- кулируют и с пеной у рта кричат дурным голо- сом, а дирижер-японец дирижерскими палоч- ками ест холодный, свалывшийся рис, да не рис, а рисовую кашу, как будто вчера кончи- лась война, лежит в постели, косоглазый, смо- трит хитро, и катятся под ноги апельсины, а Тимофей крутится между колен и нюхает юб- ку, почуя родственную душу, а я говорю Веро- нике: — Не плачь обо мне! Не плачь! — И она зарыдала, она зарыдала, хотя была ведьма и стерва, и себе на уме, потому что мужчин до себя не допускала, и только Тимофей был в фаворе, и говорит Тимофей: — Да ладно... Чего уж там... — Родственная все-таки душа, и крутится возле, нюхнул в юбку, смотрю: за- балдел! — Ну, говорю Веронике, кайфовщик он у тебя! — Потрепала за ухом, взлохматила, а Тимофей скалит зубы, смеется. Только я к ней неспроста — посоветоваться пришла, чтобы благословила, и сказала она слабым го- лосом: — Отчего не попробовать?.. Но Тимо- фея ты, Ира, не трожь... — А Ксюша? — выпы- тываю. — А Ксюша? — Молчит. Перерыв

в разговоре, так и не выпытала, она не выдаст, и Ксюша тоже ничего не промолвила, ни разу не проговорилась, невзирая на дружбу, и Тимофей глядел на нее властно, как на собственность, а меня, значит, и здесь надули подружки, про себя отмечаю, хотя улики нет, однако мне намертво было отказано, и обидно стало нам с Тимофеем. Очень обидно. И пришла я ни с чем, с чем пришла, с тем и вышла, и Леонардик гордится размолвкой, толкуя ее в свою пользу, пожелав доброй ночи наедине с трюмо, и я бросилась к телефону, чтобы поставить на ноги всю честную компанию, да только поздно, поздно, и слышу в трубке гудки да злые разбуженные голоса извинений, что поздно, ну, ладно, и осталась наедине с трюмо, тоже, в общем-то, дело, потому как лежала я маленькой девочкой и стонала, выводя вензеля и узоры, возвращаясь обратно в свой город одна-одинешенька, только я обожала Москву, поедом ела, и стонала, ища утешения в малом, но зато дорогое и единственном, но не вышло забыться, как очнулась и петь перестала, смотрю: ночь, и в небе тревожный ветер, облака сбились в тучи, тени месяца на покрывале, а в трюмо торчат мои ноги, мои ноги и мои руки, а между ними витает оставленное лицо, и тогда я решилась, в ту ночь,

затаилась и все поняла, потому что не бросит меня, а лишь скрутит и подчинит, чтобы дальше по его воле шло, на даче и здесь, в распрекрасной квартире, хозяйкой которой я вдруг увидела себя, прильнув щекой к карельской березе. Ликуй, Зинаида Васильевна! Сегодня в ночь ты можешь спокойно спать, а весть разнеслась, и наутро — да в самом ли деле? Апельсины катились, катились и докатились, только слишком долго ждать не пришлось, и пока раздавала кругом фальшивые опровержения, сохраняя всеобщую тайну, раздается звонок, и дедуля, как дрессированный попка, подбегает, кричит: — На проводе! — и мне, ладонью трубку задушив: — Дома ты или нет? — Дома! дома! — Я из ванной бегу, забывая захлопнуть халат, и дедуля похож на о. Венедикта, он конфузится, скрывая глаза, пока старая нянька льет за резинку струи, потоки святой воды, да только я себя не берегла в те две недели, что растянулись на полгода, только не больно-то я себя защищала, я русалочьей жизнью жила, из ванны в ванну переплывая, смущая лемулов с отменными мордами, вспомнить жутко, главарь автосервиса по утрам из постели распекал подчиненных, а Ксюша далеко, и Ритуля лечила болезнь, понимая, что фирмач заподозрил недоброе, гной на трусах,

смага на губах — отлетел на родину, и всю землю заполнили японцы, так что Ксюша клялась и божилась, живя в Париже и называя его японским городом, а я к телефону подступаю смиренно: — Это, мол, кто? Алле! — Слышу: Леонардик подает неуверенный голос, не любил покойник телефона, подозревал за ним бесчисленные недостатки, зарывая под подушку, а я ему в пику, в укор — ну, скажи, что любишь меня! что сгораешь от страсти! Расскажи, как будешь носить на руках, и голубить, и холить! Он как уж мельтешил: погоди, не сейчас, не называй меня по имени, ничего не слышу, из автомата звоню, по стеклу барабанят копейкой — будто напрасно я апельсины раскидала на глазах у изумленной публики, преодолев кордоны милиции, оцепление, оцепление — все! — закончилось наше подполье. Преступление против образа. Он за жизнь, слава Богу, набегался, приобрел ценный опыт бега на цыпочках по углам и мраморным лестницам, и в глубине лица застряла растерянность: хозяин не давал быть хозяевами, хозяева не давали быть хозяйчиками, хозяйчики пороли казачков. Хозяин одеяло натянул на себя — остальным мерзнуть и околевать, и поселилась растерянность в расщелинах лиц, и тихо-мирно проходит славная

жизнь его, но нелюбовь к телефону на сегодня была исключена, да и я не то, чтобы соскучилась, — истомилась, вынашивая мечты и удивляясь, что выкрутился, отплатил мелким спасением за униженную мольбу, за мое неповторимое искусство, только я в этот раз не спешила крутить динаму, не торопилась отмалчиваться: стою, слушаю, вода с меня капает, дедуля в комнату отошел небритый, в недоумении. Сообщает мне, что хотел бы... и что Зинаида Васильевна удалилась лечить свой пузырь, что скучает и куда я пропала? Отвечаю: никуда не пропала, жизнь влачу в одиночестве, с книжкой, полюбила я Блока... — Кого? — Ну, Блока! Поэта. На память выучила стихи. Он молчит, уже тем провинившийся перед собой, что набрал номер и начал мириться, да я-то знала, что так выйдет, а Ксюша не верила: — Неужели сам позвонил? — Она без меня тоже не могла, приезжала нетерпеливая, да и я, хоть с Ритулей дружила, однако Ритуля смущала меня практицизмом, любила предметы, особенно дорогие, особенно драгоценности, камешки обожала, караты, и, вернись японец, она бы ко мне не пришла, я бы к ней не приехала, и куда тогда деться, и пусть мы остались довольны успехами дружбы, но Ксюша есть Ксюша, есть Ксюша!

Ее не пугали изгибы умного разговора, но к мыслящим женщинам она относилась неважно, и помню, как быстро исчезла Наташа, погнавшаяся было за радостью общего дела, но неизбежно разоблаченная. Она, кивнула Ксюша на мыслящую женщину, холодна, как ноги таймырского дистрофика, должно быть, здесь заключался намек на сестренку, только Наташа вскоре исчезла вместе со своим громоздким клитором, посмешищем искренних дам, променяв нас на умные разговоры, и, встретившись с ней среди избранной публики на балетах Бежара, усладой ее мозгов, я равнодушно здоровалась и проходила мимо, я оставалась суха. Но Ксюша была иная, не мыслящая — немислимая! и я ей верила и подражала до срока, покуда она не развела руками: — Ну, ты даешь!.. Ну, даешь. Чтобы сам позвонил! После всех этих апельсинах... — Да ты не понимаешь! — Тут я улыбнулась застенчиво. — Он должен был позвонить. Ведь тогда он пришел к заключению, что я сдалась и сокрушаюсь. — Хорошо, — не спеша согласилась я, и он сказал: — Ну, стало быть, прекрасно!

Мы условились встретиться у него, нет, я была далека от решений, я хотела посмотреть, что будет, и когда мы с ним встретились на квартире, свободной от почек и пузыря, он

мне показался несколько расстроенным и беспокойным, что было не в его стиле, он пожаловался на пошатнувшееся здоровье, он кричал: передо мной сидел старик со следами былой роскоши, но не больше того! Ира! — сказал он и провел меня в лоно карельской березы, окна которой глядели в сквер, двери сверкали бронзовыми ручками, а входная дверь была, как баррикада. — Ира! — промолвил он грустно, жалуясь на недомогание. — Почему ты мне не звонила? — Он был одет в тот самый выходной костюм, в котором его похоронили, это был его любимый выходной костюм, это была его любовная выходка: дома в костюме, для меня! исключительно для меня! Я призналась ему, что не верила в продолжение, что считала размолвку за полный конец, что смирилась с решением. Он сидел напряженно в кресле, как будто кресло было чужое, я знала, ему не нравится, что я смирилась. Ира, сказал он, я не могу. Я ответила вроде того, что я тоже, и он слабо улыбнулся, он даже стал преображаться, его оживило то, что я тоже, и он просиял! Только я не спешила радоваться, я понимала замысел его предложения, чтобы оба мы сдались, и все снова-здорово, но с какой стати мне было сдаваться? Чего я у него потеряла? Нужны ли мне были его судорож-

Русская красавица

ные объятия? Его пигментные пятна величиной с горох? Подумаешь, тоже мне, джентльмен! Я промолчала. Я только сказала, что я тоже, так как мне захотелось сказать, что я тоже, и я сказала, что я тоже, и он просиял! Тогда, посмеиваясь, Владимир Сергеевич рассказал продолжение истории с апельсинами, как он все потушил, помочившись в этот костер, и все уладилось, только мне не хотелось, чтобы что-то уладилось! Только мне не хотелось! И я сказала: — Женись на мне. Так и сказала, отбросив лишнее, без предисловия и намека, женись, и все. Я, сказала, устала, ты пойми, сидеть в девках, но он всегда боялся, что я его опозорю, пальцами будут показывать, на что я сказала, что если люблю, то люблю беззаветно, ты любишь меня? — спросил он, вцепившись в кресло, как клоп, он весь сомневался, томился, страдал и боялся, он был мне противен в тот час, я ответила, да, мол, конечно, как смеет он мне задавать или я недостаточно приходила в отчаянье, взять хотя бы те же апельсины? Такое вот выходило затянувшееся объяснение в чувствах, в его последних чувствах, в подергиваниях его мяса, я ответила: да, мол, люблю. Не хитрила, ответила: да! — он мне: да! — Я сказала: женись ты на мне! засиделась я в девках!

Даже мыслящие женщины с лошадиным нечутким клитором плачут, глядя в старение лиц, сухость кожи пугает их ретивое воображение, даже они ищут руку и голос команды, а пустившись в разгул и вразнос, все равно слышат щелканье счетчика, и потому так лихорадочны их глаза, и слова, подвыпив, похожи на причитания, будто в соседней комнате поселился покойник, будто тесно душе и она отлетает по-совиному в ночь, не выдержав жалобы. Даже мыслящие женщины с лошадиным, в палец, клитором впадают в отчаяние и в чужих постелях, накричавшись, тоскуют.

Я живу. Посещаю Станислава Альбертовича и почти не курю, избегая мужчин, и мне в пузо стучится мой будущий мститель, я иначе не смогла и обиды простить — не простила, хотя по-христиански живу, потому что боюсь. Но не

тебя, Леонардик! Я знаю: ты снова придешь, если не растворись, не сгинеешь, лишившись себя, в туманах посмертия, я готова, а что Виктор Харитоныч меня вчера навестил, то ведь это дело мое, житейское, об этом даже не упоминаю, но взять своего не забыл, а потом стал расспрашивать, мол, какие намерения, с коньяком приходил и с духами, и опять в трюмо отразилось его безобразие, я смотрела и думала: что такое мужчина? что главное в нем?

Подруги мои не скупились на ругань. Собравшись, мы спорили. Особенно злобствовала Вероника. Разоблачала нас с Ксюшей: ругаете, а даете! Что делать, если хочется? — улыбнулась Ксюша, занимая примиренческую позу. Вероника не любит мужчину как расу: ни тела его волосатого, ни душу, изъеденную порчей мужчинского чванства. Насчет души я согласна, но мне нравилось, когда они волосаты, как медвежата. Там была и Наташа, полная всяких идей и теорий. Наташа нам авторитетно сказала, что мы мужчине нужны меньше, чем он нам, но природа устроила так, что мы делаем вид, будто он нам не очень нужен, а он делает вид, будто мы ему очень нужны. На этой лжи расцветает любовь. Ерунда, холодно отвергла Вероника. Тимофей — он тоже мужчина, в скобках заметила Ксюша.

Тимофей, слава Богу, другой породы, огрызнулась Вероника. Девочки, сказала я, в мужчине не хватает тепла! Он как дом, где батареи чуть греют, не согреешься. Смотря у кого, сказала Наташа. У моего мужа так греют, что тошно становится. Хотя нельзя не признать, рассуждала она, что теперь, когда женщины стали открыто охотиться на мужчину, мужская теплоотдача в целом заметно снизилась. Ксюша принялась ее щекотать, чтобы из нее теории вышли сквозь смех. Мы рассмотрели Наташу — шерсть колючая, груди жидкие, как дачный стул, — рассмотрели и снова одели: спасибо большое!

А как Виктор Харитоныч отразился в зеркале, напомнила я ему про его подлость и разбирательство, про его издевательство и солдафонство, нам было что вместе вспомнить, запить коньячком, а сама я осталась, будто нетронутая, так мне все это положительно не понравилось, если судить по зеркалу, а в нем отражалось разное: и Карлос, посол латиноамериканский, сын президента, и старый друг мой и б. любовник Витасик Мерзляков, который ушел, как страус, в кусты, и даже этот кретин Степан, что сбил меня на перекрестке, врезавшись в бедро со всего размаха: я как грохнусь на тротуар в смертельном испуге, смотрю — он на-

до мной стоит, перепуганный тоже насмерть, и качается, в нарушение всем правилам уличного движения, так что новые друзья уверяли, что Степан сбил обдуманно, а пьяным — прикинулся. Не убить хотел — покалечить. Потому что сила моя в красоте — так писали в газетах и так же считал Леонардик, называя меня в этом отношении гением, я не спорила, но обозлилась: было частичное сотрясение мозга, он умолял простить, с дня рождения ехал, а на бедре отпечатался синяк величиной с Черное море и похожих очертаний — такой удар! он и скулил, и деньги предлагал, и даже, взглядевшись в меня среди ночи, влюбился. То ли прикинулся влюбленным, то ли влюбился в задание, кто его знает? Хотя новые друзья были уверены, разные истории по этому поводу припоминали. Борис Давыдович привел классический случай с еврейским актером и грузовиком и еще привел случай, как одному деятелю дали бутылкой по голове, все им мерещилось, что их обижают, а Ксюша сказала так: — Напрасно стараются. Все равно без чуда не обойтись.

А я запомнила. И, когда решила, сказала им, что имею, кажется, способность всасывать в себя разлившуюся нечисть, такую в себе неясную силу ощущаю, и Вероника, со своей стороны, задает вопрос о насильнике

и слышит в ответ, что буквально из месяца в месяц повторяется это бегство по улице, этот грязный подъезд, шаги вверх по лестнице, я забилась в темную нишу, и он наконец настигает: чудовищный и великолепный! — Ну, попробуй тогда! — говорит Вероника, но, впрочем, безо всякого энтузиазма. Ее не волновали общественные проблемы, хотя тоже мне! — будто Тимофей лучше всех! Нашла себе кожаменитель, вонища да мерзость, чего только не встретишь в столице! я не одобряла, а если помогала ей, людей приглашала, чтобы весело было, так это бескорыстно, хотя Вероника вроде бы подругой считалась, готовила вкусно, с особым чувством вспоминаю лимонный пирог, и Тимофей всегда получал лучший кусок и урчал под столом, ноль внимания, будто не был полчаса назад участником представления. Я, во всяком случае, поражалась его сноровке, да и гости приходили в смущенное состояние духа: начинали друг друга подбивать и тревожить, хозяйка же демонстрировала искусство, а вместо зеркала, которое ее не устраивало, мы были зеркалом, она собирала по четвертаку, то есть с пары, а утром, на скорую руку позавтракав и пригрозив Тимофею: не вой! — отправлялась на службу, в лабораторию, а Тимофей, паразит, как хозяин ходил,

нога за ногу, по квартире, принимал душ, висел на телефоне и не слишком нас всех удоставлял, кроме разве меня, потому что привык и брал пищу: я его поглажу, похлопаю по бокам: умница! — а Вероника, смотрю, смотрит с несмолкаемым подозрением, ревнует, — и ничего, — все ей сходило с рук, даже никто не стукнул, а я, можно сказать, почем зря страдаю из-за невинной любви к Леонардик.

Леонардик в день примирения получил вознаграждение за храбрость, да мне было не жалко, потому что соскучилась я по нему и ожидала брачного предложения, но, насытившись и решив, что достал меня окончательно, В. С. вновь приосанился и даже несколько раз непроизвольно сравнил себя с Тютчевым. Только он, дескать, берется описать роковую любовь не хореом, а в прозаической аллегории. Дело, как водится, происходит на фронте, а я, разумеется, санитарка. В общем, объясняет В. С., что готовится меня увековечить, собирает материал и даже с прищуром подолгу смотрит, запоминая полюбившиеся черты: глаза цвета морской волны, не то зеленые, не то серые, загадочные, санитарка бедовая, влюбчивая, а он, пожилой контуженый полковник, наблюдает и тоже влюбляется, глядя, как она с лейтенантиками смеется, полная сил. Как начитанной женщине

с уклоном в поэзию мне было известно, что Тютчев, несмотря на стихи, с женой не развелся, а Леонардик намекает на параллели: пишу, дескать, на фоне мировых событий последней войны, делится он лебединой песнью в интервью одной литературной газете, и санитарку надеваю твоими миндалевидными глазами. Я притворяюсь, будто обрадована, а сама притихла, потому что вижу в этом конечный отказ, и сказала ему, что больше не могу с ним встречаться, раз он меня обманул, а насчет апельсин, так это истерика, есть такое женское дело: ИСТЕРИКА!!! — и, пожалуйста, не надо, лапуля, меня уговаривать и целовать руку, я хочу замуж, рожать детей, и тогда неожиданно он отвечает: ну хорошо, будь по-твоему, больше мы никогда не увидимся, а я тебя опишу и буду страдать, словно ты умерла, поеду странствовать, на конгресс в Женеву и дальше, на гору Монблан, и вспоминать, удручаться, а теперь, дорогая моя, прощай, только вот, перед скорой разлукой, на посошок, отдадимся любви, как тот одинокий полковник, выписываясь из госпиталя, а там не то бомбы посыпались, не то еще какие события, только гибнет бедовая санитарка, он ее сам пристреливает из дымящегося нагана, потому что иначе она снова будет с лейтенантиками, а ему это неважно, вот он ее и пристре-

лит и спишет все на военные действия, таков, мол, замысел книги, над которой расплачется вся страна, только боюсь, сладостно замирал он, что запретят (иной раз, после ужина, он мечтал создать что-нибудь запрещенное), и уже либретто для оперы заказано, и в кино началась возня, кто напишет сценарий: он стоит над ней, расставив ноги, с дымящимся наганом, невдалеке догорает товарный состав, а по небу летят на запад легкокрылые истребители: по-месь Тютчева с вихрастым полковником, а потом он уезжает себе брать Варшаву, или Прагу, или Копенгаген, но морально остается незапятнанный, а есть у него и жена, вылитая Зинаида Васильевна, вот уж действительно истеричка, его домашний крест, четыре предвоенных года проходившая мрачная, как в воду опущенная, а почему — секрет.

Зинаида Васильевна Сырцова-Ломинадзе.

Ты — моя последняя муза! Из-за тебя я снова тянусь к перу, а сам не к перу, а ко мне, и волнуется, и просит, чтобы я была с ним предельно откровенна, чтобы он по полу ползал и в ногах валялся, а я отпихивала ногой и не уступала вплоть до драки, и сам сует мне в руку ремень и покрепче запер входную дверь, на всякий случай. В общем, вижу: прощальная драма. Я и до этого, не скрою, стегал

ла его по бокам и даже находила в том утешение, потому что большой человек, реликвия. Я, кричит, редкая дрянь, хуже меня днем с огнем не сыскать! Я не растерялась от его криков и как съезжу ему по роже со всего удовольствия, и кричу: плевать мне на то, что ты сволочь и дрянь, что ты там кого-то морил и позорил, что весь изговнялся, плевать! Ты МЕНЯ обманул, НАШ! с тобой договор растоптал, ты жениться на мне не посмел, лакей сраный! Он визжит и в восторге от моих неподдельных слов, ему очень нравится, а я думаю: не к добру ты развеселился. Я что, думаешь, в прятки с тобой собралась, тоже мне Тютчев! Голый и старый, он ползает и воспевает мою красоту, ты прекрасна, Ирина, ты совершенство, я тебя недостоин! Я — старый неискренний трус!

Отвечаю: молчи, педераст!

В ногах валяется, трясется, ты моя богиня и так далее, а я его — по спине! по спине! — и не больно ему доверяю: сама, бывало, склоняла его к дикому крику. Накричись, уговаривала, выблюй ты из себя все свое величие, и Лазарь оживет, и тот ожил, и теперь, смотрю, потихоньку оживает, и мутная капелька дрожит у засранца. Я, истошно кричит, тебя предал, я недостоин, но сделай прощальную ми-

Русская красавица

лость — дай тебя облизать от ногтей до волос, языком моим скверным и лживым, дай, Ирина, тебя облизать! — и захлебывается слюной, строит хоботом губы, на губах пена, ну, думаю, я тебя доведу! врешь, не выкрутишься! И давай его царапать, молотить, стегать, лупить — пока он лижет, весь пунцовый, задыхается и шепчет: в последний раз, прости, Ира!

В этом было когда-то наше содружество: он себе позволял, я — себе, то есть мне тоже было не скучно, и, по трезвому размышлению, куда бы он от меня делся? — на животе бы вернулся назад или убил бы, потому что со мной распоясался.

Он мне и после об этом сказал, потому что, сказал, как пришел, напугав, я в тебе сразу близкую душу почувствовал, мы с тобой как жених и невеста. Ты невеста моя неземная! На земле прозевал я свое счастье. Одаренный по традиции талантом, я отдал его весь на службу устоям и собственному спокойствию, думал, так проживу, откуплюсь, но на закате жизни увидел тебя, мою невесту, снял поспешно перчатки, плюнул на все и заорал, что подлец! А другие люди, Ириша, до самых печенок считают себя молодцами — вот, говорит, маленькая разница в мое оправдание, потому что этими самыми глазами — тут он ткнул себе уродливым ногтем

в глаз так, что глаз еле-еле не вытек, — вот этими самыми глазами видел я многое, слишком многое, но не стал прикасаться к язвам, потому что люблю мой народ, это правда, народ негневливый и незлопамятный, и не нужно! не нужно его теребить и тревожить!

Я не все запомнила и не переспрашивала: не шпионка и не охотница за признаниями, для этого бы Наташу снарядить, та бы выведала, только бы он ей не раскрылся, на порог не пустил, а когда однажды пожелал Ритулю увидеть, тоже в самую последнюю секунду отказался, а я ему все описала, как мы выступим перед ним, он балдел, он требовал, он кричал и — отказался — не надо Ритули, и Ритуля осталась дома с напудренным носом.

Он орет и лижет, лижет и пердит, а сам пунцовый и дышит неровно, я ему говорю: ну-ка, дай-ка я тоже. И давай его сосать! Он затрепетал, а я думаю: трепещи! трепещи, вероломщик! — и он весь трепещет, и извивается, и умоляет меня допустить до себя по-старомодному, морда в крови и на спине ссадины, я его хорошенько отдубасила, а истомив, допустила. Стал он, как молодой, во мне ходить, я даже подивилась. Давай, кричу, поспешай! Не ленись, старый таракан! Он — быстрее! — а я кричу: вперед! ура! давай! не могууууу! — у него подборо-

Русская красавица

док отпал, глаза из орбит, будто его самосвал переехал, щеки ходуном, и скачет! и скачет! — и что-то шумит неразборчивое, а потом горячее горькое стариковское семя как пустит в меня! как рухнет! как завопит от восторга! и я — вместе с ним, что случилось не часто, а если по правде, то первый раз так случилось, а то все больше притворялась, и когда он лизал, бывала на грани — вот-вот! — но волна спадала, оставалась ни с чем и злилась: ну тебя! дурак! не умеешь, не лезь! — но он лез, он умел, только я подзапаздывала, заботясь скорее о нем, чтобы поверил в свои силенки, которых и так кот наплакал, и он рухнул, и захрипел, и пузыри пустил изо рта и из носа, только я не вдруг сообразила — забалдела немного, а Ксюша слушает и посматривает на меня своим рыжим востреньким глазком, посматривает и молчит, и я тоже в ответ молчу — доказательств нет, так, одни фантазии. Как очухалась, говорю: — Леонардик! Что это с тобой? — а он хрипит жутким хрипом, будто в нем внутренность порвалась, пора врача вызывать, хочу высвободиться, да он, чувствую, отяжелел, но все по инерции жить продолжает, я высвободиться хочу и нечаянно встречаюсь с ним глазами. Смотрит он на меня, как на чужую, и поняла я тут: не желает со мной умирать, потому что, крути не крути, не со мной жил, так

мне показалось, то есть не знаю, хотел бы он Зинаиду Васильевну видеть, может быть, тоже не хотел, или Антончика? только смотрит он на меня даже с некоторой ненавистью и помирает, вижу — кончается. Я его по щекам стала легонечко шлепать, где, кричу, у тебя таблетки сердечные, нитроглицерин или как их там, он не хочет отвечать, я вскочила, куда бежать, гад, ответь! — он рукой шевельнул, мол, не нужно, то есть: поздно! Я — к телефону, у него был такой телефон оригинальный, вместо диска на кнопки нажимаешь, он учил меня нажимать, и я звонила, слышала, сколько времени по 100, а время позднее, около часу ночи, и на дворе весна, лунная, помнится, ночь, он рукой шевельнул, хрипит, мол, не нужно звонить, и меня осенило: не хочет скорую звать, до последнего вздоха печется о репутации. Лежит неприкрытый и с разбитым лицом. Я говорю: где таблетки? и что нужно звонить. А он смотрит на меня нелюбящим взором и ничего не отвечает, никак последних слов не произносит, после того, как кончил, а кончил, как юноша — властно и горячо, да только надорвался и все в нем окончательно лопнуло, и смотрю — глаза мутнеют, как у воробышка, который, знаете ли, подыхает.

Я бегу звонить по 03, объясняю нескладно, толком объяснить не могу: адреса не знаю,

писем ему никогда не писала, какой, говорю ему, у тебя адрес, а ему не до адреса, у него уже нет адреса, он уже, как воробышек, глазки мутные... Никому не пожелаешь такого, а меня еще поволокли выяснять: что да как? Народу понаехало! А из родственников: Зинаида Васильевна в Трускавце пузырь лечит, Антошка в командировке. Только я объяснилась по телефону, бросаюсь к нему, смотрю: умер! Скорее одеваться к приходу врачей, одежда рваная, он избитый. Звонок. Я — к двери, новая загвоздка — не отпирается, дрянь! Не могу открыть, замок мудреный, как шлагбаум, длинный, длинный, на пять оборотов, таких отродясь не видела, кричу через дверь: открыть не могу! — они с той стороны ругаются, куда-то бегают, видят, что дело серьезное, стали дверь вышибать, да она тоже нестандартная, короче, пока вышибали, кое-как привела себя в порядок, а его уж не трогаю, он лежит и на мою суету смотрит.

А как вломились, подбежали к нему, крутят-вертят и всего его йодом начинают зачем-то намазывать, и ко мне сразу с претензией: если бы вовремя отперла!.. А что я могу поделывать, если в замках не разбираюсь, вон, говорю, видите, какой замок, а они говорят: отчего это вы оба такие ободранные, как кошки,

вы что, дрались? Я, естественно, говорю, что, позвольте, какое там дрались? о чем вы говорите! Господи, пишу и опять разволновалась! Сегодня на улице холодный порывистый ветер. Как не хочется вылезать в магазин за жратвой!..

Я врачам сказала: вы мне лучше тоже дайте что-нибудь успокоительное, укол, что ли, а вы, врачи спрашивают, собственно, кто такая? да это уже и не врачи. Будто я воровка фамильного серебра, и как им все объяснишь? Люблю я его! Любила! А они за свое: почему кровоподтеки? Ну, хорошо, стесняюсь, мы баловались... игры такие... — Интересные, говорят, у вас игры, и паспорт листают внимательно, и сидят в плащах до самого рассвета, не верят, а утром все-таки отпускают, мол, вызовем, потому что Зинаида Васильевна на подлете к Москве, на дежурном мчится бомбардировщике, скоро явится, экспертиза установит, в голове каша, однако отпустили, я думала: не отпустят. А как добралась до дому с лицом, исцарапанным моим Леонардиком, снова требуют: не вы ли бросались апельсинами? Я обрадовалась: я! я! Вся Москва музыкальная в курсе, а они говорят: вы чего от него домогались? Чины высокие, по вальяжности видно, смотрят на меня душераздирающе, я любила его, твержу, отстаньте от меня,

Русская красавица

у меня трагедия, я любила, он на мне жениться обещал, ненавидел он эту старую дуру Зинаиду Васильевну, он меня два года любил, собирался фильм про меня создать, у меня от него следующие подарки: два золотых кольца с фиговенькими сапфирчиками, знак ДЕВЫ на золотой цепочке, бесчисленные духи, пустые коробки конфет, две пары туфель, не трогайте меня, не обижайте женщину, вот бы вам самим такое выпало, чтобы на вас кто-нибудь умер в неподходящий момент! Пришлось рассказать порочащие его подробности, а что оставалось? Садиться за его фантасмагории? А Антон, подлец, тоже от меня отрекся, мол, не знает меня, а я говорю: как же он не знает! Я на даче в его присутствии бывала. И тут вспоминаю, на счастье, об Егоре-стороже, так они и Егора терзали, думали, может быть, что мы заодно, и его жену Люсю, прислугу и пьяницу, любительницу портвейна, а их за то, что сказали, будто знают меня, немедленно с дачи выгнала Зинаида Васильевна, да тут окончательно выяснилось про апельсины, они мне на руку сыграли, нашлись свидетели, если любовь не подтвердили, то, по крайней мере, что мы с ним вместе в директорской ложе сидели на Бриттене — и как будто отстали, а дедуля с лопатой, вскопав огород, возвращается и — с порога: ты знаешь, кто умер?

И газету протягивает. А в газете уже черный лес подписей, черный лес и портрет в черной рамке, нарядный и строгий, будто специально фотографировался, но в глубине лица немного растерянный и извиняющийся, и я села с ним в теплую воду, чтобы подавить волнение, и гудел надо мной газоаппарат, обещал поминутно взорваться, и читала я, перечитывала, и прямо скажу: восхищалась!

Нет, я и раньше, конечно, знала, но чтобы так знаменит, чтобы так во всем, не верила, не представляла, я тебя еще больше полюбила за твой некролог, за то, что ты был и воин, и сеятель, и пахарь, и знаменосец, как никто не будет впоследствии, и все это мы потеряли, но наследие твое навсегда останется стальным штыком из арсенала надежнейшего оружия дальнего прицела, я сидела и плакала,

Русская красавица

и на ум приходили твои выражения, которыми ты меня удостаивал, называя золотой рыбкой, разговоры об искусстве, увлекательные поездки на дачу, приходили на ум твои ласки и твоя любовь. Ты гигант был, не зря называла тебя я своим Леонардином, и как тебе это нравилось! как верно я угадала! потому что интуиция, и мне радостно было считать, что ты умер, распростершись надо мной, что ты криком последним приветствовал нашу любовь, и что я первая побреду за гробом, во всяком случае, мысленно, и первая брошу на гроб ком земли с фешенебельного кладбища, где каждая могила отзывается громким гулом земного пути и прорыты траншеи для тесного общения между собой, и покойники телефонизированы, только жаль, что нет кипарисов, и ворота на вечном замке стерегут их беседу.

Но не получу я пропуска в эту долину скорби, не выдадут мне мандат на право посещения дорогого тебя, заваленного подотчетной гвоздикой и ведомственными венками, не пропустят меня в тот зал, где среди медалей и почетного караула ты в своем выходном костюме, скрывая ссадины и бури любви, будешь выставлен перед толпой общественности, школьников и солдат (было много солдат), где, кручинясь, утрутся име-

нитые ветераны и секретари культуры, где от живых цветов и речей закружится голова, нет, туда меня не допустят...

В убогом черном платье, простоватая, без макияжа, будто совсем тебе посторонняя, я приду попрощаться с тобой наряду с остальными. В руках букетик белых калл.

Возложу букетик под шорох негодования, незаметно перекрещу тебя, не похожего на себя, нехорошо раздобревшего умершим лицом, бедная жертва неудачной реанимации, и какой-нибудь пошлый остряк прошипит мне вслед, что не каллы, а пять кило апельсинов мне бы нужно тебе принести, но выловит меня своим метким незаплаканным глазом мадридский гастролер Антончик, что кричал про меня как про гения чистой любви и махал яйцами перед моими усталыми веками с робкой надеждой на взаимность — жалкий человек! — и какие-то люди неслышно подойдут ко мне и задержат, и будут их лица свирепы, будто я не тебя провожаю, родного мне человека, а посягнула на фамильное серебро, и подхватят меня под руки, как вдову, и опять выведут с позором, а Антошка-шпион донесет своей пиковой маме, и она поклянется мне отомстить, будто не я, а она слышала его предсмертные вопли, будто не меня, а ее он любил,

Русская красавица

и водил на концерты, и угощал в подмосковных укромных кабаках, будто я не имею на это право, и начну я сердиться в волосатых ручищах охраны, а они меня под руки выведут и отправят домой, пока вся эта чужая публика не отдаст ему последнего долга.

А я-то думала: хватит у нее великодушия, что заплачем мы с ней на могиле общего мужа, потому что не деньги хотела делить, не имущество, но единственно душевное чувство, потому что любила его, а он меня, и предлагал жениться, только свято охранял свой семейный очаг, жалел Зинаиду, будучи человеком не только гениальным, но и отзывчивым, он себя всего раздарил, выходя из сиреневого марева телевизора, а в себе носил тоску, страх за будущее, потому и скрывал свои чувства, потому и писал, и выступал, и доказывал, что нельзя прикасаться к ранам, потому что они гнойники, потому не права мелкота, мелко плавающая братия, что всегда недовольна, потому что воля истории пересилит ум молодой и неразвитый. И как Егор, с дачи выгнанный, от вина распоясавшийся, стал рассказывать про него анекдоты, что не прочь был и похамить, если кто от него зависел, и ногами потопать, и перед Люсей, покорной прислугой, предстать в виде неожиданном и даже игри-

вом, чем смущал до стыда молодую девицу, да только Люсю не больно смутишь! — ей бы только портвейну налакаться да глаза потарашить, я поняла, что никто, ни один человек, включая в первую очередь его семейку уродов, не могли понять главное в нем, только мне он открыл это главное: эту безмерную муку за людей, ему так хотелось, чтобы жили они побогаче! А Егор, как он умер, говорит: ничего, дескать, он не хотел, хитрожопый! И забудут, мол, его через день, на сороковины не соберутся, а если соберутся, то чтобы пожрать на дармовщинку, потому что покойник любил пожрать.

Это верно. Любили мы с ним пожрать, и благоговели официанты от наших заказов, понимая, что перед ними не безденежный человек, не фитиль, а сам Владимир Сергеевич, который в еде шуток не допускал, жрали много и вкусно, кто еще мог сравниться с ним в этом искусстве пожрать! и от этой обильной и щедрой пищи так прекрасно сралось, словно это поэма!

Никто его не понял и не простил, только все порывались плюнуть на свежевыкопанную могилу, потому что неправда, что любят у нас покойников, а любят у нас только тех покойников, которых не любят при жизни, а которых при жизни любят, после смерти — пугови-

ца отрезанная. И если бы Зинаида Васильевна пригласила меня на поминки, я простила бы все! все! — я была бы ей первой заступницей, первой подругой, я бы с ней вспоминала его выражения глаз, его мысли и руки, пахнувшие дорогой заграничной кожей, и клеветники, недостойные его ногтя, были бы публично посрамлены, но случилось обратное, выпал мне жребий перейти в их стан, потому что наступил конец моему вековечному долготерпению, потому что замыслили меня вытолкать без извинений из зала, где он, не дали принести в скромный дар мои белоголовые каллы, нет, не знала смирения подлая душа Зинаиды! И осталась я при своих воспоминаниях, при его криках, когда ему некому было, как только мне, искричаться, зарыв под подушку телефон, на который всегда смотрел с подозрением, и радовался, что нашла и для него подходящее слово: падла! — да, я падла! — радовался он. — Падла! Падла! — Кто еще посмеет так о себе, это ли не по-христиански? И теперь как дочь православной церкви свидетельствую, стоя над пропастью своего решения родить рокового моего херувима: — Так никто еще себя не поносил! — Да, я видела всяких деятелей, которые рвали на себе волосы, отдавая минутному мутному покаянию, но что

их слова по сравнению с кнутом и нагайкой моего Леонардика, родившегося не в том веке, когда искусства цветут вокруг полных возрожденческих ног Монны Лизы, близ чертогов любви и весенних грез? А его последняя задумка, насчет полковника, пристрелившего, как Тютчев, свою незаконную связь, разве здесь нет того глухого отзвука катастрофы? разве здесь не бродит его тоска?!

Да, он любил, и если Зинаида Васильевна, выживши из ума, угрожала ему самоубийством, на которое не было способно ее ожившее тело, так он был просто святой, кто еще мог бы терпеть весь этот скрипучий корабль своей дачи, всех этих паразитов и приживалок, глубоко неверных людей, посреди которых мне было противно находиться, и не случайно меня вывели из душного прощального зала, хотя я ничего не сказала и ни на что решительно не посягнула, я хотела пройти незаметно, как проходит чистая любовь, а они меня за руки и — поволокли, и вдобавок называли меня хулиганкой, и дедуля, попав с ними в заговор, ничего мне об этом не сказал. Так почему мне печалиться, если он умер, испугавшись меня, как заразы, и бежавший туда, где футболист играет, а время стоит? И околевай себе на больничной койке, Тихон

Макарович, хотя по-христиански я не против того, чтобы ты вылечился и продолжал свою мелкую жизнь старпера, потому что не девочка я и жизнь моя — не малина! Я надела убогое, нищее платье, я не мазалась, не причесывалась, я была красивее всех в этот скорбный день моего унижения! Но не дали почувствовать превосходства. Тесен мир. И уже Виктор Харитоныч, мой давнишний и преданный покровитель, нахмурил козлиное свое личико, готовя дурное дело расправы, и заерзала от нетерпения сорвать с меня покрывало, залезть с головой под простыню, подышать воздухом моей несчастной любви Полина Никаноровна, растлительница иллюзий. Уж она постарается навести на меня напраслину! уж она порадует моим слезам, приготовя весь этот позор, а Харитоныч? Ну, что Харитоныч? Он по-нуру отведет глаза в сторону и начнет заседание, и я, неподготовленная, в пестром летнем платье, вдруг узнаю о себе много нового, вдруг распускают про меня ползучие слухи, и собрание под тишину унижения будет исключать меня из мира живых людей и туда гнать, куда поезда ходят пустые, ненагруженные, в логово моего одноглазого папочки, что совсем уже утратил дар разумной речи, в логово неотесанного родителя, проме-

нявшего жизнь на затишье, похожее на пожизненную смерть.

Но прилетит из Фонтенбло птица-Ксюша, доступная глубокому удовольствию, тяжелому кайфу, и предложит мне выход и дерзкую выходку, и я соглашусь, и она позвонит Х., делавшему только ради нее отступление от своего благородного пристрастия к расе мужчин, чтобы он взял с собой все свои принадлежности и примчался бы к нам, и при этом сказала: — В этом особенном чувстве Х. ты найдешь для себя удачу. Он заснимет все так, что останутся одни кружева художества, а от вульгарности ты ускользнешь! — И была она права, моя мудрая Ксюша, и не мне жалеть, хотя предчувствую, что перешла тот порог, когда люди понимают людей, а все почему? — потому что мой сад был прекраснее многих, и повадились в него ходить многие, и многие подозревали, что топчут его еще слишком многие, и не доверяли друг другу, и не верили моей искренности, слишком прекрасный был сад, слишком сладостные были в нем плоды, и осталась я со своими плодами надкушенными, и стали они гнить то с одного бочка, то с другого, потому что красавице жизнь посреди уродов тоже, знаете ли, не радость! И когда подоспел симпатичный фотограф Х.,

Русская красавица

тонкий мастер и друг петербургской элиты, да только нечувствительный к женщинам, что меня, однако, заинтриговало, потому что, кроме Андрюшки, на которого я могла смело положиться и даже спать вместе, как спят с новорожденным, не доверяла я этим нечувствительным мужчинам, видя в них смутную для себя обиду, то есть как это так! И не верила им, полагая, что просто не могут, а они, оказалось, могли, но совсем не хотели, и мы были у них, как на голой ладони, и приехал тогда Х. со своей новомодной аппаратурой, с принадлежностями почти что диковинными, будто для подводной охоты, весь в вельвете, ногти овальные, полный старинной нежности к нашей Ксюше, несмотря на причуды, и Ксюше нравилось, она подчеркивала и не скрывала, как победительница, и Ксюша ему говорит: — Так вот и так. Сможешь сделать? — Х. подумал и отвечает: — Попробуем!

Но любовник — не тот, с кем спишь, а тот, с кем утром сладко проснуться, и Виктор Харитоныч знал это и не мог мне простить, а когда Зинаида Васильевна, роняя вдовью росу, заграбастала жирную пенсию и нажаловалась на меня, чтобы обелить своего погубленного супруга, который прожил со мной с лишком два года и был счастлив, как цуцик, и умер с достойным криком, когда Зинаида Васильевна сделала свое черное дело, я пребывала в полнейшем неведении, я оплакивала пропажу и перечитывала некролог в свое утешение, и дедуля, Тихон Макарович, жил бок о бок незаметной жизнью стахановца и помалкивал, словно он непричастен, а когда Виктор Харитоныч радушно, с интимными вибрациями пригласил меня заглянуть к себе в кабинет, то даже смутного подозрения у меня не про-

мелькнуло, а подумала я, что никак он не может уgomониться, и, видать, настал час платить за вольготную жизнь, только зря он, подумала я, афиширует наши сношения и тщеславится мной на глазах коллектива и Полины Никаноровны, которая всегда считала, что женщина без лифчика все равно что не женщина, а последняя тварь, так как бюст у Полины Никаноровны давно вышел из повиновения, и никогда нам не понять друг друга, хоть пуд соли съедим за общим столом во время поездок по ярмаркам и балаганам, где в автобус, куда нас ведут переодеваться, ломаются, как за мясом, а Наташа, божия сыроедка, говорила, суча быстрыми руками пряжу отвлеченных слов, что мясная философия правит миром и сквозь мясо плохо виден Бог и вопросы вечности, и когда она шла, отвергая мясо, она видела состав воздуха и улыбалась ему, и даже микробов видела, а Вероника хвалила ее и кормила своего Тимофея мясом, чтобы он был сильный и злой, а когда Виктор Харитоныч, козлиная голова, пригласил меня на свидание, я, конечно, почуяла недоброе, нюх у меня, слава Богу! — и решила отклонить приглашение, да он настаивал, да так усердно и нежно, что я решила, что ему невтерпех, или что прослышал и хочет выведать, любил он всегда, чтобы я ему

порассказывала, посравнивала достоинства, у кого что и как, хлебом не корми, только расскажи про достоинства и отклонения, и я его развлекала тем, что рассказывала, и ему очень нравилось, что министр не то чтобы тяжелой, но и не легкой промышленности, человек удивительных качеств, был обижен на меня за то, что сидела на званом пикнике у Москва-реки по-турецки, сняв мокрую тряпочку купальника, подаренного все той же Ксюшей Мочульской, которая мясную философию тоже критиковала и тоже, как та сыроедка, ядовито высказывалась о засилии времени, да только я знала такую вечность, где не только глубины, но и благости нет: то есть одна непролазная топь, в которой гибнут самосвалы и любопытный соседский мальчик на корточках, и меня он обжег, этот трос, по щеке поцарапав, и глубинки мне этой, спасибо, не надо, а Ксюша, возвращенная на вырезке и детских девичьих шалостях, неполная девятиклассница, с подругой обменивалась поцелуями, а мой одноглазый папаша стерег меня и держал в черном теле не совсем бескорыстно, и я все мимо ушей: насчет Бога, которого плохо, мол, видно сквозь мясо, спасибо большое! а Виктор, значит, Харитоныч получал удовольствие от затруднений министра и дивился его легкомыс-

лию, потому что тот верил, что я воспитываю детей дошкольного возраста, такое занятие, и от души хохотал хриплым басом, а как села посреди пикника по-турецки, лицом к Москва-реке, ощутил неудобство и нарушение этикета, потому что был не один, а с компанией, у которой шашлык встал поперек горла, если не сказать большего, а мне плевать: я сижу, и мне весело, а министр вскорости умирает от рака, но перед этим со мной примирился и даже познакомил со своей престарелой мамой, это, мол, Ира, о которой тебе рассказывал, а был он, что характерно, вдовец, и маме я очень понравилась, только он умер, сгорел от болезни, я ему еще передачи носила, у него в палате цветной телевизор стоял, а доктор мне говорил: даже если он на ноги встанет, все равно мужчиной ему не бывать, а я говорю: ну, и не надо! а доктор мне на это: вы — благороднейшая женщина!

Так сказал мне этот доктор, а министр тут взял да умер, не вылечился, несмотря на больницу, сгорел в месяц, полное невезение, а если бы вылечился, то обязательно женился Александр Прокофьевич, замечательный светлый человек, только строгий, и никогда не мог простить, что сидела по-турецки, и все спрашивал с мукой: ну почему ты сидела по-

турецки? зачем? — а я уже, — главное! — маме его престарелой была представлена, чин чинарем, и мы даже втроем обедали на белой крахмальной скатерти, и вазы хрустальные, и очень-очень я ей понравилась, старушке, и Виктор Харитоныч, уважавший чины, радовался за меня и еще пуще воодушевлялся и обещал непременно перевести меня в королевы на сцену, а вместо этого ничего не получилось, и написал он цидулку моим покровительницам, где оправдывался, что я, мол, — по собственному желанию, ввиду большой утраты, и Зинаида Васильевна смахнула слезу и осталась ни с чем, потому что прославили мою любовь, публично о ней возвестили в туманных выражениях, но кому надо, тот поймет, а пока вызывает он меня вкрадчивым голосом и ни о чем не предупреждает, на одиннадцать часов, так что я тепленькая, прямо с постели ему, удивленная его желанием, и приезжаю. Смотрю: волнение, и все смотрят в мою сторону, думала — на бусы, бусы надела латиноамериканские, аметистовые, от Карлоса, чтобы этому ублюдку приглянуться, а смотрю — все смотрят, и его секретарша меня проводит в зал, где у нас демонстрации, и накрыт зеленый стол, только не для банкета, и за ним уже Виктор Харитоныч и другие

представители, и Нина Чиж. Я хорошо знала Нину Чиж. Она любила трубочки с заварным кремом и не знала, из какого точно места мы писаем, и когда у нее случился цистит, она меня спрашивала, и я поделилась, а так мы были не очень близки, и Полина тоже сидит и на меня смотрит с неисчерпаемым торжеством, и Сема Эпштейн тоже тут как тут, Виктор Харитоныч глаза отводит и говорит, что, мол, давно назрела необходимость обсудить и пришла пора, и передает слово Полине-суке-Никаноровне, которая, являясь моей непосредственной начальницей, должна, мол, выразить общее мнение, и вскакивает с места Полина Никаноровна и бежит на самодельную трибуну к микрофону, будто комментировать мой наряд, и все будут пялиться и шушукать, а я еще ничего не понимаю, но думаю, чего это все пришли, и даже из дверей высовываются закройщики в дубленых жилетах и с булавками в зубах, и разного возраста швей-мотористки в легких полупрозрачных блузках, чего это все повылезали из своих нор? никогда еще не было столько шума в нашей конторе с тех пор, как загорелся архив в отделе кадров, а я села нога на ногу, а Полина как закричит на меня, что не следует, мол, и что бусы нацепила, а незнакомый мне человек, на ко-

торого, вижу, Виктор Харитоныч всеми силами оглядывается и подражает, тоже говорит, что непорядок и сядьте, наконец, как положено! ну, я села, и Полина начинает про то и про се, про дисциплину и облик, внешний и внутренний, что, мол, внешний мы и так уже только что видели, бусы всякие, а что внутренний такой же, если не хуже, а, стало быть, интересно спросить, что, мол, Тараканова думает, на что надеется, только вроде уже поздно спрашивать, потому что раз, мол, спрашивали, не раз призывали и беседовали, и она сама, и вот Виктор Харитоныч тоже, были такие, мол, беседы, про облик, а только все хуже дело шло, и дисциплина хромала из рук вон, и это пагубно отражалось, а работа специфическая, глаз да глаз, и если досуг отличается безобразием, то это влияет на всех, а не просто личное дело, и вот оказывается, что отличается, что, мол, поступали всякие сигналы, со всех концов, да и я сама не раз видела, когда в поездках со сложным заданием случались непозволительные вещи в виде мужчин, а также алкоголя, причем вплоть до спирта, и ставилось это на вид, особенно мужчины, которые буквально облепляли, как пчелы, да мед, простите за выражение, прогорклый! не наш! и отсутствие дисциплины, о чем всенародно

объявлено, и мы обращали внимание, да только это завуалированное тунеядство, скажем прямо, и незнакомый человек, на которого Виктор Харитоныч стойку делает, поддакивает, и зал, то есть мои, значит, товарки, внимает, и Полина сообщает, что кончилось, что называется, терпение, и пора, мол, решать, и бусы мне не помогут, и нечего ими размахивать, да и порядок в одежде известен, а что у нее бюст живет самостоятельной жизнью и свешивается при купании, она не затронула, но на меня свалила и это, а я все сижу и хлопаю глазами, еще не совсем проснувшимися, потому что, как Ксюша, сном не пренебрегала и невыспавшейся жить не любила, а тут Нина Чиж, что трубочки с заварным кремом любила, покраснела от волнения речи и лепечет, что, мол, ладно бы, если курение и мужчины, которые, как пчелы, да только иное тоже и, дескать, нам это в корне чуждо и непонятно, откуда только такие берутся, а Сема Эпштейн, что заранее выступил, сообщает, что всегда сомневался, да только окружена, мол, была нездоровым климатом, даже — как бы сказать? — преклонения, да что, мол, перед кем, дескать, удивлялись, не перед обманом ли оптическим, потому что климат такой нездоровый, как бы бросает камень в огород Виктора

Харитоныча, да только тот и в ус не дует, а сидит, возмущается и ведет собрание, а закройщики со шпильками в зубах из дверей выглядывают, и я чувствую: дело-то как оборачивается! и тут ни с того ни с сего выбегает Нина Чиж, тоже мне представительница, ну, ладно, Эпштейн, ему что, он по заграницам ездит и местный законодатель, а Нина-то Чиж, представительница несложившейся судьбы, которую я из жалости водила смотреть на оркестр в ресторане, где ее никто не пригласил, пока мы по Нечерноземью путешествовали, и она ни с того ни с сего сообщает, что, случись вдруг война с китайцами, записалась бы Ирина Тараканова в добровольцы и бусы сняла бы? Вопрос, мол, — серьезный, особенно в свете событий, а Полина спешит добавить, что, глядишь, — Тараканова записалась бы не в добровольцы, а в любовницы к пресловутому генералу Власову, такая бы вышла наклад-ка, а мы ее держим, и не полное ли кощунство, что она служит рекламой нашего с вами образа и подобию, походки и даже, если хотите, прически, а с кого, собственно, брать пример? Эпштейн кричит: не с Польши ведь! А я кричу: ну, это слишком! А сама думаю, на что, мол, они намекают, на какого Власова, то есть я знала, не дура, но он-то при чем? Вско-

лыхнулся мой патриотизм и кричу: — Неправда! Это слишком! — А они мне в ответ, что не слишком, а все правильно, и что мне, мол, молчать пора, а не бусами трясти, а я ими трясу и людей ставлю в понятное недоумение, за что и держите ответ перед собравшимися мужчинами и женщинами, и что мне на это, мол, нечего возразить, потому что и так все ясно, а Нина Чиж еще объявляет, что ладно бы, если мужчины и алкоголь и в гостинице постель взъерошенная, а вот если замешаны тут и женщины, да не с лучшей, прямо-таки сказать, стороны, то вот здесь совсем облик проступает зловещий и угрожающий, и Сема Эпштейн говорит, что пощады не будет, а незнакомый человек по фамилии Дугарин даже весь налился кровью и так выразительно на меня посмотрел, что я присмирела и даже отказываться от клеветы не решаюсь, а мне говорят, что это также и в моих интересах послушать, как будто мои поступки не слишком скромны и красивы, а им ли судить? да я промолчала и слушаю тихо.

И потянулась их тогда полная череда, один красивее другого, и все меня сватают в любовницы пресловутого генерала и обнаруживают во мне все новые недостатки, и критикуют, и даже закройщики с недоши-

тыми нарядами выступают, и превозносят свои изделия, и просят, чтобы я эти изделия своими ухищрениями не позорила и не надевала, а я и не слишком хотела, тоже мне дерьма пирог, но все-таки странно мне слышать, а Виктор Харитоныч все возмущается и отводит глаза, а Полина Никаноровна не выдержала и расплакалась от накопившейся не любви ко мне, не выдержала, и тогда Нина Чиж стала ее утешать и предлагать трубочки с заварным кремом, и они стали прожорливо есть на глазах у всей публики, как будто в булочной, а мне даже бусами не дают пошевелить, слетелись на меня, вши лобковые, а я сижу и не отбиваюсь, прислушиваюсь, и уже отшумел Сема Эпштейн, и уже померк в своем неумном гневе неизвестный человек по фамилии Дугарин, тоже приведший некоторые примеры моих опасных влияний на коллектив, что проглядели вы ее и даже, может быть, перехвалили, позарясь на внешность и недооценив внутреннего содержания, и подумала я, что дело клонится к концу, стихает стихия, да не тут-то было: выпархивает на арену мой ангел-хранитель, мой защитник частных интересов, Станислав Альбертович Флавицкий, и говорит, прикартавливая, сладким голосом.

Русская красавица

Станислав Альбертович. Я только с виду чужой, а по настроению очень отчетливый, и я, дорогие мои пациенты, неоднократно образом делал Ирине Владимировне аборт и сбился со счета. Не берусь подсчитать, потому что сбился со счета и точной цифры не помню, хотя медицинская тайна перед вами не играет большого значения, потому что вы воля пославшего вас тред-юниона.

Виктор Харитоныч. Несомненно.

Полина Никаноровна *(плачет)*. У-у-у-у-у!!!!

Нина Чиж. Бом-бом-бом!

Дугарин. Дальше.

Станислав Альбертович *(с воодушевлением)*. И всякий раз поражался!

Виктор Харитоныч. Правильно!

Станислав Альбертович. Я не похож на Ирину Владимировну Тараканову ни сном ни духом, но хорошо припоминаю ее слова о нежелании рожать детей в неволе, хотя как доктор не желаю зла, а желаю, чтобы одумалась.

Полина Никаноровна. Не одумается!

Генерал Власов. Она была моей спутницей связи.

Сема Эпштейн. Преступница! Тавра на тебе нету!

Виктор Ерофеев

Станислав Альбертович.

Мы люди в белых халатах
Мы гневно осуждаем бабушку русского аборта
Мы люди в белых халатах
Бабушку русского аборта не пустим в свой дом!

Полина Никаноровна. Я — Полина Никаноровна.

Станислав Альбертович. Очень несказанно рад!

Зал. Дружба. Дружбааааа!!!!

Закройщики. Гляди, ребята, генерал!

Генерал Власов (*в кандалах, по щиколотки в воде, весь в мышах*). Всеми преступными помыслами обязан Ирине Владимировне Таракановой, итальянской проходимке, сожительнице Муссолини.

Закройщики (*плачут и поют*).

Таракан и паук
В нашем доме живут.
Кандидаты наук
Таракан и паук
Педерасты!!!

Нина Чиж. Бом-бом-бом!

Полина Никаноровна и Станислав Альбертович целуются у всех на глазах.

Русская красавица

Виктор Харитоныч (*яростно аплодирует*). Вот это — дело!

Я (*с криком*). И ты, дедуля!!!

Дедуля, не останавливаясь, проходит мимо меня, сверкая медалями и очками. Он чистил медали зубным порошком. Он не признавал зубной пасты как вредного и опасного нововведения, вводящего народ в заблуждение. Дедуля поднимается на трибуну.

Выступление Дедули.

Дорогие товарищи!

Моя родная внучка, Ирина Владимировна Тараканова

.....
.....
.....
..... (*молчит*).

Виктор Харитоныч. Чего замолчал?

Дедуля (*молчит*).

Виктор Харитоныч. У вас есть текст.

Дедуля. Он у меня выпал.

Виктор Харитоныч (*совещается*). Он у него выпал.

Дедуля. Можно, я так скажу? Без затей.

Дугарин. Говори, старый стахановец!

Дедуля. Ну, начать с того, что, когда из дому выходит, свет никогда не погасит и газо-

вый рожок тоже в ванне оставляет гореть, а от этого пожар может вспыхнуть и все сгорит к чертям собачьим, а я погорельцем быть не желаю, не для того, можно сказать, жил, чтобы в старости погорельцем остаться, а то, что в японском халате кимоно по квартире разгуливает, мне не жалко, разгуливай, коли совести нету, а как вдруг из кровати или из другого какого угла выскочит и давай по телефону разговаривать, это (*к Дугарину*), сынок, другое дело, это меня как больного человека травмирует, и ночевать у нее в комнате остаются, хохочут и брызгаются, будто другого места нет, и опять же вода даже в коридор выливается, и при этом курит в постели, а я волнуйся, не спи, обидно все-таки, если погорельцем на старости лет, или еще другое: однажды, не совру, видел у нее в кровати целую лужу крови, хотел было спросить, но честно скажу, побоялся, все-таки мало ли что, но лужа была, а что в японском халате кимоно ходит — претензий не имею, потому что халат хороший, хотя и мерзость, конечно...

Виктор Харитоныч. Какие отсюда делаешь выводы, Тихон Макарович?

Русская красавица

Дедуля *(вздыхает)*. Какие уж тут выводы...

Виктор Харитоныч. Ну, насчет того, можно ли проживать совместно?

Дедуля. А, это!.. Ну, начать с того, что проживать совместно ввиду угрозы пожара мне как уважаемому человеку совсем вроде бы не к лицу. И никакой ее опеки мне не нужно! К чертям собачьим! (Топают ногами.)

Зал. У-у-у-у-у-у-у-у!!!!

Раздается выстрел. Что это? Это застрелен генерал Власов.

Закройщики (скандируют). Герой-с-дырой! Герой-с-дырой! Герой-с-дырой!

Швея в белой блузке. Девчата! Давайте
вырвем у нее волосы! Выколем булавками
глаза!

Девчата. Давайте!

Виктор Харитоныч (строго). Ну-ну! Не хулиганить!

Нина Чиж (ликуя). Бом-бом-бом!

Сема Эпштейн. Почему застрелился труп генерала Власова?

Полина Никаноровна (*нежно*). Кто ж его знает?

Труп генерала Власова (с южнорусским акцентом). Я не застрелился. Всем поганым во мне я обязан Ирине Таракановой!

Виктор Ерефеев

Виктор Харитоныч (*ко мне*). Ну-с, что скажешь? (*Смотрит с ненавистью.*)

Я (*стоя на трибуне*). Я никогда не любила этого (*в сторону трупа генерала Власова*) человека. Я любила другого. Я очень! Это все из-за него!!! Я... я... я... (*Падаю в обморок.*)

Наступает вечер. По-прежнему лежу без сознания. Ко мне склоняются два знакомых лица. Это Виктор Харитоныч и его подруга, Полина Никаноровна. Наступает вечер того же дня.

Виктор Харитоныч (*Полине Никаноровне, смягчаясь*). Эх ты, сука!

Полина Никаноровна. Извини.

Виктор Харитоныч. Стерва.

Полина Никаноровна. Ну, и что?

Виктор Харитоныч. А ничего! Старая проститутка!

Полина Никаноровна. Кто? Я?

Виктор Харитоныч. Ты.

Полина Никаноровна. Сволочь!

Виктор Харитоныч. Извини.

Полина Никаноровна. Гад!

Виктор Харитоныч. Извини.

Полина Никаноровна. Изверг!

Виктор Харитоныч. Извини.

Полина Никаноровна. Не извиню.

Русская красавица

Виктор Харитоныч. Нет, извинишь!
Полина Никаноровна. Нет.
Виктор Харитоныч. Сука!
Полина Никаноровна. Не извиню.
Виктор Харитоныч. Стерва!
Полина Никаноровна. Молчи. Я ж тебя... Я ж тебя стоячей сиськой ухайдакаю!
Виктор Харитоныч. Такого не бывает.
Полина Никаноровна. Бывает!
Виктор Харитоныч (*неуверенно*). Не бывает.
Полина Никаноровна (*делает угрожающий жест*). Бывает!
Виктор Харитоныч. Уйди! Убью!!!
Полина Никаноровна. Извини.
Виктор Харитоныч. Не извиню!
Полина Никаноровна. Витя!
Виктор Харитоныч. Что Витя?
Полина Никаноровна. Витя...
Виктор Харитоныч (*смягчаясь*). Эх ты, сука!

И как потянулись они друг к другу, пошли на сближение, зашевелилась я на директорском диванчике, давая понять, что очнулась и сознательно присутствую при их внутренних испражнениях, так они устали на меня и видят, что я оживаю, а Полина Никаноровна,

довольная моим выздоровлением по собственным причинам, объясняет Виктору Харитонычу, что, мол, напрасно он волновался и ничего они не переборщили, а поступили согласно расписанию, и Виктор Харитоныч тоже подтянулся и стал выглядеть молодцом, а я говорю слабым голосом, что хочу отправиться восвояси, а они не перечат и смотрят на меня радостно, как на свершившийся факт, и Виктор Харитоныч совсем успокаивается и с Полиной больше не бранится, а очень галантно с ней разговаривает и очень собою доволен, потому что все идет согласно расписанию, никаких уклонов и перегибов, а я облизываю засохшие губы, и волком гляжу на Полину, и говорю, что, может быть, она нас оставит и что мне хотелось бы тет-а-тет с Виктором Харитонычем, но Виктор Харитоныч смущается от моей просьбы и, ссылаясь на поздний час, предлагает найти для меня машину и транспортировать по месту жительства, и сам прячется за Полину, а Полина смотрит на меня, как на раздавленное животное, с некоторой брезгливостью, а я лежу, ослабевшая от потери сознания, и плохо соображаю, однако знаю, что Виктор Харитоныч, в сущности, неплохой человек и что был вынужден, а она бы — сама, и даже больше! то есть даже

бы убила, но он тоже доволен, потому что все прошло как по маслу, ну, я встала, оправилась и, не сказав им худого слова, вышла, ловя такси, а на улице теплый дождь, вечер, народ прогуливается почти что счастливый, и, оглядевшись по сторонам, подходит ко мне незаметной походкой Станислав Альбертович, скрывавшийся где-нибудь в магазине или под аркой, где перекупщики почтовых марок свили гнездо, подходит, прикрывшись черным зонтом, и предлагает вступить в выяснение отношений, а память моя чувствует, что он говорил обо мне компрометирующие речи и даже махал кулаком, что ему не совсем шло как человеку врачебной профессии, а он все просит его не то чтобы понять, но выслушать, и намекает, что меня дождался, потому что все-таки не очень это трусливое дело дожидаться меня и предложить взять под руку и отвести домой, когда тень нависла надо мною и мне плохо, и даже покачивает, а он объясняет, что попал в исключительные обстоятельства и просит его понять, а если не понять, то, по крайней мере, отметить его беспокойство, и я ничего не возражаю, но только мне не до него, чувствую, что наступают решительные перемены и, как сказал Виктор Харитоныч, судьбоносные дни, а куда мне прикажете

ехать, не к дедуле же, который, однако, исчез в этом дожде, и куда мне деться, и я не слушаю разговора Станислава Альбертовича, а сажусь в такси и называю свой адрес, оставляя Флавицкого под черным зонтом на скользкой брусчатке, на полуслове его признаний, а что мне они, да я не против, только он не поможет, но кто же заступится? Вот что меня занимало, пока я ехала через город, слабея и оживая, то в поту, то в ознобе, потому что сколько времени провела в беспамятстве, не помню, и где оно началось, затрудняюсь сказать, да и кончилось ли? Потому что навалилось на меня чувство беспамятства от мысли, что меня ненавидят, так как с ненавистью жить — дело новое, нет, конечно, бывало и раньше, но чтобы все вместе и аплодировали, когда я падала в обморок, и Нина Чиж раздавала всем ванильные трубочки, а мне не дала, только куда я еду? И все-таки я ехала домой, потому что с дедулей, Тихоном Макаровичем, хотела в первую голову разобраться и понять, куда все клонится, а уже потом хлопнуть дверью, но думать пока не хотелось, потому что от неожиданности очень устала, и руки не слушались, а в мозгу звон и странные крики доносятся, и почему они меня на свидание позвали, понимаю, но все-таки могли бы преду-

предить по-хорошему, а то получилось неловко, неподготовленно, ну, позвал бы меня Виктор Харитоныч и сказал бы, что мы тебя пожурим и уволим, а ты порыдай и пострадай у всех на глазах, как положено, — пожалуйста, я готова, я бы порыдала и тут же призналась, но они не хотели даже выслушать, а сразу закричали со всех сторон, и полезли незнакомые лица, и даже этот самый генерал, как будто у меня с ним были дела, а ведь ничего не было, и он обожал позу собачьей покорности, и мне бы ему объяснить ситуацию, только бы добратся до дома, и тут отмечаю, впервые все как-то нетвердо и шатко, и отделить невозможно такси от обиды, шепот закройщиков от собственных рук и волос, и отказалась я решать этот серьезный вопрос, эти выдумки генеральского сорта, а приехала к дедуле, отперла дверь и думаю: вот сейчас напоследок ему задам, а он стоит на кухне, при плите, в фартуке в красный горошек и жарит треску, а как увидел меня, весь обрадовался и ко мне, а я ему сухо отвечаю, что этих нежностей не понимаю, а что лучше поменьше бы он радовался, потому что все-таки родственник, а он мне на это, что радуется не понапрасну, а рад меня видеть живой и здоровой, значит, подтвердились его прогнозы и вышло по его веле-

нию, а то он было несколько приуныл, потому как час поздний, а я все не шла и не шла, а я ему говорю — что же ты меня оставил? и какие еще прогнозы? а он мне отвечает, что давай лучше, Ируня, выпьем на радостях, и лезет в холодильник, и вынимает поллитру кубанской с винтом, и ставит на стол, а на столе закуска — огурчики-помидорчики, шпроты, сервелат, и треска шипит на плите, я ему говорю, ты в своем умишке, старый хрен? какая радость? меня отсюда вышибают со страшной силой, и я лечу вверх тормашками в свою глубинку куковать, а он мне на это: стоит ли печалиться? разве в этом счастье? ведь все обошлось по-хорошему! — Ничего себе! — Милая моя, отвечает, будто я жизни не знаю, а я тоже будто не знаю! только мы по-разному знаем, и он всяческий пессимизм разводит, и глядит на меня то с дрожью, то с уважением, и намекает, что, мол, в курсе последних событий и причина некролога ему прояснилась, и в свете такого прояснения странно ему меня видеть в печали, а я говорю: что же мне радоваться, коли мой дедуля меня так отменно закладывает, а он удивляется: это я-то тебя закладывал, когда я тебя каждым словом своим выгораживал! — а я ему: а чего же ты, старая дрянь, заранее мне ничего не

сказал? хотя бы с утра, чтобы я приготовилась и немного иначе явилась, хотя бы без бус и не в Ксюшином платье, а как-нибудь, как монашенка, а он говорит: так нужно было! — кому? — как кому?! — не понимаю его, продолжаю выпытывать: почему сделал подлость? — он не понимает, говорит, что от всего сердца, и сразу потребовал огородить меня от посягательств, на том и сторговались, потому и пошел, потому все так славно и кончилось, хотя, говорит, я заметно поотстал от современной жизни и не могу в толк взять, почто тебе такая поблажка вышла, и не все слова понимал, хотя и старался, а я говорю: почему же ты выступил?! — а он: а как же мне не выступить, если я сознательный человек и жить-поживать хочу, не желая тебе зла, а докладик-то, говорит, я в сортир спустил, как тебе нравится? — не нравится, говорю, — а зря, отвечает, там были похлеще формулировочки, пообиднее, и мне не понравилось, я, значит, подумал-подумал и в канализацию спускаю сегодня утром, а сам дурачком обернулся, ну вроде как маразматик, а для большего веса медали и значки надел, чтобы знали, что и я — человек! — Плевать они хотели на твои ржавые медали! — говорю я. — Ты мне объясни, почему полез выступать, а меня заранее не уведомил? — Ну,

говорит, ничего ты не понимаешь, давай лучше выпьем — ну, думаю, выпьет, расскажет, — а сама думаю: он меня, говорит, не закладывал, а сам что говорил! про какую-то лужу крови! а? это не закладывал?! — он говорит: про лужу со страху присочинил, а то они все на меня смотрят и ждут, а я говорю какие-то легкие частности, еще, чего доброго, рассерчают на меня за нарушение пакта, и оба пострадаем, а так, мол, пожалуйста, приезжай, когда хочешь, они понаблюдают годик-другой, а потом надоест, примелькаешься, а то, что тебя с работы уволили... — как уволили?! — а то как же? — нет, говорю, я не в курсе, я со слабостью и дурнотою боролась, ну, вот, говорит, малахольная, а еще пускаешься в разные приключения, не зря я тебя не хотел брать к себе, а ты клялась здоровьем родителей, так и знал, худо кончится дело, вот и кончилось, хотя ты, конечно, высоко взлетела, если правда все это про Владимира Сергеевича, который, доложу тебе, однажды мне руку пожал на слете ударников, когда я был еще необразованным человеком и не знал, как измерить градусником температуру тела и раздавил его в койке, попав от перевыполнения плана в больницу, а когда выздоровел, узнаю, что я норму ста пятидесяти негритянских

землекопов один выполнил, вот и надорвался, а все шумят от восторга, выступают на митинге, одобряют договор между Молотовым и Риббентропом, а как поздравлять стали, Владимир Сергеевич тоже мне руку пожал как почетный гость, а ты, стало быть, тоже его знала...

Я выпила полстаканчика водки, чтобы согреться, но рассказывать ничего не пожелала, да он и не настаивал, а напротив, захмелел и сам пустился в историю, но сказал, что от продолжения карьеры поуберегся, оттого и остался жить, потому что всегда довольствовался малым и, слава Богу, жизнь прожил не то что некоторые, которые высоко поднимались и больно падали, а он жил, ровно дышал и никогда не был обиженным человеком, и что, пока суд да дело, могу у него несколько деньков еще побыть, а уж потом, конечно, нужно сматывать удочки, такой у них пакт, а пока сиди и кушай, вон грибочки маринованные бери, специально открыл, он налил: — выпьем! — он выпил и совсем закосел. Сволочь ты все-таки, — сказала я ему усталым голосом. — Это я сволочь? — оживился после водки дедуля. — Это они сволочи, они, родненькие, мерзавцы, хотя не нам, грешным, судить, но все-таки сволочи, ох, сволочи, хотя не совсем... Ну, выгнали — ну, поду-

маешь, с работы выгнали! Я, милая моя, их сразу спросил: что вы с ней собираетесь делать? — Так и так, отвечают, с работы уволим. — Это правильно, говорю, а дальше? — А они говорят: других намерений не имеем. Как, сомневаюсь, только выгоните? Да, отвечают, но вы нам тоже помогите, чтобы в Москве ее духа не было!.. Ну, тогда, отвечаю, помогу, гоните ее в шею ради светлой памяти Владимира Сергеевича, который мне однажды руку пожал в Колонном зале и которого с тех пор уважаю, а ее гоните, с работы гоните и из Москвы, нечего ей в Москве делать, гоните! А сам думаю: вот до чего дожили! Вредительницу с работы увольняют! — Дедуля пьяновато рассмеялся. — Увольняют и не трогают, как будто при Николае! Вот, думаю, дела, но все-таки не верил, грибочки открываю, а сам думаю: час-то поздний... Как то есть не трогают! — закричала я слабым, но дурным голосом. — Как не трогают! Из Москвы высылают! — Глупая! — хохочет дедуля и сверкает весело очками. — Разве это трогают? Это, Ирунь, несерьезный разговор! — машет он в мою сторону вилкой с наколотым на нее крепким грибком. — Это ты мне даже не говори!

Мы снова выпили, и оба уже тепленькие, и дедуля, сверкающий стеклами своих

допотопных роговых очков, и я, немного уставшая от всей этой истории, но — подожди! — сказала я дедуле. — Я этому Виктору Харитонычу еще покажу! — Но дедуля не слышал, потому что он сам хотел говорить и вспоминать, а вспоминал он всегда одно и то же, как выполнил за смену норму ста пятидесяти негритянских землекопов, как попал после этого в больницу и не знал, куда вставить градусник, и он его раздавил под одеялом от большого смущения, и ловил руками лужицу ртути, и как однажды он положил мороженое в карман парусиновых брюк, когда с бабушкой они пошли в зоопарк, и как эскимо растаяло в кармане, а он не заметил — да как же ты не заметил?! — всегда удивлялась я, — а вот так, увлекся разными животными... а бабушка потом меня обругала. — Стервозная, что ли, была? — спрашивала я, потому что всегда не любила стервозных и истерических женщин, которые любят порядок наводить и сатанеют, стирая белье и гладя. — Всяко бывало, — уклончиво соглашался дедуля, но возвращался к событиям Колонного зала. — Я тебе вот что доложу, сказал дедуля, мне твой Владимир Сергеевич, честно сказать, не понравился, когда он мне руку жал как почетный гость. А не понравился, и

Виктор Ерофеев

все! — продолжал дедуля. — И я ему пожал руку без всякого удовольствия, хотя человек, конечно, незаурядный и руку он мне первый протянул. — Ну, не понравился и не надо! — сказала я миролюбиво, ослабев от водки, потому что мы усидели бутылку, а я была с обморока, и мне было нехорошо, и мы с ним выпили за то, чтобы земля Владимиру Сергеевичу стала пухом, а я видела мужчин, в том числе и Виктора Харитоныча, в самом беззащитном состоянии, потому что проникла в историю через заднюю дверь, и мне всегда было интересно, что бы случилось, если бы я вдруг взяла и стиснула зубы. Но дедуля считал, что все они, знаменитости, горькие пьяницы и развратники, а разврат у него начинался с посещения ресторана, и искал этому подтверждения в моих словах, но я была немного выпившая и не стала спорить, и все-таки, сказал он, я отстал от современного времени и хотя все понял, когда тебя разоблачали, одного не понял: лесбиянка... Это что еще за новый ярлык на людей стали вешать?

Я не стала ему объяснять, отмахнулась: мол, тоже липа, поскорее ушла к себе. Дедуля не убедил. Я не хотела уезжать из Москвы! Я обожаю Москву!!! Я опрокинулась на кровать и заснула.

Мой мальчик стучит у меня под сердцем. Пульсирует. Я привыкаю к нему. Нотабене: подумать о гигроскопических пеленках, сосках-пустышках, английском тальке, наконец, о коляске!!! На днях на Тверском видела коляску из джинсовой ткани. Хочу такую! Когда-нибудь он всех вас к ногтю. Совсем нет времени писать. Вяжу одеяльце.

Мир все-таки не такой тесный, как его малюют. Иногда потянешься, расправишь руки — и можно жить. Но тогда, после собрания, у меня все, что могло, опустилось. Даже Ритуля и то побаивалась. Кстати, где она была во время собрания? Ритуля говорила, что ей за меня досталось. Ее вызывали к Виктору Харитоничу, и тот ее пугал. Идет коза рогатая... У-у-у! Ритуля кричала, забившись в угол. Полина тоже стала ее покусывать, но Ритуля ска-

зала мне, что она выйдет замуж и бросит работать, потому что женщине вредно работать.

Ритуля не пропадет. Она зализала свои стыдливые раны и готовится разорить армянина по имени Гамлет. Это грустно, потому что если все они назовут себя Гамлетами, то где тогда Гамлет? Ритуля его разорит, это точно, она уже начала его разорять, я видела перстень с рубином, она хвалилась и сказала, что Гамлет согласен на мою беременность (Ритуля обуглилась от любопытства), то есть ему все равно.

Лукавый дедуля за ночь придумал спасительный план. Он уложил себя в больницу. Тогда я тоже на всякий случай принялась звонить, потому что Виктор Харитоныч уклонился от тет-а-тета (сука ты последняя, Витенька, как пососать, так меня зовешь, а как поговорить по душам раз в жизни — бздишь!), и я стала звонить, а они помалкивали, и тихонько сидели, и не находили нужных слов, и у меня все опустилось, и даже Шохрат, с которым облетали мы мусульманские минареты на самолете Як-40, красивый такой самолетик, а началось с того, что Шохрат жил в номере по соседству, в Сочи, где мы были на гастролях, и Ритулька тоже была, и повадилась я на просторном балконе гимнастику делать, а Шохрат усмотрел из своего люкса и стал

рваться в номер, его распирало от счастья со мной познакомиться, чучмек есть чучмек, ему вынь да положь, сорит деньгами и коньяк мечет на стол, дыни сладкие, потому что бай и нетерпелив, а наши мужики что?

И тогда я подумала: отчего они такие, как заколдованные? отчего ходят понурые и будто обоссанные, несмотря на моральное превосходство? Кто их заколдовал?! А Вероника говорит: тебе никогда не снились сны про обидчика? А я говорю: Милая моя! Мне такие сны каждую ночь снятся, а она говорит: — Ну, тогда слушай меня, а Шохрат откликается потус-торонним голосом, что до лучших, дескать, времен, и он пронюхал, ушастый, губастый, носастый, глазастый и волосатый даже на спине, я этого не люблю, но приходилось иногда: кабанчик, а потом позвонила Гавлееву, и тот сказал, что обязательно перезвонит, как только вернется из командировки, но он не вернулся из командировки, а как любил позу собачьей покорности! И я всех их стала вытаскивать из трюмо и трясти, в котором они отражались, как в нафталине, поодиночке и вместе, разные люди, крапленые карты, колода вале-тов, тузов, королей, но они стушевались и думали, что я их пугаю, а я от них совета просила, ничего больше, и не хотелось к папаше-

краснодеревщику, и Виктор Харитоныч, с потеющей мордой, отмалчивался, и Ритулю наставлял: не дружи с ней! Но спать с Ритулей — не спал, или врут они оба, не знаю, Ритулю не поймешь, она хитрая, но все-таки она меня не совсем тогда оставила, приходила вечерами, даже всплакнула, но на вопрос: что делать? — разводила молодыми руками. Послушать ее, ехать мне надобно в родную деревню и быть там, вроде, первой бабой, то есть блистать августовскими прелестями, а была я сбитень, ну, истинный сбитень, но формы, конечно, немного устали, хотя по-прежнему отказываюсь от лишнего груза бюстгальтера и ненавижу как неизбежное! Однако пришлось надеть. Как намордник. Я женщина беременная, и если вам не нравится, к е м, то уж, пожалуйста, не думайте, что я послушаюсь ваших угроз. Я вам такое дитятко рожу, такое яичко высижу — зубы выпадут!..

Ой, шевелится!.. Шевелись! Шевелись!

(Вяжу одеяльце.)

На следующий день дедуля вышел в палисадник, и я видела из-под занавесочки второго этажа, как он вел разговоры с соседскими старперами и удивлялся тому, какие нашел перемены: — Это же надо, как времена поменялись! — разглагольствовал он, присматриваясь

к игрокам в домино. — Это же надо! — И он огорчился и беспокоился как патриот: — Если так дальше будет продолжаться, следующий катаклизм мы, того и гляди, проиграем! Это что же такое делается!

Он очень беспокоился и кружил вокруг игроков в домино озадаченный, а после обеда заказал, ссылаясь на сердце, скорую помощь, сложил пижаму, стоптанные тапочки, бритву, ретро-обращение «На проводе!», пачку любимого «Юбилейного» печенья в вещмешок, осунулся и закричал, когда в дверях мелькнули белые халаты, он немного переиграл, и его скоропостижно увезли под вой сирены, даже мне не подмигнул напоследок, и осталась я наедине с трюмо, и телефон замолк, будто отключили за неплату, и только Ритуля навещала, но толку от нее чуть, а ласки не шли мне в голову, и слушать ее не хотелось, как Виктор Харитоныч на моей истории собирался круто пойти в гору, потому что все у него вышло отлично, и за это полагалось ему вознаграждение, а у Полины мелькнула была мысль подсесть Харитоныча и водрузиться в кресле, чтобы воевать с молодыми закройщиками как директрисе, да только рыльце у нее в пушку, и Виктор Харитоныч элементарно ее сделал, и она, захлебывалась Ритуля, ползала перед ним на брюхе, а мне было сов-

сем без разницы и даже восстанавливаться в их поганой лавочке не хотелось, хотя ничего они мне не сказали, даже записочки не прислали о том, что уволили.

Уволили — и дело с концом, а я сиди и думай, что дальше выдумать, а телефон молчит, и когда захотелось мне несколько отдохнуть от последних событий, Шохрат сослался на лучшие времена, Карлоса расстреляли в застенках, а Дато — что Дато, он восемь месяцев в командировках, а как вернется, все занят, на рояле тренируется, слова ласкового не вымолвит, тоже мне муж! и порадовалась я, что не вышла за ненадежного человека замуж, потому что всегда его нет под боком, а как увезли дедулю, то решила пожаловаться Ксюше, описать свое бедственное положение, и стала писать ей письмо, в котором все описала и очень жалею, что ее не хватает, и не успела я ждать ответа, как верная подруга звонит по международному автомату со станции Фонтенбло, где грушевый сад и Наполеон, и говорит, чтобы я держалась, потому что она скоро приедет и меня любит, и чтобы я не тосковала, как будто это возможно, и смотрю: действительно, приезжает, вся в претензии к заграничной жизни, к заграничным русским, с которыми поругалась, и с испанцем своим, бухгалтером,

Русская красавица

тоже поругалась, хотя к испанцам вообще относится хорошо, лучше даже, чем к другим, и всем она недовольна, но, прерывает себя, хватит об этом, поговорим о тебе, и я стала ей объяснять, как дедуля рассказал про легендарную лужу крови, которой отродясь не бывало в моей постели, и она все слушала с предельным вниманием нежной подружки, положив мою поруганную голову к себе на плечо, а я ей все плакалась, запивая мартини, как обиженная малолетка, а она меня утешала, и мы снова вспомнили Коктебель, роскошные ночи и светлые дни и вздыхали, как две полысевшие климактерички, но вдруг она взглянула на меня своими умными глазами, которые редко у кого встретишь, идя по улице, посмотрела (пишу, а по радио исполняют «Голубую рапсодию» Гершвина) так внимательно и весело, что я поняла: она что-то придумала, и она придумала, только не знала, соглашусь ли я, потому что терять мне, конечно, нечего, но все-таки кое-что я могу еще потерять, и я сказала: терять мне совершенно нечего, а в родную дыру уезжать не хочу по причине того, что там в темных сенях цветет квашеная капуста, а она обрадовалась: давай вместе повесимся в одночасье, ты в своем родном городе, а я — в незнакомом тебе поселке Фонтенбло француз-

ской железной дороги, потому что французы надменные и говнистые, и они думают, что лучше их нет никого, а лучше их, например, безусловно, испанцы, хотя я со своим бухгалтером поссорилась за три часа до совместной поездки в Гренаду, всюду-то она поспеет! но дело не в этом: давай, солнышко, повесимся, а то тошно мне стало выносить моего стоматолога Рене, всякое терпение кончилось, а иначе я его отравлю, я — мадам Бовари! но если не травиться мышьяком и не вешаться, то у меня есть одна идея, которая, говорит, может показаться тебе экстремальной, и вспоминает она про ту карточку, которую мама моя обнаружила в книжном шкафу, в собрании сочинений Джека Лондона, когда я после ресторана в Архангельском, где было, как всегда, немного шумно и утомительно, и подавали жесткую лосятину, и пахло офицерским развратом, поехала в гости на чужую квартиру, и там поляроид достал меня в интересной компании, и когда мамаша увидела, я думала, она закричит: это что?! — потому что по виду она — типичная уборщица с глубоко посаженными глазами и шестимесячной завивкой, и с сережками за трояк, купленными в табачном ларьке, но она не закричала, а посмотрела не то чтобы с одобрением, но без ужаса, и говорит: — Ин-

тересное дело... — и еще раз посмотрела, а я, конечно, немного смутилась, а потом Дато возил ее с собой по всем странам, так что я, можно сказать, объездила полмира в его портмоне. Ксюша спрашивает: а что, если?.. — и мне предлагает замысловатый план, потому что и так плохо, и так нехорошо, а я говорю: тут стоит подумать, потому что гнев, говорю, большой, на своей шкуре убедилась, и больше не надо, а Ксюша говорит: к своему папочке удивительному хочешь вернуться? Ну, вот, я тоже думаю, что не хочешь. А я говорю: да кому я нужна? хотя, оговариваюсь, остаюсь быть красавицей, но с нервами плохо, от кофе знобит, устала и душа просит семейной размеренной жизни, да только где она, эта жизнь? А Ксюша говорит: как хочешь, дело твое, но так получается, что ты вдовее настоящей вдовы, Зинаиды Васильевны, потому что у той дача и паскуда Антошка, а ты — в круглых дурах, и годы зря протекли, а вдобавок тебя обижают и обвиняют, солнышко, это уже совсем некрасиво, и смотрю — стала она совершенной француженкой, и был это ее последний приезд сюда, потому что затем называли ее незаслуженно даже шпионкой, и меня Сергей и Николай Ивановичи, два журналиста, о ней очень подробно расспрашивали: кто, говорят,

эта Ксенья Мочульская, ваша лучшая подруга? А я говорю: была когда-то подругой, так темно, потому что Ксюше, конечно, все равно, она далеко, на другом свете в грушевом саду прогуливается, и птицы поют над ее головой, а я с братьями Ивановичами, но с фальшивыми: один белобрысый, с неровной кожей лица, а другой вдумчивый такой и все понимает. Нет, говорю, раньше — другое дело, то есть от дружбы не отказываюсь, а скорее предлагаю им что-нибудь выпить, только вдруг вдумчивый соглашается, вдумчивый Иванович, а белобрысый (это они потом про любовь написали что-то совсем туманное) — так вот второй говорит, что спасибо, холодным голосом, и посмотрели они осуждающе друг на друга, потому что не поделили они свои слова, а я говорю: бросьте эти шутки, ребята! Давайте выпейте, а сама через плечо в заповедный журнальчик на себя любуюсь, через их затруднение смотрю на то, что они принесли, и скажу прямо: хорошо получилось! самой приятно!

И тогда мы стали думать.

А у Ксюши был один друг-профессионал, он ее еще по Москве очень уважал и, по-моему, не без успеха, а сам интересовался другими отношениями, ну, да я к этому с добрым чувством, все равно как к коллеге, только

Ксюша говорит: знаешь что? нечего тебе быть одной, раз пострадала, найдутся, кто посочувствует, а я говорю: все, как крысы, разбежались и тихонечко по углам сидят, даже спать не с кем, а кто остался, те совсем мелкота, несерьезно, а что серьезно, так это вот какое дело: есть, говорит, такие приятели, и спрашивает, давно ли я не виделась с Мерзляковым, с которым у меня в свое время разыгралась шестидневная любовь очень стремительного масштаба, да только закончилась она вялой дружбой, и стали мы с ним перепихиваться раз в полгода, как старосветские помещики, ну вот, говорит Ксюша, это хорошо, и я тоже подумала, что можно и позвонить, и стала звонить, а у него там жена, а я не люблю подводить людей, не то что Ритуля, она и японца-фирмача заразила, и японец помчался сломя ноги в Японию, а раньше всякие шмотки, такие были отношения, а я не люблю подводить, Ксюша знает, и Ксюшу я тоже не подвела, потому что Ксюшу Ивановичи сами вычислили, они помозговали и вычислили, и меня спрашивают: не она ли? А я говорю: во всяком случае, я тут ни при чем, и говорю им, а в чем, собственно, дело? Что, говорю я, я разве чужое выставила на обозрение, а не свое кровное? Нет, говорят, нельзя отрицать, что красиво,

сразу видно, что мастер фотографировал. Я говорю: я сама фотографировала. Не верят. А мне все равно. И приходит тогда Ксюшин друг, добрый Х., с развевающимися фалдами вельвета, и она вместе с ним, а Витасику я накануне позвонила, и он обещал намеками тоже как-нибудь заглянуть, потому что все дома, а Ксюша мне говорит: ты ему не все сразу говори, ты просто подружись с ним заново, она любила всякие комбинации строить, а с Вероникой, спрашивает, ты как? — Нормально, только она же ведьма, не поможет. Почему? — удивляется Ксюша, вполне может стать, только позже, а сейчас пусть придет Х., и приходит Х. со своей славной заграничной аппаратурой, и Ксюша мне говорит: важно выдерживать стиль, настроение. Какое, говорит, у тебя настроение? Сама знаешь, а она говорит: значит, что-то такое траурное, это всегда любопытно, а я ей рассказываю под руку, как надевала по случаю прощания с Леонардиком свое черное рубище, только, беспокоюсь, не будет ли оно меня окончательно старить? Ну, говорит Ксюша, ты, солнышко, абсолютная дура, потому что ты еще ой-ой-ой! А я говорю: хорошо, и достаю печальный наряд, а Х. ходит вокруг как ни в чем не бывало и болтает, болтает, болтает, как хирург перед операцией, ну,

свой человек, и у меня никакого зажима, да я с этим делом знакома, соображаю: нечто грустное должно получиться, лирическое, без этого, добавляет Ксюша, обязательного парада оптимизма, который торжествует в Америке, где над умными людьми смеются и умным людям в лицо говорят такую поговорку: если ты такой умный, то почему ты не богатый? Х. захохотал. Вот, говорит весело Ксюша, какие поговорки бытуют в Америке! а если книжку какую-нибудь купят и прочтут, то немедленно начинают гордиться, как в анекдоте про милиционера, а еще, говорит Ксюша, они очень-очень милые и искренние, даже щедрые, правда, не все, но зато очень искренние: глупые прекрасные люди — прекрасно! — соглашается Х., мягко всматриваясь в меня, чуть ниже! ниже! прекрасно! — потому что глупость свою в отличие от комплексушников совсем не скрывают — еще разок! — просит Х., ну, я говорю, у нас тоже не слишком глубоко скрывают, а как по части любви? — тут, признает Ксюша, им искренность помогает, а правда, справляется Х., что у них там мужские стриптизы? — Ксюшу разбирает смех, перестаньте вы, сердится Х., все настроение смажете, Ксюша спохватывается, но что искренность — это добродетель, — в этом она

сомневается, потому что в лучшем случае — приоткрой ротик... вот так... Ксюша, поговори о чем-нибудь печальном, о вреде курения или о раке молочной железы — потому что в лучшем случае это украшение добродетели, и мне кажется, Ксюша совсем офранцузилась: вдаётся в детали, и ей было приятно сесть обратно в самолет Эр Франс, как будто уже дома, а Рене ездил в Штаты доклады делать и тоже их там всех презирал, а они ему сказали: знаешь что? Если будешь, дубина, нас презирать, в другой раз, когда понадобится, не освободим вашу милую Францию, сидите в жопе, а он обиделся и говорит: они здесь совершенные хамы, собирайся, ма шат, поедem домой, но к русским, пишет она в письме, в целом относятся хорошо, хотя ни черта не ведают, потому что опять-таки очень глупые люди, а так ничего, в любви разбираются, только ухаживают по-глупому: на свидании книжки по научной фантастике пересказывают и фильмы о летающих тарелках предлагают вместе смотреть и сами приходят в дикий восторг от всякого говна, и не знаю: может ли такая нация поумнеть хоть немного в условиях своей глупейшей демократии, потому что, солнышко ты мое, Ирина Владимировна, их демократия имеет многочисленные изъяны, о чем сообщу

Русская красавица

тебе дополнительно или вообще не напишу, потому что тебе, наверное, на их демократию ровным счетом наплевать. Отвечаю: в этом пункте, милая Ксюша, ты недалеко ушла от истины, потому что в политику не лезу не только потому, что в ней ничего не понимаю, а еще и потому, что смысла в ней не нахожу, одни неприятности, так как и так жизнь моя полна событий, а насчет американцев с тобой не согласна, поскольку глупая нация не может выпустить человека на Луну и такой красивый журнал, как «Америка», издавать, на который я тоже подписана стараниями моего Виктора Харитоныча, который имеет большой выбор совершенно необходимых знакомств от банщика до ювелира, и в этом отношении к себе располагает, а это было еще до его возмутительного поведения, а что касается твоих рассуждений об Америке, то сейчас, когда лучшие женщины этой страны вступились за меня, только они уже этого не помнят, потому что каждый день за кого-нибудь хлопчут, иронизирует Ксюша, неправда! — хмурюсь я, — прекрасно помнят! И не зря миллионы американцев пришли в неподдельный восторг от моих красот и дробчатся, задрав голову, и пусть они не читатели книжек, в отличие от тебя или меня, Ксюша, пусть чтение книжек

будет нашим, русским делом, от которого только болит голова да проходят годы, нет, Ксюша, пока на меня дробится Америка, на мои похоронные принадлежности, я к Америке своего отношения менять не думаю, а ты как француженка живи своими идеалами! А тут фотограф Х. говорит, что ему наша затея нравится и что пошлости он не потерпит, а сделает все, как положено, на высоком художественном уровне, достойном, например, Ренуара. Нет уж, спасибо вам, возразила я, такие толстожопые и сисястые, как подтаявшее эскимо, пусть остаются в прошлом, а вы подберите другой ключ, и вообще учтите: моя красота очень русская! И Ксюша Мочульская, моя Ксюша, говорит: у тебя, солнышко, народная красота! А американцы, добавляет, все-таки глупые, потому что однажды в Чикаго я смотрела передачу по местному телевидению, как в зоопарк привезли белого медведя, и они все обсуждали вопрос белого медведя, обсуждали и никак не могли обсудить. Но фотограф Х., родом из театрального города Ленинграда, говорит: ну, тогда я знаю, что делать! Только ты не стесняйся, говорит Ксюша, а чего мне стесняться, товар не залежавшийся, а Ксюша говорит: а потом будем пить и веселиться, и фотограф говорит: обязательно.

Засучил рукава, сбросил вельветовый пиджачок, лампы расставил, юпитеры и озарил ярким светом мою зрелую красоту и великолепие, и ахнула Ксюша в ладошку, дивясь потаенной роскоши, и пришел в изумление бесстрастный профессионал, повествуя об одиночестве истинной вдовы, о ее печали и робких попытках успокоения перед трюмо, где трофейные духи стоят попеременно с баллонами лаков, и отразилась я на фоне гудящего газоаппарата, удивившего своей радикальной конструкцией заморского мастурбатора, и открылась я, и черные тоненькие чулки поднялись в воздух, и оглянулась я в полусумраке, приветствуя радостного читателя, и плачу, и скорблю, вспоминая безвременно минувшего супруга, но вот уже покраснелась от одинокой муки щека, и участилось неровное дыхание, и прикрылись воспаленные, отуманенные слезами и думами глазки, и бешеным цветом зажглась рыжая лиса моей шубы, и возвестило зияние раны, что я, подстреленная вдова, вспомнила нежность супруга и остаюсь ей верна, а жизнь продолжается, несмотря на печальные принадлежности, переполох нарядов и тошноту зеленых очей, что вдруг становятся серыми, сирыми, серыми, и вновь удивлен американский клиент, не понимающий российских превращений, и так да-

лее, покуда гудящий газоаппарат не примет меня под свою взрывоопасную опеку и струи воды не сверзятся на лесные красоты: там земляника спеет в соседстве с иван-да-марьей, там пахнет елочными иголками, там знойная тишина, излучина реки и косогор, поросший сосной, чьи цепкие корни похожи на пятерню пианиста, о, мой Дато! но гудящий газоаппарат гудит и выделяет тепло, которое мне никогда не заменит нежность супруга, погибшего от трепета романтических будней, охваченного спазмом Валдайской возвышенности, которого не понял, как ни старался понять, странствующий маркиз образца тысяча восемьсот тридцать девятого года, но жизнь продолжается, льется вода, и мыло скользит между пальцев, и пляшет неустойчивая табуретка, и если тоска не проходит и не пройдет, то боль затихает, замирает, из горечи лекарства проглоченный стрептоцид растворяется в сладкое марево, если не запивать, и не нужно запивать, не нужно прятать слез, пусть ровным и лучезарным потоком! а черные тонкие, безо всяких кружев, чулки стоят будто рамки некролога, и сквозь ткань траурного рубища светится закатным светом изгиб, излучина, пыльная дорога, утопая в белых простынях, черное-белое, белое-черное, и только волосы мои дружны с рыжей лисицей,

Русская красавица

и я, поднимая их кончиками пальцев вверх, вверх, скорблю.

Ища бегущие моменты красоты, Х. извивался. Ксюша смотрела на меня с таким разливом любви, что не могла не запечатлеться бесплотным бликом, и даже мелькнула на одной из них в роли ангела-утешителя, слетающего на землю, дабы сообщить, что супруг доставлен в целости и сохранности, и мы обнялись, и она схоронила в моих волосах ангельское лицо, и только груди дышали трогательным изъясном, и братья, тыкая в груди, задали вопрос: не Ксения ли это Мочульская, сменившая гражданство? Ирина Владимировна! Это, простите, не идет к вашему лицу, хотя формальных претензий, а раз не имеете, сказала я, то выпьем, ребята, и близнецы выпили коньячку и в общем и целом понравились мне, ребята хорошие, и очень внимательно были склонные меня выслушать, только на Ксюшу осерчали бесповоротно, а фотограф Х. был вполне удовлетворен, и мы стали ждать результатов, как школьницы, а я пела Ксюше новые куплеты про цыган:

Цыгане любят люто
Твердую валюту... —

и разъезжали на розовом авто, пугая прохожих, а после подоспели результаты, и они бы-

ли великолепны, и мы закричали от счастья, так были красивы эти невиданные картинки, и Ксюша потребовала, чтобы Х. отдал негативы, и он с сожалением расстался с ними и заломил сумму, хотя и по дружбе, но ссылаясь на долги и неустроенный быт, поскольку недавно разошелся с женой по причинам принципиального свойства, но вдруг к нему вновь возвращается любовь к семье, к маленьким детям, однако было поздно, и он, горюя, отъезжал в свой город и увозил тайну, умоляя не разглашать, и никто не узнает.

Я тоже собрала Ксюшу в дорогу и на вопрос — как ваша красота там оказалась, отвечала честно: понятия не имею, потому что даже не догадываюсь, но я всегда была против, потому что красивая женщина, это, мальчики, национальное достояние, а не просто дешевка, предназначенная на извоз, только охотников до нее великое множество, включая Виктора Харитоныча, который туда и передал. И они говорят: нам нужны русские красавицы! — а я им на то, посмеиваясь: еще бы! как не нужны! — и они смотрят на меня с интересом, и я предлагаю: давайте дружить! А они: почему бы и нет? А это кто? — И пальцем в Ксюшу, чье умное личико у меня в волосах, а я говорю: какая, мол, разница? Ну, знако-

мая... — А они: это Ксенья Мочульская, темная женщина — что??? — если вы Ксюшу Мочульскую считаете темной женщиной, то покажите мне светлую! И еще говорю: уж если искать виновника, по причине которого вышел конфуз, то известен ли вам Виктор Харитоныч? — так Харитоныча спешила подзаложить, но не из мести, а потому, что негоже на мне плясать и измываться, когда я потеряла сознание, и потом даже не объясниться! А потому что сдрейфил и боялся, что Полина, знаете Полину? — его разоблачит как моего любовника, только не всякий тот любовник, с кем спишь, и тогда, мальчики, мне стало вдвойне обидно, потому что нельзя так поступать с людьми, а они поступают.

Ксюша немедленно развила бурную деятельность (увиджусь ли я с тобой, единственная моя?), но дружба дружбой, однако Ивановичи все-таки говорят по-хорошему: не лучше ли мне отдышаться и отойти от треволнений на родной стороне, вдали от вредного общества и вдовьей силы Зинаиды Васильевны (которая, признаются мне, не сахар), а я говорю: вот еще! с какой стати! Я любила Владимира Сергеевича и страдать за любовь не собираюсь. Наморщили лбы... Говорите, любовь? — А вы думали! И еще говорю: если будут меня оби-

жать, за себя не ручаюсь — и намекаю, что в надежном месте сохраняются еще фотографии, на этот раз наши с ним, потому что, знаете ли, был он большой выдумщик, как показало патолого-анатомическое исследование, да, мы знаем, сказали братья, только не следует, Ирина Владимировна, размахивать перед нашими носами тем, чего нет и в заводе, ну, я сказала, для кого нет, а для кого и найдутся, ледяным голосом, и больше уже не угощаю коньяком, а они участливо: не нужно так, Ирина Владимировна, а то, в самом деле, поезжайте-ка отдохнуть, городок не хуже других, потому что хоть Владимир Сергеевич и большой человек, но подобные инсинуации нанесут окончательный вред его памяти и наступит ускоренное забвение, а стоит ли вам этому способствовать, пусть ВСЕ МЫ его помним и чтим замечательные шедевры... Я вижу: передо мной неглупые ребята, и налила им еще по рюмке.

Между тем, Витасик знакомит меня с новыми друзьями, почти сплошь евреями, что было даже несколько ошеломительно, однако некоторые отнеслись ко мне с горячим уважением за мою смелость, а я никогда не боялась, только Юра Федоров все норовил меня обидеть, несмотря на журнал, а Ксюша

Русская красавица

тогда очень быстро договорилась, и вот выходит их широко распространенный журнал, услада для многочисленного мужского читателя, и главное место, и разворот отводятся мне, со всеми моими снимочками, такая грустная, траурная композиция, и кое-какие данные, включая:

ИМЯ: Тараканова Ирина Владимировна.

БЮСТ — 36, почему-то в дюймах, сведения липовые, Ксюша взяла из головы.

ТАЛИЯ — 24.

БЕДРА — 36.

РОСТ — 172 (см).

ВЕС — 55 (кг) (теперь разжирела).

ЗНАК — Дева.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: СССР.

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА: богатая творческая личность.

ХОББИ: воспитание дошкольных детей (засранка!!!).

Итак, знакомьтесь: ИРИНА ТАРАКАНОВА, которую друзья зовут нежно Ирочка, скорбит и печалится, а повод непрост: не каждой молодой девушке суждено поддержать в руках содрогающееся от старости тело великого (в масштабах их деспотической страны) чело-

века, которого Ирочка любовно звала Леонардик (по имени итальянского художника, архитектора, скульптора, инженера и теоретика эпохи Возрождения (1452—1519), автора мирового шедевра «Джоконда» (Париж, Лувр, второй этаж, вход со двора), но гений он или не гений и в чем гений — вопрос любви, однако Ирочка имела далеко идущие неприятности (буквальный перевод: неудобства) после его кончины — это факт, признаваемый ее ближайшими друзьями, которые, в частности, сообщили нам, что ей пришлось покинуть прекрасно оплачиваемую работу (стольник в месяц я получала!!!), но не будем затягивать наше представление, вы будете сейчас иметь возможность сами убедиться, что **КРАСОТА ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ!** (Это красиво!)

Насчет стольника было продолжение. Не успел появиться журнальчик, как ко мне пришли, тоже парой, американец с голландцем. Американцу было под сорок, красавец. Седоватый, с культурной стриженной бородкой, глаза с поволокой. Он все кивал, что бы я ни сказала, а иногда заламывал в бессилии руки и сокрушался, ударяя кулаком по колену. Пришел в шерстяных клетчатых брюках: сине-зеленых. Голландец, напротив, по своему внешнему облику напоминал бандита и подкраши-

вал усы в черный цвет. Взлохмаченный, курчавый, он во все стороны блестел очками и бойко чесал по-русски, потому что родился под Иркутском, и, по крайней мере, трижды надолго удалялся с непонятным заданием в уборную (а у меня там лампочка, как назло, перегорела!). Американец мне понравился, только он плохо понимал, но бандит ему помогал. Они достали длинные узкие блокноты и уставились на меня. А я в кимоно. Они выразили восхищение моим мужеством. Я весело хохотнула: лучше бы вы выразили восхищение моей женственностью! Они растерянно улыбнулись: было видно, что не дошло. Пять минут мы сообща пытались разобраться, что именно я хотела сказать: голландец понял первый и просиял, и объяснил, как мог, коллеге, который сочувственно, наконец, ударил по колену и стиснул челюсти, давая понять, что он тоже понял. Я сказала, что в журнале наврали про зарплату, и чистосердечно, по-предательски поделилась насчет суммы, а они говорят: то есть, значит, не в час, а в неделю? — Да не в неделю! — рассердилась я. — Вы же, говорю, под Иркутском родились! — Что было, то сплыло, — развел руками этот странный сибирский голландец. — А вы давно тут живете? — спросила американца. — О, да! — заки-

вал он. — Два и полгода. — Ну! — думаю, однако на заданные вопросы отвечаю вежливо, а когда разговор зашел о вольности нравов, заметила, что решительно не одобряю всех этих западных штучек, особенно их пресловутую революцию, поскольку, говорю, она только все портит, так как ценность есть ценность, а когда ширпотреб, понимаете? то это против любви оборачивается, любовь, понимаете? это редкость, и это дорого стоит, не в материальном, конечно, измерении, а в смысле чувств, понимаете? (понимают), ну, вот и хорошо, хотите кофе? (не хотят), ну, как хотите, а они спрашивают: так вы — русофилка или, может быть, либералка? — Отвечаю прямо: я — никто, но я за любовь, потому что, — подчеркиваю в своем интервью, — занятие это божественное (вы люди семейные? — о, да!), ну, вот, я так и знала, но что обесценивание, инфляция любви, понимаете? наносит неизгладимый вред всему человечеству, вплоть, может быть, до угрозы войны (удивление), ну, потому что сил не на что расходовать (американец радостно: сублимация! — и кулаком по колену), да! и эту вашу революцию, а также всякие там непристойности нужно вообще отменить, так и напишите (заглядываю в их блокноты), непристойности, доступные каждому негру, а вы

сами этот журнал выписываете? — моя жена не очень довольна на этот журнал! — сказал красавчик (Господи, как он мне понравился: смесь Редфорда с Ньюманом!), а голландец сказал, что он, посмеиваясь, если и покупает, то покупает покрепче, как махорку! ну, вот, и вообще: любовь надлежит вернуть в век более ранний, если не сказать девятнадцатый, потому что только там бушевали настоящие страсти и любили красивых женщин, то есть красавицы были в цене, и никто не посмел бы их обидеть. Однажды, на одном из балов, данных в Москве, император был совершенно очарован огненными черными глазами девицы Анны Лопухиной. Она вскоре была пожалована фрейлиной и приглашена жить в Павловске. Для нее было устроено особое помещение, нечто вроде дачи. Император являлся туда каждый вечер с чисто платоническими чувствами восхищения. Но царский брадобрей и Лопухин-отец лучше знали человеческую натуру и уверенно смотрели в будущее. В один из вечеров, когда император оказался более предприимчивым, чем обыкновенно, Лопухина неожиданно разрыдалась, прося оставить ее, и призналась государю в своей любви к князю Гагарину. Император был поражен, но его рыцарский характер и врожденное бла-

городство тотчас проявили себя. Суворову немедленно посланы были приказания вернуть в Россию князя Гагарина, очень красивого, хотя и невысокого роста человека. Император наградил его орденом, сам привел к его возлюбленной и в течение всего дня был искренне доволен и преисполнен гордости от сознания своего героического самопожертвования. Щедрости его не было пределов: он велел купить три дома на набережной Невы и соединить их в один дворец, который подарил князю Гагарину. Лопухин-отец был сделан светлейшим князем и назначен генерал-прокурором Сената — должность чрезвычайно важная, напоминающая отчасти должность первого лорда казначейства в Англии. Брандербург был пожалован в графы и сделан шталмейстером Мальтийского ордена. Он купил себе дом по соседству с дворцом черноокой княгини Гагариной и поселил в нем свою любовницу, французскую актрису Шевалье. Офицеры конной гвардии в ярко-красных мундирах не раз видели, как государь сам привозил его туда и затем заезжал за ним, возвращаясь от своей любовницы. Когда его величество со своим августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловский, княгиня Гагарина, Анна Петровна, покинула дом своего

Русская красавица

мужа и была помещена в новом дворце, под самым императорским кабинетом, который сообщался посредством особой потайной лестницы с ее комнатами, а также с помещением вышеуказанного брадобрея, который, будучи турчонком, был взят в плен в Кутаиси. Намек на эти печальные обстоятельства мы находим в незаслуженно забытом стихотворении Тютчева, кого? ну, Тютчева, русского поэта! Тютчев! Нет, не так, первая буква Т. Т., как Толя, ну, неважно, Федор Иванович Тютчев. — Федор Иванович? — закивал красавчик. — Как жаль, что в Советском Союзе отменили имена-отчества! — Как отменили? Когда? — ужаснулась я, сраженная новостью. — Я неделю не слушаю радио. У меня батарейки сели! — Голландец что-то заметил красавчику на непонятном мне голландском языке. — Ну, их так редко употребляют, — не сдавался американец. — Я был уверен, что отменили! — Короче, — закончила я, мужчины балдели от шороха и вида приоткрытой ножки (чуть-чуть приподнимаю кимоно) по щиколотку (показываю свою щиколотку: не интересуется), как будто им всем было максимум по тринадцать лет! А что теперь? (не интересуется). Теперь, говорю, хоть в-чем-мать-родила ходи, как у вас, например, мода на пляжах, где лежат впере-

между мужчины и женщины, и что мы наблюдаем, как рассказывает моя дорогая французская подруга? — Ноль внимания! Как будто вокруг куски несъедобного мяса! И это, спрашивается, красиво? Нет, говорю, я против равенства и (опять шевелится!) бесплатного разложения нравов, я за напряжение и запреты, а в условиях равноправия никакого любовного апогея, господа, так и запишите, не выйдет! Они поставили закорючки в блокнотах и провоцируют далее: не хотите ли в наши края переехать? А Ивановичи, со своей стороны, мне услужливо газеты показывают, а в газетах снимочки усеченные, у итальянцев даже полоски, будто они меня этими полосками приодели, стесняясь, и говорят Ивановичи: вы посмотрите, Ирина Владимировна, как использована ваша красота! Не по назначению! — Ну-ка, говорю, дайте! А они разные вырезки мне подсовывают и переводят:

**РУССКАЯ КРАСАВИЦА
БРОСАЕТ ВЫЗОВ!**

Сомневаюсь: да верно ли вы переводите? — Верно, — и даже обижаются. Я с гневом: — Чушь все это! Какой еще вызов? Никакого я вызова не бросала, а вот то, что оскорбили

меня в лучших чувствах любви — это правда, и нет такого положения, при котором воспрещается любить человека, пусть он даже старше тебя, а они говорят, полюбуйте: ОНА ПОСМЕЛА! — это ехидные сукины дети, французы, пишут, как всегда, исподтишка, вот шведская стряпня: НА РАНДЕВУ ЛЮБВИ И ПРОИЗВОЛА, а вот фашисты: ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЕЯЛИ МИР. — Неужели, ликую, потрясли? А они, ухмыляясь: никого они не потрясли, грубая шпрингеровская брехня, это так, чтобы насолить, только вы тоже, Ирина Владимировна, хороша будете, ну, разве годится, говорят, нашей женщине, что называется, в калашный ряд, чтобы они всякую гадость про вас писали, ну, ладно бы, если с цветами, где-то в поле, как в древней Элладе, куда ни шло, мы против красоты никаких возражений, сами бы поместили на страницах... экспортного календаря, поддакивает Николай Иванович, или даже... нашли бы место! мы тоже, знаете ли, за смелость... вот... вы думаете, мы не понимаем?... мы сами боремся с инерцией вкуса... если бы только от нас зависело... вы даже не представляете!.. всего боятся!.. а с цветами, ты как думаешь? а? где-нибудь на пригорке или у ручья, в камышах... я думаю: то, что надо!.. вот и я про то...

Виктор Ерофеев

я бы сам в ванной повесил (смеются)... но простольник — это вы, Ирина Владимировна, сплеховали! Зачем? Не понимаю. Сор из избы. Мелочность какая-то... А жена бы не возражала, если бы в ванной?... это твоя бы возражала, а моя — современная... но есть все-таки священные вещи... издевательство над трауром... да, это уж ни в какие ворота!.. и кто это вас надутил, Ирина Владимировна?... у вас, простите, между ног все видно... Это, Ирина Владимировна, извините за откровенность, неэтично... Вы все-таки женщина... — Неэтично? — взвилась я. — А этично меня за любовь с работы вышибать?!

Это, по-вашему, этично, да?! — Качают головами: это не мы... мы — вот (указывают на значки с перышками), мы — пишем... но Зинаиду Васильевну тоже нужно понять... мы подумаем... кстати! если эти опять приставать будут (пряча вырезки в портфель), гоните их подальше, Ирина Владимировна, хорошо (обещаю), без них разберемся (прощаясь), и только я их выпроводила, звонят: на ломаном языке, ну, я, конечно, не могу не оказать гостеприимства: встречаю радостно в кимоно, а дворик у нас неприхотливый, можно сказать, пролетарский... Ой, не могу! Брыкается, сукин сын!

Вдруг шесть самых-самых красавиц Америки, вот их имена: Патти У., Ким С. (мисс не то Аризона, не то Аляска), Нэнси Р. (четырнадцатилетняя девчонка с капризным ртом), Наташа В. (русского происхождения, которая впоследствии утонет у берегов Флориды), Карин Ч. (потрясающие волосы) и шоколадная Биверли А. (мне довелось увидеть их групповой портрет, когда они съехались в один нью-йоркский бассейн и расположились у кромки изумрудной воды в решительных и непринужденных позах боевых соратниц Джеймса Бонда, Наташа В. даже с биноклем в руках, облокотившись на белые поручни, а на маечке Карин Ч. видны серебристые инициалы I. T., а шоколадная Биверли угрожающе скалит крольские зубы, чтобы меня подбодрить), направили ядовито-любезный протест из 222 слов

с требованием меня не обижать, а, напротив, выражают восторг по поводу моей славянской отваги и шарма и предупреждают, что если Виктор Харитоныч и подобные ему фаллокра-ты будут и впредь, то они поставят на ноги всех своих старых друзей и покровителей (включая трех нефтяных магнатов, тридцать пять сенаторов, семь нобелевских лауреатов, Артура Миллера, портовых рабочих Восточно-го побережья, канадских авиадиспетчеров, мозговой трест НАСА, а также командование 6-го Средиземноморского флота) и будут настоятельно их просить не дружить с моими недругами, и вместе с тем попутно узнаю, что их красота приносит им в среднем доход в триста долларов в час (в час!) и что они поэтому очень богатые, а Патти У. просто миллионерша. Ритуля звонит мне по телефону и, не в силах сдержаться, неосторожно кричит в трубку, что по радио об этом в последних известиях, а я в платке, с пылесосом в руках, лицо серое, бросаюсь к «Спидоле» с отломанной ручкой, и действительно: передают, я даже вся взмокла, ну, думаю, полный пиздец!

Однако вместо этого наутро меня навещают Сережа и Коля Ивановичи, при полном параде, в бежевых югославских костюмах, безукоризненный запах горьковатой туалетной

воды, ботинки сияют, и очень вежливые, и говорят, что они зря времени не теряли и обнаружили наличие производственной ошибки, что, конечно, не очень красиво показывать то, что можно показывать только одному родному и близкому человеку, но что со мной тоже обошлись неправильно, в обход норм, и вина ложится на Виктора Харитоныча, которого занесло от излишнего усердия, и пусть отдувается сам, так как назначен отписать вспылчивым красоткам письмо, где должен будет со всей откровенностью рассказать, хотя это не их дело, но раз уж интересуются, что я ушла с работы по собственному желанию от травмы, полученной во время смерти, а они, со своей стороны, предпримут меры, напишут статью, если только я буду способствовать, хотя другого выхода у меня нет. А я сижу, как вдова, и тереблю бахрому скатерти, и повторяю, кусая ногти: — Он бы меня защитил, если был бы жив! Он бы меня защитил... Он так меня любил! — Так и запишем, и достают из карманов шариковые ручки, и начинают писать, как Ильф и Петров, хотя я им еще ничего не сказала, а они вдруг сказали: а не хотели бы вы сами, Ирина Владимировна, написать письмецо этим ретивым дурочкам: мол, спасибо вам за заботу, за ласку, только зря, мол,

волнуетесь, купаясь в бассейне, потому что со мной все в порядке и сведения у вас непроверенные, а я на это отвечаю Виктору Харитоничу: это где же со мной, Витек, все в порядке? Ошибаешься. А он нахохлился и говорит: ладно, хрен с тобой, ты видишь, что ты со мной сделала, никогда в жизни не писал я писем в Америку и вообще не любитель писать, и дедулю, старого человека, не сберегла от инфаркта, а я ему: дедуля тоже на твоей, Витек, совести, переволновался во время выступления, когда вы стращали меня каким-то мертвым генералом, а он говорит: ладно, не будем об этом, не знаешь подноготную, так и молчи, а ты, говорю, не груби, раз влип, сиди, не чирикай, а он взял лист белой бумаги, прицелил перо и, вздыхая, вывел округлым почерком:

УВАЖАЕМЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ БЛЯДИ И ПРОБЛЯДИ!

Как вам стало известно... Как нам стало известно... До нас дошло ваше письмо... ваше письмо... Должен сказать... Оно нас неприятно... неприятно... в то время, как наш коллектив... Должен сказать... Зачем? Зачем все это?.. Зачем вы не в свои дела?.. Вы — пешки в большой игре... Я тоже не молодой человек...

Он безнадежно задумался. Он с отвращением отложил золотое вечное перо, не сам он, признался, придумал меня мучить, а его научили, а я сказала почти что примирительно: давай, Витек, не будем ссориться, пиши лучше свое письмо, а я пошла, а он мне: погоди! Я, набылчился, соскучился по тебе, замены не нашел, так с женой и остался... Ой, врешь! Мне известно, с кем ты время проводил по кабакам, от Маргариты, что ли? а я говорю: тебе какое дело! Не верь ей, а жена у меня, сама знаешь, песок сыпется, не спеши, Ира, приляг на диванчик, ага, говорю, на диванчик, на котором концы отдавала, пока ты с Полиной торжествовал ваш позор, фиг тебе, разбежался! А он мимо ушей: ты, наверное, на мели? или эти стервы тебе миллион прислали? ничего они мне не прислали, даже на дубленку не разорились, но твоих грязных денег не возьму, и не думай, подотришь ими, раз лишние есть.

И завыл он, козлиная морда, от моих слов, обойдешься! ему обидно, а мне тоже горько, он настаивает, а я говорю со смешком: обратно в контору примешь? Хоть сейчас, отвечает, только, говорит, не сразу, потерпи, пусть немного шум спадет, чтобы не вышло, что под давлением, а я говорю: ну, и не надо,

я свой столы́ник и так зарабо́таю, не беспоко́й-
ся, а он и не беспоко́ится: ты из-за́ меня зна-
менито́й ста́ла, а я из-за́ тебя дура́цкое пи́сьмо
пи́шу, злобно нахлобу́чил колпа́чок на свой
парке́р, и выгля́жу в идиотско́м све́те, са́м, го-
во́рю, вино́ват, пойми́, не по собственно́й во-
ле, посоветова́ли, это́, гово́рит, все прои́ски
всесильно́й Зинаи́ды Васи́льевны, что взье́-
лась на те́бя из-за́ панихи́ды, слезы́ не поде́ли-
ла, а мне — отду́вайся! а помни́шь, ра́ньше...
но я непрекло́нна, и гово́рю: лапу́ля, забудь об
этом, не заводи́сь, пи́ши лу́чше пи́сьмо, а он
гово́рит: ты бы хо́ть журна́льчик показа́ла, а то
я да́же не ви́дел. Е́ще че́го! Дура́, гово́рит, я ни-
кому́ не ска́жу, я посмотре́ю и отда́м. Не ве-
ри́шь? Обо́йдешья́! И пошла́ домо́й, а де́дуля
в больни́це ле́жит: подыха́й, ста́рый хрен и из-
менни́к! Не жа́лко. И ту́т, ме́жду де́лом, появ-
ляется́ ста́тья под назва́нием «Любо́вь», од-
на́жды в сре́ду, и я с уди́влением чита́ю, что
мои́ обяза́тельные Ива́новичи в са́мом де́ле на-
пи́сали ста́тью под назва́нием «Любо́вь»,
из кото́рой, одна́ко, поня́ть ни́чего невозмо́ж-
но, но все-та́ки дела́ются косвенные наме́ки
на то, что лю́бовь, мо́л, де́ло свято́е, индивиду-
ально́е, и все, что сверша́ется ме́жду двумя́ по
взаимно́й приви́занности, то краси́во и то́лько
на поль́зу обо́им, и не пра́вы те, что норовя́т

Русская красавица

заглянуть в замочную дырку, нарушая покой и неприкосновенность, потому что все мы люди сознательные и готовы отвечать за свои поступки, и возраст, по классическому определению, значения не имеет, как порой думают, но что, мол, любят порой из-за океана сунуть нос не в свой огород, навязать чужое мнение, только любовь у нас имеет давние корни и глубокие традиции, взять хотя бы плач Ярославны в Путивле или «Троицу» Андрея Рублева, сами мы разберемся, так вот как бы пальцы себе не прищемили некоторые подсмотрщицы, несмотря на их броскую или, лучше сказать, хищную красоту и маловразумительные двести двадцать два слова, инспирированные некой гражданкой третьей страны, перемещенным лицом без определенных занятий, используя некоторые ведомственные недочеты, и снова приходят Ивановичи: ну как? Помогите, все правильно! А вам известен ли такой человек по имени Карлос? А что такое? Неужели убили? Ах, говорю, когда это было! Там все не по-русски разговаривали, а я немножечко выпила и не знала, где нахожусь, вот и стала танцевать, а я, знаете, как танцую! — могу показать, ну, как хотите... нет, честное слово! никакого такого Карлоса, нашли, о чем вспомнить! Ну, ладно. Желаем вам, Ирина

Владимировна, быть поскромнее, будьте здоровы, не зарывайтесь, ухаживайте за стариком, спасибо, мальчики, не беспокойтесь, учту, ну, пока, и уходят, а тут Мерзляков: приходит, звонит, завтра вечером с тобой люди хотят познакомиться, а я по людям изголодалась, все больше одна, наедине и при неразрешенной судьбе, хотя, чувствую, кажется, обойдется, несмотря на совокупность событий или благодаря, ум за разум, и отвечаю, что обязательно буду, только вдруг в дверь звонят в половине восьмого утра.

По характеру: выходка провинциальной родни. Только она, без уведомления, вторгается в жизнь спозаранку, с чемоданом, обмотанным бельевыми веревками. Что такое? Открываю. Я еще не проснулась, никого не жду, а тут звонок. Кто там? Припала к глазку. Шестимесячная химия и отдувается, как паровоз. Ты чего, открываю ей дверь, приехала? Ни слова не пророня, кидается мне на шею и давай рыдать на всю лестницу! Доченька, всхлипывает, ты еще жива? Ты еще здорова и невредима? А я уж и не чаяла тебя больше увидеть. Мне Головня, Иван Николаевич, все рассказал, он по вечерам, сидя на голубятне, известия слушает и прибегает с безумным лицом: Антонина, беда! Рассказал — я так и се-

ла, отца тормошу, слышь, вставай! — бесполезное дело, махнула рукой и в Москву. Чемодан у нее черный, поднять невозможно, не насовсем ли она приехала? А дед где? В больнице. Ах! ах! — Погоди, говорю, разыхалась, почему, ответь лучше, чемодан такой тяжелый, кирпичами, что ли, набила? Ну,ходи, раз приехала, не реви на лестнице, она чемодан внесла, так, говорю, сердце надорвать можно, совсем, что ли, чокнулась? а она говорит: отец ничего не понял, а Ваня-то Головня, он такой, вбегает к нам и кричит: Антонина, беда! Только что слышал, мол, про твою дочь, про Ирину передавали Тараканову, она, говорит, в журнале «Америка» на первой странице в-чем-мать-родила, дальше не понял: слышимость нынче плохая — то ли ее в Петропавловскую крепость, то ли куда подальше, только сорок миллионеров, собравшись, за нее задаток внесли, а самый главный, с русской фамилией, Владимир Сергеевич, как передали, застрелился у всех на глазах, и тогда ее обменяли на границе на пять центнеров кукурузы и один компьютер для прогноза погоды, вот так, и втаскивает в спальню неподъемный свой чемодан. Я к ней внимательней присмотрела, вижу, в лице какой-то дефект, не синяк ли под пра-

вым глазом? Мама, спрашиваю, кто это тебя поцеловал? А!.. — отвечает, усаживаясь на низкий пуфик перед трюмо, так что обшивка трещит по швам, — а!.. ерунда! говорит, это я с буфетчицей в поезде подралась, как села, еще вчера, я у нее половину волос вырвала, из-за сдачи, она мне сдачу недодала, понимаешь, я ей даю пятерку, беру вафли «Северное сияние», а она говорит: что вы мне говорите, вы мне дали три рубля, на шум вышел повар, смотрел-смотрел на нас, значит, а потом ему надоело и говорит: я пойду лучше гуляш покушаю, а вы деритесь. Нам тогда тоже стало обидно драться, и мы перестали, но еще долго ругались, чтобы немного успокоиться, а когда под Москву подъезжали, взяли мы с ней в буфете портвейна и уже больше не ссорились, а вместе радовались, что драться перестали, и вообще она женщина неплохая, Валентина Игнатьевна, ну, просто Валя, понимаешь? у нее сын в этом году в институт поступил, в машиностроительный, славный такой парень, на нее похож, я, правда, сама еще не видела, а повар возвращается, поев гуляш, приходит и говорит: ну, что, девочки, перестали собачиться? А мы ему хором: иди ты в жопу, лысый черт! Мы так хохотали, то есть так хохотали, чуть Москву не проеха-

ли, а на вокзале простились: Валентина Игнатьевна поехала к своим, на Симферопольский бульвар, у них там двухкомнатная, правда, на первом этаже и комнаты смежные, но зато телефон, но она говорит, что приплатит и поменяется, ну, еще бы, ворует! а потом у нее на восьмом этаже знакомая есть, в райсовете работает, обещала помочь, может, слышала: Бессмертная? А повар-то, повар, лысый черт, он к себе в Тушино поехал — капусту тушить, мы так хохотали, а Валентина Игнатьевна меня в гости звала, не придете, говорит, обижусь, надо будет сходить, а этот — он в Тушино!

Тут моя ненаглядная мама начинает помирать со смеху, а я ее обрываю на полуслове и спрашиваю, уж не решила ли ты насовсем переехать? а она отвечает, что погостить, а сама глаза в сторону, а один, вижу, совсем заплыл. Смотри, говорю, станешь, как отец, одноглазой! Ой, говорит, и не напоминай о нем! Живет, говорит, ирод кривой, ничего ему не делается, проспиртовался насквозь, хотя лучше бы помер, и ему, и мне спокойнее будет, половину букв не выговаривает, и чем дальше, тем хуже, совсем молчуном стал, неделями слова не вымолвит, бывает, спросишь его: есть будешь? — он только мычит, мол, буду,

он завсегда рад пожрать, это он любит, а чтобы по-человечески что сказать — не говорит, работать нигде не работает, а ведь профессия какая была: краснодеревщик! Да с такой профессией деньги лопатой гребь, живи да радуйся, а он мычит и только есть просит, скорей бы подход, а теперь новую моду завел: кличет меня чужим именем, я сначала внимания не обращала, мало ли что, а потом прислушалась, слышу: он меня Верой величает! Я ему говорю: ты в своем уме, старый пес? какая я тебе Вера, меня отродясь Тоней звали, слышь, Тоней! Антонина я! Антонина Петровна! Слышишь ты или нет? а может, кто его знает, он глухой стал, в поликлинику, думаю, его как-нибудь свести, показать, да только стыдно перед врачами, куда его такого показывать, а тут, значит, вечером Головня прибегает, он у нас известия по радио слушает, сосед, ну, ты знаешь, его голуби с ног до головы обосрали, вбегает взволнованный: я про вашу дочь слышал! Я сначала не поняла, побежала, включила врунок, а он мне объясняет: я сам толком не разобрал, нынче слышимость плохая, тучи низкие, но сдастся мне, что она в Америку уехала в обмен на сельхозпродукты. Я так и села: как в Америку! Быть этого не может! А он мне говорит: теперь все

может. Я заплакала: как-никак единственная все ж таки дочь, и вдруг в Америку, ничего не сказав, а Головня божится: я точно слышал! В Америку уехала и стала миллионершей. Я говорю: ты иди еще послушай, может быть, еще что скажут, а он говорит: пойдем лучше у Полунова спросим, он тоже, когда не пьян, слушает. Пошли мы к Полунову: он как увидел меня, так руками и замахал, как на нечистую силу, а Головня его спрашивает: ты слышал? Нет, отвечает Полунов, а что? Врешь, говорит Головня, ты слышал. А Полунов в ответ: отстаньте вы от меня, а ты, говорит, Тоня, считай, что пропала. Я говорю: что случилось? А он ничего не говорит, отмалчивается. Ну, я ему пообещала бутылку принести, у меня в заначке была, приношу, а он мне, значит, бутылку взял, покачал головой и говорит: твоя дочь, Тоня, — враг народу, и меньше, чем расстрел, не дадут! Стали мы с Головной у него выпытывать, говори, настаиваем, раз бутылку взял и уже ополовинил! Ну, он и рассказал, Полунов... Я так и села. А Головня, он мужик толковый, говорит: вот ведь какие, говорит, дела!.. Ну, я вещи собрала, ничего отцу не сказала, да он с голоду не помрет, я его знаю, кривого, прокормится, ну, я взяла и приехала сюда, как бы, думаю, окончательно-

но не обидели мою доченьку, все ж таки кровь родная, ну, в дороге немножко подралась, только я тебе вот что скажу: это самая Валентина Игнатьевна, она мне сдачу недодала, понимаешь, я взяла вафли «Северное сияние», даю ей пять рублей, а она мне говорит, что я ей трешку дала, а у меня вообще трешки не было в кошельке, понимаешь? как я могла ей дать трешку? а что ее сын в машиностроительный поступил, это потому, что у нее связи, она мне рассказывала. Приезжаю, значит, сюда, на крыльях материнской любви, смотрю: не убили мою доченьку! Жива! У меня аж ноги подкосились от радости! Вижу: мама немного лукавит, однако ладно, говорю, приходи в себя с дороги, потом побеседуем. Тут моя ненаглядная мама начинает с утра до ночи покупать колбасу цельными палками, сыром лакомится и ванну принимает по три раза на день, отмокает, как она выражается. Отмокает так, что стены потеют, и песни из ванной доносятся, а потом моими французскими духами подмышки и прочие места своего стареющего тела натирает. Мне не жалко, но зачем без спросу берет? Ну, продолжает, раз тебя не убили, значит, пора нам с тобой начинать новую жизнь. Я, конечно, говорю своей маме, пахнущей французскими духами: мама, о чем

ты говоришь? куда еще уезжать? — Как куда? В Израиль. — Что ты, мама? Какой Израиль? Мы же с тобой, говорю, не евреи! А что, говорит, разве туда одних только евреев пускают? Почему это им такая поблажка? Чем мы хуже их? Всегда они лучше умеют устраиваться, жида пархатые! А потом подумала и говорит: а давай скажем, что мы евреи! А моя мама на еврея похожа, как я — на Чебурашку, и в ушах сережки за три рубля. Я говорю: сними ты их, не позорься! В Израиле, говорю, над тобой смеяться будут. И потом, говорю, ты себе представляешь такую страну, где, куда ни плюнь, одни евреи? Не может быть такой страны! — ужасается мама. А я говорю: вот что такое за страна, этот сраный Израиль. А сама думаю: никуда я не поеду. Но со всех сторон, и друзья мои новые, и даже Харитоныч, все спрашивают: почему ты не едешь? Ты там теперь — знаменитость, миллионы людей на тебя дробчатся, разглядывая твои чернявые чулки, и Ивановичи тоже в понятном недоумении. И зачем это вы, Ирина Владимировна, с заграницей связались? На кой черт она вам сдалась? Вы бы лучше, Ирина Владимировна, в «Огонек» снесли, там бы вам с вашей-то красотой целый разворот дали, при полном нашем содействии, однако

замечаю, что Владимира Сергеевича никто не вспоминает, по телевизору ни словечка не скажут, как будто наказали неприкаемую душу за мои ошибки, и стал медленно угасать великий человек, не прошло и полгода, а за границей, Ирина Владимировна, вы никому не нужны. А я говорю: будто я здесь кому-то нужна! Телефон молчит, словно за неуплату отключили... Заблуждаетесь, Ирина Владимировна, ваша красота еще пригодится для благородных целей, для этического воспитания в духе эстетики, а там что? — Там одно непотребство! А про себя недоумевают: чего не едет? Но я отвечаю близнецам: милые вы мои мальчики, у меня уже сиськи в разные стороны торчат, как у козы, ну, куда я такая поеду? Нет, говорю, из патристических соображений никуда я с места не двинусь, и вообще языков не знаю, одни частушки, и англичанин в Ялте очень хохотал, когда я пела, забыв о жене, а та волновалась: у них две дочери, семья на отдыхе, и вдруг такой казус. Нет, говорю, никуда не хочу уезжать, ни в какую сторону горизонта, а давайте-ка лучше дружить и не обижать друг друга. Так я говорила. Дедуля тоже не находил себе места. Что же получается? — бормотал дедуля, гуляя в палисаднике под нашими окнами. Мы помогаем

Русская красавица

ВСЕМ. Мы помогаем Греции и Канаде, Исландии и Занзибару. А они что взамен? Кубинские сигары! От этих сигар только пожар может выйти! А я на старости лет погорельцем быть не желаю! Его друзья по домино понимающе урчали в ответ. В полдень, когда солнце ударило из-за трубы и пенсионеры надели панамы, с дедулей случился сердечный приступ. Его положили в палисаднике на стол. Дедуля лежал посреди костяшек. Врачи опасались скорее не за жизнь, а за рассудок престарелого стахановца. Впрочем, ни за что они вообще не опасались! Они ходили, румяные и молодые, сверкая фонендоскопами и шутя с многоопытными медсестрами. Дедуля отчужденно лежал в койке, время от времени шевеля кадыком. Он лежал в койке и даже не ведал того, что меня в скором времени сбила машина.

Не плачьте обо мне! Вы еще погуляете на моей свадьбе, обещаю, я всех приглашу, но сначала вернемся в ту ночь, на липкий, в масляных пятнах, асфальт, когда я, окрыленная дружбой, возвращалась от новых друзей. Новые друзья приняли меня на ура. В книжной комнате, где из-за стекол шкафов смотрели, обнявшись цепкими жилистыми объятиями, грустные люди и было не прибрано, Витасик представил: вот наша героиня! Они аплодировали. Они смотрели на меня осунувшимися восторженными глазами и повторяли: вы даже не понимаете, что вы сделали! Это немыслимо! Это вам не какая-нибудь Вера Засулич! Где те кони, которые вас оправдают? Я скромно молчала с понимающим лицом. Вам не страшно? Они думали, что мне страшно. Я улыбнулась: ничего, вот только из Москвы не хоте-

лось бы уезжать, потому что я ее обожаю, расспрашивали о собрании, а один из них, еврейский Илья Муромец, хотя и в летах, с палкой наперевес: нет, сознайтесь, что страшно! Ведь у вас ничего нет, кроме красоты! А я удивляюсь: разве этого мало? Он тоже был среди новых друзей, Юра Федоров. Этот завидовал и бесновался, что про меня разговор, и они стали спорить, правильно ли я поступила, и один говорит: правильно и красиво, и бывший сторож Владимира Сергеевича, телячеглазый Егор говорит: дай я тебя поцелую! — а Юра Федоров говорит, что таким образом недолго и культуру загубить, попирая традиции, и что мой акт отразил пагубное влияние европейского романтизма на незрелую душу, а человек восточного вида, с пластилиновым лицом, брезгливо поморщился и ничего не сказал. Но все равно все восхищались. И Мерзляков — нарцисс шестидневной любви — был очень гордый, что знает меня. А меня все знали, и я рассказала, что больше всех старалась Полина, мордовская сука, и метила меня в любовницы генерала-изменника, и это неправда, потому что Владимир Сергеевич про меня собирался повесть писать и уже заготовил либретто для оперы, а они все разом загудели и за головы схватились, словно их самих

объявили любовниками головореза — вот какие они были, новые друзья! не в пример Шохрату — полное взаимопонимание и замшевые курточки, все прилично. А Борис Давыдович, богатырь, глядя на меня, как на собственную дочь, говорит: знаете, кого она мне напоминает? А женщины вокруг говорят: расскажите, пожалуйста! Там были и женщины. Они много курили, помоложе — сигареты, постарше — «Беломор», они очень много курили, и у них были желтые пальцы, некрасивые зубы и суровые скупые лица, а когда они улыбались, они улыбались одними губами, а когда смеялись — потом по-мужски кашляли и смахивали крупные слезы, они были радушны и очень печальны, и когда их спрашивали: как дела? — они отвечали: плохо!

Борис Давыдович был когда-то молодой офицер. Помнится, начал он, как в Германии перед самым концом войны ко мне подошла одна немка, спросила: — Господин офицер, не хотите ли пойти со мной? — Я был молодой и бесстрашный, отвечаю: ну, что же, пойдем! Только, говорю, по-немецки, вы случайно не больная? Нет, отвечает, как вы можете так подумать? Ну, пошли. Взяла меня под руку, и мы пошли вперед по развалинам и по могилам, как писал Гёте, к ней домой, в ее чистую квар-

тирку с потрескавшимся от военных действий потолком. Вы, говорит, не возражаете, если я потушу свет? ну, имеются в виду свечи в старинных бюргеровских канделябрах. Ну, что ж, не возражаю, только, собственно, зачем тушить? Как поется во французской песенке: «Мари-Элен, не задувай огня...» Он лукаво оглядел слушательниц. Слушательницы улыбались одними губами. Ах! — говорит моя юная Гретхен. — Я честная девушка, я от голода вас пригласила. И потому, — делает книксен, — я вас стесняюсь. Ну, ладно. Может быть, вы сначала покушаете? — спрашиваю я, держа в руках американскую тушенку и хлеб. Потому что, говорю, это тоже не в моих правилах спать с голодной и честной девушкой, а просто очень соскучился и прошу понять меня правильно. Нет, говорит она, я потом, господин офицер, покушаю. Я, говорит, помогая мне снять сапоги, уважаю ваше удовольствие. Только немка может так сказать! Ну, мы с ней раздеваемся в темноте, и она очень ласковая становится. Тут женщины прищурились в ожидании интересного места. Они много курили, но еще больше щурились. А я тоже подумала: что-то немка хитрит, но ничего не сказала, слушаю дальше. А меня, говорит Борис Давыдович, сомнение охватило, уж слишком,

чувствую, она ласковая, я взял и зажег свет, смотрю: ба! У нее на этих местах ядовитая сыпь! Ну, все ясно! Вскочил я. А она говорит: господин офицер, я очень кушать хотела!.. Так, говорю, отвечай, сколько наших офицеров у тебя сегодня перебывало? Вы! только вы! клянется она, сложив руки на груди, как невиннейшее создание, а самой не больше двадцати, и груди, скажу я вам, у нее большие и белые. Стою я, значит, полностью ню, с пистолетом в руке и ей ррраз по морде! Говори, приказываю, правду! Вы, говорит, десятый. Десятый! Так... Меня прямо как током дернуло. Ну, говорю, прощай, немка! И убил ее выстрелом в лицо, в совершенно ангельское личико, как сейчас помню. Потом наклонился, посмотрел еще раз на эту ядовитую сыпь, сплюнул и пошел прочь, довольный, что наказал преступницу...

Какая мерзость! — в сердцах вскричал Ахмет Назарович, кривя свое пластилиновое лицо. — Как не стыдно! Сначала полез, а потом убил! Убил женщину! — Законы военного времени, — развел руками в свое оправдание Борис Давыдович, огорчаясь за бывшее преступление. — Но какова она! — просиял он. — Вот, что называется, камикадзе! Она мстила за попорченную Германию! — Я где-то читал подобную ис-

торию, — угрюмо сказал Юра Федоров, которому тоже не понравилось. — Я не знаю, что вы читали, молодой человек, — сказал Борис Давыдович, — но я рассказал историю из моей жизни. — Все военные истории похожи, — примирительно вставил сторож Егор. — Это в какой Германии было? — заинтересовалась я. — В Западной или в ГДР? В ответ на мой вопрос Юра Федоров подчеркнуто громко расхохотался, а Ахмет Назарович торжествующе произнес: — Нет, вы видите?! Видите?! — Он сидел, демонстративно отвернувшись от меня, а женщины следили за тем, чтобы мужчины были бескомпромиссны и справедливы. — Как вы можете так! — разгневался Борис Давыдович, и ему, как Илье Муромцу, гнев был к лицу. — Она такая же, как та немка! — Неправда! — запротестовала я. — Я чистая! — И подумала про Ритулю. — Чистая? — фыркнул Ахмет Назарович. — Да от нее (не глядя на меня) за версту несет грехом! — Но Егор с Мерзляковым бросились на мою защиту и говорили, что я орудие судьбы и мести, и что недаром скончался Владимир Сергеевич, и что затем, доведенная им и до отчаяния, я бросила вызов, но я возразила (дался им всем вызов!), что я вызова не бросала, но про любовь распинаться не стала, видя их чудовищное отношение к Леонардику...

На этом месте ручка выпала из моих рук, и я ничего больше не писала три недели: во-первых, заканчивала мохеровое одеяльце, а во-вторых, высиживала свое пузо неподалеку от города Сухуми, куда меня уволок и похитил пианист Дато к своим мингрельским родственникам. Гулкий, безалаберный, пахнувший свежим ремонтом дом стоял у самого моря. Сначала шли дожди. Родственники жили в постоянном шуме. Казалось, они вечно ссорятся и оскорбляют друг друга, а это они так разговаривали между собой. У них была даже своя домашняя долгожительница, бабка девяноста шести лет, маленькая кривоногая хлопотунья (бабка с тех пор померла). — Вы в Бога верите? — вежливо поинтересовалась я. — Э! — крикнула бравая бабка, не вынимая изо рта сигарету «Космос». — Как не верить! — Дато играл Шуберта на расстроенном пианино. Я приходила к нему по ночам, забывая о роковой беременности, а он даже не заметил, сказал: ты здесь поправились! — В этом весь мужчина. Не видит в упор. Я многое передумала, глядя на осеннее море. Мы ходили на местную свадьбу с поросятиной. Тамада зычно выкрикивал тосты. Танцевали. Подрались. За свадьбу отдали двадцать пять тысяч. У них деньги ходят по кругу. Одному молодому чело-

веку отрезали в драке кончик носа. Умышленно? Об этом на следующий день много спорили. Разгар спичечного кризиса. Цена за коробок доходит до рубля. Потом — литовцы.

Они проезжали через нашу деревню — на москвиче — лет под тридцать, вполне заурядная внешность — и попросили попить. Тетя Венера (здесь имена не менее пышные, чем растительность) вынесла им воды и угостила сладким лиловым виноградом из сада. Мы пошли с ними на пляж, с этими литовцами. Они ехали в Батуми. На обратном пути заезжайте, — сказал Дато. Они записали адрес и укатали. Наутро пришел милиционер. В записной книжке литовца он нашел адрес дома. Мы сначала думали, что они спекулянты, но оказалось, что их убили. Они остановились на ночлег возле живописной речки. Литовца зарезали и бросили в воду. Жену подожгли вместе с машиной, облив ее бензином. — Почему? — спросила я. — Садисты, — объяснил милиционер. Мингрельские милиционеры больше похожи на жуликов, чем на милиционеров. Вы их поймаете? — спросила я. — Обязательно! — сказал милиционер. Он допил стакан шампанского, вытер пот со лба и пошел себе прочь ленивой походкой толстого субтропического человека. А Дато поднялся

наверх, в прохладные комнаты, и заиграл музыку Шуберта на расстроенном пианино. Литовку звали, кажется, Кристина. Она села мужу на плечи, и они так медленно входили в море, а мы сидели с Дато на большом оранжевом полотенце и резались в дурака.

Я уезжала из этого дома, окруженного хурмой и гранатовыми деревьями. Поспевали мандарины. Они были внешне еще зеленые, но в серединке бледно-желтые и вполне съедобные. Какое это имеет значение? По ночам, когда родственники засыпали тяжелым нерастойчивым сном — они шумно вздыхали, охали, скрипели матрасами и заунывно пердели, — я крадучись приходила к Дато, но оставалась сухая и равнодушная. Впервые я чувствовала отвращение к прославленному корню жизни. Дато недоумевал. Я сама вяло недоумевала. Твой мясистый отросток мне вовсе не интересен! Он хотел меня ударить, но там спали родственники, в темноте мерцали хрустальные вазы, и он только сказал шепотом: уходи! Я ушла! На мингрельской свадьбе матери невесты было тридцать пять лет. Я рожу не сына, а сразу внука. У тебя, спрашивает Ритуля, может быть, денег нет? А у меня и в самом деле нет денег. Мне нужны джинсы для беременных, но мне лень доставать. Повсюду сволочи. Писать

не хочется. Ничегошеньки не хочется. Умирать тоже неохота. А Ксюша далеко.

Назад! Назад! К тем счастливым временам, когда елось, и пилося, и хотелось, и могло, назад, в сладкую пошлость жизни, когда все интересно: как кто на тебя посмотрит, как рыбьим хвостом забьется леж в его штанах, как выйдешь и начнешь танцевать, как Карлос бросится срывать с тебя шубу, боевой, прогрессивный посол, как Владимир Сергеевич, зажмурившись после обеда, поделится с тобой очередной государственной сплетней, возведенной в ранг тайны, и пригласит, от нечего делать, в оперу, как хотелось мне съездить в Париж, Амстердам, Лондон, не пустили, как хотелось потрогать удивительные украинские груди активистки Нины Чиж! Как хотелось всего!

Назад! Назад! В те стародавние, почти былинные времена, когда через заграждения, заслоны, заставы я, как Гитлер, прорывалась в Москву, охмуряла Виктора Харитоныча, околпачивала простофильного дедулю...

Опять Ритуля пристает ко мне со своим вшивым Гамлетом! Ритуля проживает с ним второй месяц и заметно обогатилась. Она говорит: давай? Теперь она — заводила. Мне надоели ее приставания, и я отвечала: ладно.

Мне все равно, а раньше было не так. Я теперь даже не очень боюсь Леонардика. Он войдет, а я ему скажу: подлец! Вот твоя работа! И, кем бы он ни был, ему станет стыдно. А я все равно рожу. Нет, не потому я рожу, что из мести или от злобы, не затем, чтобы посмотреть, кем он вырастет, и не для интересов науки или религии, а потому я его рожу, что другого выхода у меня нет и не будет!

Прекрасна русская осень! Пушкин прав. Если бы я, как он, умела писать стихи, я бы только об осени и писала, о том, как падают желтые листья, небо завалено тучами, а когда разгуляется, оно прозрачно, как мыльный пузырь. А солнце? На солнце не больно смотреть, разве это не замечательно? Но потом придет зима, и она все убьет. Я сама похожа на осень, а остальные — на зиму. Во всяком случае, на меня наехала машина, когда после долгих споров я выходила от новых друзей, наехала и переехала, когда я, около двух часов ночи, выходила — тут меня этот Степан и настиг, врезавшись мне в самое бедро.

Меня многие считали умной, удивляясь моему уму, и правильно делали, потому что, врать не стану, дурой никогда не была, и вот, побывав у новых друзей несколько вечеров кряду, я что-то стала соображать. Дато, когда

узнал, где я бываю, сказал: ты представляешь себе, куда ты ходишь? А я и не знала, что ты трус. А он сказал: я просто работать нормально хочу, это не трусость. А Ксюша мне, со своей стороны, говорила: нынче, солнышко, у вас — она офранцузилась, конечно, со временем — открывается новый счет. Этот счет только-только открылся, и он в твоей жизни ничего хорошего, кроме плохого, не даст, потому что у вас, говорит Ксюша, нет, это Мерзляков говорит, иезуит, не страна, а зал ожидания, и основной, зубоскалит, вопрос — быть или убыть, однако сам до сих пор не убывает, но это все неинтересно, я другое хочу сказать: Ксюша утверждала, что раз двойной счет открылся, то теперь уже неясно, что будет, в конце концов, выгоднее, и если даже не выгорит, так ведь и в первом счете может не выгореть, и вся жизнь сложится подло и незаманчиво. Для меня ее слова были поначалу пустым звуком, и я ничего в них не поняла, потому что Ксюша умела порой говорить неясными загадками, и я только подумала: сама-то иначе устроилась, за стоматологом, но я тоже кое-чему научилась и, когда входила, на вопрос, как дела? — лепила: плохо! И щуриться научилась, и крайней бедности в них не отметила: у некоторых даже средства транспорта. В общем,

стали они меня убеждать в том, что Степан недаром меня переехал, хотя я по возможности им возражала: не может этого быть! А они посмеиваются: знаешь ли ты, что за их лимузинами всегда мчатся вдогонку кареты скорой помощи, дабы на всякий случай подбирать зазевавшихся пешеходов, которых они, как кегли, сбивают! — Что вы говорите! Ужас какой! — а они посмеиваются и говорят: если бы они тебя собрались это самое, то взяли бы грузовик или бульдозер, а раз выбрали запорожец, то с тонким расчетом предупредить и покалечить, ибо что в тебе самое главное? — Ну, красота! — Вот. Стало быть, тебя от красоты и следует избавить как от лишнего груза, а потом поезжай себе в свой старинный городок и пропадай там как уродка!

Я задумалась, милая моя Ксюша (потому что пишу для тебя), я задумалась и насторожилась, почувствовав железную логику, а они стояли вокруг моего ложа полукругом, решив проведать меня на дому и выразить возмущение.

Я упала. Степан выскочил из запорожца и подбежал ко мне с мыслью, что убил. Он наклонился к моему телу и пощупал. Он был сильно пьяным, и я сказала досадливо, превозмогая боль: да вы пьяны! Он обрадовался, что я заговорила, и сразу стал предлагать день-

ги, он просто дрожал от волнения и беспокойства. Безо всяких свидетелей он перенес меня в свой запорожец (никогда до тех пор не ездила в запорожце), потому что все спали, а не ходили по темным закоулкам, где ездят пьяные Степаны. Я села в тесную тачку, плохо соображая, а он взмолился: не погуби! Он был темен лицом и совсем не моего круга. Я велела везти меня в Склифосовского. Он взмолился: не погуби! — С какой стати мне тебя жалеть? — спросила я. — Тебя, пьяную морду? — Его лицо стало совсем бессмысленным. Он залепетал, что у него дети. Бедро оглушительно болело, юбка порвана, и голова тоже подозрительно кружилась. У меня сотрясение мозга, сказала я, с этим не шутят. В Склифосовского! — Ты пойми, я со дня рождения, — объяснял Степан. — Я хотел ее там оставить, а потом вышел во двор, смотрю: стоит. Я сел и поехал... Вообще ты сама виновата! — вдруг осмелел Степан. — Молчи, нахал! — прикрикнула я, держась попеременно за ушибленные места. — Бес попутал! — раскаивался Степан. Помолчи. — Хрен с тобой! — сказала я (баба жалостливая, это меня и сгубило). Отвези меня домой! — Он обрадовался и повез. По дороге бедро разболелось еще сильнее, мне сделалось страшно: вдруг кость раздробил?

Он подвез меня к парадному и говорит: давай я тебя на руках занесу? Я живу на втором этаже. Только не урони! Он понес. Это было странно, будто он меня, как невесту, в дом вносит, только мне не до смеха, потому что он меня чуть не уронил на лестнице: оступился, но ничего: донес. Он меня прямо на кровать положил. Я выставила его из комнаты, разделась, доковыляла до трюмо, держась за мебель: синячище с Черное море! Халат накинула — он в дверь заглядывает. Он качается в дверях, ухмыляется: живот на живот — все заживет! — Гегемонские шуточки! — Пошла в ванную, обработала синяк перекисью водорода, возвращаюсь: он в дедулиной комнате спит на диване, спит и посвистывает. Меня зло взяло: вставай! уходи! Но Степана разве разбудишь? Спит и посвистывает. Я его и за уши дергала, и водой в рожу брызгала, и по щекам хлестала — ноль внимания! — С дивана сполз, на полу разлегся, руки разбросал. Присмотрелась к нему: кто ты? Морда отъевшаяся. Повар? Прораб? Продавец? Спортсмен? Воруешь иль честно живешь? Доволен ли ты своей жизнью? — Галстук набок, повеселился. Не дает ответа. Наверное, доволен. Хозяйчик жизни. Воняет дорогим портвейном. Я тоже залезла в шкафчик, налила коньяку, не вызы-

вать же милицию! Выпила полстакана: хорошо пошло! Еще полстакана выпила: вроде меньше беспокоит. Черт с тобой! Свет потушила. Утром просыпаюсь, слышу: в соседней комнате шевеление. Вхожу: сидит на полу, язык высунул, губы облизывает. Волосы — осиное гнездо. Уставился на меня. — Где это я? — спрашивает хрипло. — В гостях, — отвечаю злобно. — А где Марфа Георгиевна? — Какая еще Марфа Георгиевна? — Как какая? Именинница. — Интересное дело! Меня задавил, а сам про какую-то именинницу вспоминает! — Как, удивляется, задавил? Это же, говорит, квартира Марфы Георгиевны. Мы здесь вчера выпивали за ее здоровье. А вас, простите, первый раз вижу. — Сейчас, говорю, я тебе напомню. Поднимаю халат и показываю синячище величиной с Черное море, только, смотрю, он не на синячище уставился. Я говорю: нахал, ты куда смотришь? Ты сюда смотри! А он ничего не отвечает, губы непослушным языком лижет и тарашится. Я с возмущением занавесила свою наготу и говорю: ну что, вспомнил? Вспомнил, как ты меня чуть было не убил на своей идиотской тачке? — Нет, — упрямится. — Я никуда не ездил. Марфа Георгиевна меня у себя оставила. — У тебя же дети! — напомнила я. — Дети поймут пра-

вильно. — Его взгляд нашарил стенные часы. Ой! — вскрикнул. — Мне на работу пора! Мы пошли с ним на кухню позавтракать. Степан вел себя спокойно, но от творога наотрез отказался. Я такое не ем. У вас супчика горячего не найдется? Я ему борщ подогрела. Он принялся есть: чавкает, мясо пальцами достает. Даже лоб вспотел от супчика. Перевел дух, утерся салфеткой: уф! Другое дело... Я снова к нему, ну что, вспомнил, Степан? Он на это мне отвечает: вспомнить — не вспомнил, но, на всякий случай, простите, что потревожил... А вы, значит, Марфу Георгиевну не знаете? Очень зря. Хорошая женщина. Не верите — могу познакомить.

Я не выразила особого желания, и он, несколько обидевшись на это, ушел. Я видела из окна, как Степан в задумчивости обошел свой автомобиль, стоящий посреди двора, поскреб в затылке и, тарахтя на всю округу, укатил.

После обеда я принимала новых друзей. Предводительствовал, стуча палкой, Борис Давыдович. За ним — женщины, с цветами и кексом. Из уважения они даже не закурили. Я встретила их в постели. Собравшись у моих ног, они соболезнавали. Слабым голосом я им стала рассказывать про забывчивого Степана, но чем дальше рассказывала, тем недоверчи-

вее становились их симпатичные лица. — Знаем мы этих беспамятных Степанов! — наконец не выдержал Борис Давыдович, сидя на пуфике подле трюмо. — Ой, как хорошо знаем! — и все вздохнули: ой, знаем! — женщины прищурились, словно прицелились. — Да, взялись за вас крепко! — признался Ахмет Назарович, страдая своим пластилиновым лицом. В доказательство я показала им синячище, но я им хитро его показала, тогда Степану я показала без умысла, от негодования, чтобы вспомнил! а здесь показала с хитринкой, невинно откинула одеяло и приподняла рубашечку, но так приподняла, чтобы не только синяк проступил, но и окрестности, отец Онуфрий, обозревая окрестности, обнаружил обнаженную Ольгу, вот так и я, но вместе с тем в полнейшей невинности, словно доктору. И поставила их тем самым — и дамочек некурящих, и мужиков: Бориса Давыдовича, Ахмета Назаровича и неизменного Егора — в щекотливое положение: и смотреть нельзя, и отвернуться вроде бы неудобно, раз показан предмет разговора, а рубашечка так и взвилась! — дивный пейзаж Бермудского треугольника, — а как прикрылась я с невиннейшим ликом, так тут же и кончила, от собственной шалости, тихонько кончила, даже виду не подав, а любила я ино-

гда так позабавиться, и недаром меня Ксюша в запоздалых попытках девичьего эксгибиционизма, ласковым грозя пальчиком, подозревала, да как не заразиться, когда всякий смотрел на меня, от купальника вплоть до шубы оглядывая, ровно как актрису, да только время проходит, и мы не долговечнее хоккеистов, и я отрицала бесстыдство стареющих баб, что смотрят хищно и наверстывают, уж лучше повеситься. Одна ты, милая Ксюша, рождаешь во мне еще сладкую боль!

Но отошли постепенно от нежданно-негаданного (по школе помню: пиши с двумя НН) смущения мои новые друзья и говорят: вздор! Никакой он не Степан! Как он выглядит? — Степаном и выглядит, возражаю несмело, и вином вонял, и Марфу Георгиевну поминал теплыми словами. А номер запорожца не записали, Ирина Владимировна? — В голову не пришло! — Наивная девочка... — Да они номера как перчатки меняют! — воскликнул Ахмет Назарович, и все согласились: как перчатки, и я тоже задумалась: а вдруг как перчатки?

Да только неужто храпел понарошку? и обмочился во сне, как утром стало заметно и глазу, и носу, о чем, впрочем, из светского приличия не упомянула ранее, щадя деликат-

ные чувства моих гостей, которые были настроены очень воинственно и говорили, а не следует ли тут же разоблачить этих, так сказать, Степанов, записав историю их вероломства, и показать кому следует? Я не совсем поняла, кому следует, потому что в том мире, где я жила, кому следует были другие, а здесь кому следует были совершенной противоположностью тем, кому следует, если принять их измерение жизни: рискованное и с очень неожиданными поворотами, потому, конечно, я только рот раскрыла от их откровений, а они мне даже и возражать не дали, как недогадливой целке, которая наказана за свою красоту хорошо еще, что не грузовиком, и тут я вспомнила безумные шары Степана, смотрящие на меня поутру, и взяло меня сомнение, а вдруг они правы?

Ах, думаю, вот как! И действительно, переигрывал немножко мой Степан насчет неузнавания синяка, дурака валял и несусветное плел про Марфу Георгиевну, но как вспомню, с другой стороны, как борщ ел и пальцами мяско доставал — опять новая волна сомнений: уж больно тонкий артист!

Ксюша! Они меня совсем высмеяли! А вы читали то? А вы читали это? — Откуда взять, да и времени не хватает на все! Забили эруди-

цией, заклевали, я послушала их, застыдили! — послушала и обозлилась!

Я свирепо обозлилась, а не так, иначе бы не было ни поля, ни моих смертельных бегов, ничего бы не было! но я чудовищно обозлилась и говорю: даром им это не пройдет! Егор, предатель Владимира Сергеевича, не на шутку разволновался: дай я тебя поцелую! А мудрый змей, Борис Давыдович, меня осаживает — не горячись! Лучше подумаем сообща, как вас спасти! — Ах, Борис Давыдович! — взмолилась низкорослая дамочка в мешковатых кримпленовых брюках и от огорчения не смогла не закурить. — Вас самого надобно спасать! Вы ведь балансируете на грани! — Ну, я не такой смельчак! — отмахнулся ласково Борис Давыдович и улыбнулся: — Я им задницу не показывал, как Ирина Владимировна! — Ну, положим, я тоже нет. Я, во-первых, не им, и не то, во-вторых, чтобы задницу, а все вместе, сама умилялась, потому что, наконец, это красиво и, конечно, без всякой обиды, а скорее от чистого сердца и как приглашение, да я и вообще люблю по-собачьи, как, впрочем, и все, и по нашему с Ксюшей закону, именуемому законом Мочульской—Таракановой, открывшим ступени человеческой близости, торжествует бог любви — маленький анус,

в сладкие губки его поцелуйте! — а все остальное лишь подступы и поверженные кумиры, и однажды, отворотясь от Дато, я звонила по телефону, а Дато смотрел мне вслед и не выдержал: налетел, как коршун, а Ритуля готова часами по телефону: ах, Ритулька! Какое там три! Тридцать три! Ну, не ври! — балдеет Ритуля. — Такого не бывает. — У меня бывает! А с Витасиком помнишь? Блицкриг мой любовный! А она: только, пожалуйста, не ври! — И тут Дато. Я в трубку и вскрикнула, просто не ожидала, а Ритулька трубку не вешает, прислушивается, разговаривайте! просит Дато, и мы разговариваем, и она говорит: я тоже завожусь. а я уж совсем поплыла и пощады прошу и пощады не жду — так мы жили, с Мерзляковым, или с Дато, или все вместе, и жизнь протекала, а потом началась смерть. Потому что началась смерть не потому, что я о любви забыла или пресытилась, этим, милая Ксюша, не пресытишься, а потому началась смерть, что некого стало любить. И как поняла я правоту моих новых друзей, их второе справедливое измерение (или ты говоришь: второй счет), то, расставшись с ними, принялась думать, не потому что мести желала Степану-перевертышу, театрально обмочившему свои казенные брюки, а потому что идея вошла мне в голову,

словно я прозрела и оглянулась вокруг, и поняла, что далеко не все достаточно хорошо, а, напротив, много есть несправедливости и обмана, и что повис он над нежной землей, над просторами и в оврагах, как желтый сопливый туман, и что скопилась неправда в рукавах обмелевших рек и в больших придорожных кустах, и мне обухом по голове, и мне стало обидно, и все ясно, но ведь зря горевали мои новые друзья, ища мыслимого освобождения, потому что никакой мыслью здесь не помочь, хоть убейся, и они убивались, сколько мыслью еврейской ни вейся, тщетно, то есть даже удивительно, почему они пекутся о нашем спасении больше нас самих? — так я рассуждала, лежа с огромным синяком на бедре и оглядываясь по сторонам в своем рассуждении, что бы такое учинить, чтобы развеять желтый сопливый туман, да оглянулась я и мало чего обнаружила, а друзья попятились и вышли вон, разговаривая про Степана и лимузины, что, как кегли, уносят людей. Да.

И тогда позвонила я Веронике и говорю: Вероника, душечка, лапочка, умничка, мне надобно с тобой встретиться, есть разговор. Она говорит: приезжай. Я к тому времени начала поправляться. Взяла такси и приехала. Рассказываю Веронике. Говорю: замечаю в се-

бе одну таинственную особенность. Могу всю нечисть в себя всосать. Что ты об этом думаешь? Она помолчала и говорит: а скажи, пожалуйста, тебя не преследует сон?.. — Ой, говорю, сил нет, преследует! А Тимофей ходит вокруг и меня нюхает. Он всегда меня нюхает, как ландыш, когда я прихожу, и Вероника немного ревнует и недолюбливает, но сдерживается. Ладно. Я сама ревнивая. Почти каждую ночь один и тот же сон, если только не встречу с достойным человеком. Вероника поморщилась: она не любила мужчин, но я не всегда об этом помнила, я забывала, потому что это ненормально, а она не любила. Она говорила: вы прислушайтесь, дуры, как они пахнут! Они пахнут изо рта и отовсюду: грязным бельем, малофьей и говном. Ксюша, хитрушка, ей возражала, а я помалкивала: женский пот — он пронзительнее, по транспорту видно. Нет, упрячилась, греша против истины, Вероника, нет! Почему женщины душатся? — спрашивала Ксюша и сама себе отвечала: — Женщины не верят родному запаху! — Перестаньте, а то вырвет! — взмолилась я. Вероника только рукой махнула. Всем остальным она предпочитала своего Тимофея. Да. Один и тот же. Ночь. Улица. Ни души. Я иду в широкой желтой юбке. Вдруг меня нагоняет

он, на нем шляпа, будто приклеенная к черепу, со страху бросаюсь в подъезд, бегу выше и выше, сердце колотится, я на верхней площадке, и он поднимается, пожевывая челюстями, он не спешит, пожевывая невидимую травинку, он идет вверх уверенно, он знает, что я не брошусь в бездонный пролет, и я знаю, что не брошусь, и я звоню в отчаянье в дверь, не отпирают, собака не лает, там мертво, но там дышат и смотрят в глазок, об этом я думаю, он поднимается, и вот он поднялся, подходит ко мне, жуя невидимую травинку, и, ни слова не говоря, достает, как топор, свой такой... то есть такой! то есть такой, Вероника!!!! Ну, думаю, дурачок... Течет тушь... Дурачок... Я б сама, я б сама, и с большим удовольствием!.. До диафрагмы!.. Только лица не видно... А Вероника, ведьма, она со страшными силами водится, она говорит, морщась: а он кончает? Я задумалась, не подготовленная к ответу. То есть, я точно кончаю, но вот он? Я говорю: по-моему, да... Вероника с облегчением: тогда прекрасно! Но точно ли помнишь? Я напряглась. Говорю неуверенно: точно! а сама думаю: как же ему не кончить? И уже без сомнения: точно! точно! А лица никогда не видела? Нет, отвечаю, он всегда в шляпе, будто приклеенной к черепу, но

в следующий раз, смеюсь, обязательно попрошу, я, когда просыпаюсь, говорю себе: надо будет попросить в следующий раз, но потом забываю, со страху, да потом... то есть такой! — этого, смеюсь, вполне достаточно. Но Вероника не смеется. Она говорит: знаешь что, Ира? — Что? — удивляюсь. — Ты можешь стать новой Жанной д'Арк. Вот так-то, говорит, Тараканова! Я притихла. Ты хочешь, спрашивает, стать новой Жанной д'Арк? — Но ее, кажется, говорю, на костре... — Костер тебе — ну, сушая ведьма! — не грозит, а сама кандидат технических наук — костер не грозит, но ты все равно погибнешь: испепелит тебя, Ира! — Как испепелит? Кто? — Эта самая сила и испепелит, что по ночам к тебе в шляпе приходит! — Ой, говорю, страсти какие! Не надо. — А она смотрит на меня ясными глазами и говорит: да ты представляешь хотя бы себе, Тараканова, за что страдать будешь? — Ну, отвечаю, в общих чертах... За справедливость! — Нет, говорит, не только. — А за что? — говорю. — Несправедливости много, но умирать все-таки боюсь. — Дура! — говорит. — Не бойся! Ты в посмертии, знаешь, куда угодишь! И забудутся все твои грехи и мелкие пакости, все забудется, и ангелы снимут перед тобой свои нимбы, и в русском космосе станешь царицей.

Я спешила к новым друзьям. Я спешила. Я вошла — они даже на меня не взглянули, не удивились: как? вы не боитесь выходить одна из дома? разве можно вести себя так неосторожно! Они только сказали: тс! — и усадили в укромный уголок. Егор посмотрел на меня мутным творческим взглядом и с новой силой углубился в свой манускрипт. Вдруг неожиданно оказалось, что он — драматург. Многолюдная компания сидела гроздьями на диване, стульях, креслах, подлокотниках, подоконниках, а помолоче, с лихорадочно оживленными лицами, опирались о стены. Через форточку уносился табачный угар. Положив ногу на ногу, дамы тянулись подбородком к коленям: так лучше им слушалось. Пьеса называлась «Сучье вымя». Пьеса была тяжелой. Действие разворачивалось то в очереди за водкой, то в вытрезвителе, то

Русская красавица

в женской послеабортной палате, то в общественной уборной на вокзале, то в мерзкой узкой комнатухе многосемейной квартиры. В пьесе все действующие лица очень часто и помногу пили различные алкогольные напитки, включая загадочный бальзам «Цветок папоротника». Я вошла, когда в общественной уборной шел жесткий разговор между двумя парнями и старой уборщицей.

Уборщица. Ироды! Одно слово: ироды! Весь пол заблевали.

Павел. Молчи, мать! И так тошно (*опять блюет*).

Петр. Ты пойми, мать, повод был. Чехи продали.

Уборщица. В хоккей, что ли?

Павел. Эх, мать, это был такой хоккей! (*Машет рукой и опять блюет.*)

Пьеса стремительно переносится в комнатуху. Стол. На столе обеды, пустые консервные банки, окурки, грязная вата. За столом сидят две молоденькие девушки.

Зоя (*наливая себе полстакана «коленчатого вала»*). Я больше никого не жду.

Люба. Я тоже. Я бросила институт, ушла из родительского дома... с кремовыми занавесочками...

Зоя. Врешь. Ты ждешь Петьку.

Люба. Нет. Последний аборт мне раскрыл на него глаза.

Зоя. Врешь. Ты его ждешь.

Люба (*задумчиво*). Жду? (*В ярости опрокидывает стол с обедами и цепко хватается Зою за волосы.*) Издеваешься?.. (*Зоя кричит от боли.*)

Пьеса заканчивается монологом старой Уборщицы из общественной уборной, которая случайно оказывается соседкой Зои и Любы. Сильно выпившая, она вбегает в комнатушку на крики Зои, разнимает дерущихся девушек и затем танцует отворотительный шейк. Танцуя, она высказывает свое кредо.

Уборщица (*продолжая танцевать, отрывисто*). Не помню. Какой-то. Писатель. Сказал. Человек. Бля. Звучит. Гордо. Я бы. Этому. Писателю. (*Замахивается в танце половой тряпкой*) Я бы. Ему. (*Кричит.*) Пасть! Порву!.. (*Обессиленная, опускается перед рампой.*) Гуманизм? В гробу я видела ваш гуманизм! Сегодня на моих руках (*поднимает к лицу и внимательно рассматривает свои руки*) парень умер, подавившись блевотиной!.. Вот он, ваш гуманизм!

Русская красавица

Люба (*выпрямляется и белеет, как полотно*).

Петя... Мой Петя...

Занавес

— в изнеможении выдохнул Егор и, вытирая мокрое лицо, несмелым взглядом окинул народ. Народ находился под впечатлением. Нервный румянец на лицах... Жена Бориса Давыдовича тихонько вышла на кухню, чтобы принести заготовленные бутерброды с любительской колбасой по два девяносто и чай с соломкой. — Да, — разорвал затянувшееся молчание Борис Давыдович. — Сильная вещь! — и даже как будто с укоризной покачал скульптурной головой. Все принялись поздравлять. — Ну, ты даешь!.. — Продирает!.. Он знает жизнь!.. — От души... — Наболело... — Егор смелел на глазах и как автор пил чай из самой большой кружки с петухом. Все были единодушны во мнении, что пьеса непроходная, но выражали также и критические соображения. Ахмет Назарович сказал, что пьесе не хватает нравственного потенциала, нет, он не против, что называется, в кавычках, очернительства, но нужно, чтобы оно было конструктивно в высшем смысле! — Я вспомнила Владимира Сергеевича и тоже сказала: — Конечно! Искусство должно быть конструктивным. —

Трущобный реализм, — буркнул Юра Федоров. — Много дешевых намеков, — в своей обычной манере, мягко улыбаясь, сказал гадость мой друг Мерзляков. — Изжога шестидесятилетия. — Все дружно зашумели, Мерзлякова обвинили в эстетстве и интеллектуализме. Тем не менее Витасик спокойно добавил, что ему не понравилось название «Сучье вымя». — Это плохое название, — сказал он. — Назови ее просто «Блевотина». — Я подумаю, — согласился автор. — Зря вы, Егор, против гуманизма, — сказала одна доброжелательная дамочка, близкая к театральной среде. — Это не я, — возразил Егор. — Это уборщица. — Милый Егорчик, кому вы рассказываете! — улыбнулась дамочка змейкой губ. — *А пропо*, матерные слова только засоряют ваш сочный народный язык, — высказался педиатр Василий Аркадьевич (у меня записан его телефон. Обращусь после родов). — Да, вы знаете, меня это тоже немного шокировало, — мило улыбаясь, призналась я. — И вообще, — покраснела я от волнения, чувствуя, что выступаю, — как же так можно? Ни одного светлого пятна... — Где я тебе его возьму, светлое пятно? — вдруг обозлился драматург. — Возьми и выдумай! — предложила я. — На то ты и писатель! — Я не леплю из говна конфет-

ки, — заявил Егор и прикрыл губы и нос бородой дачного сторожа. — Я не Н.! (Он назвал имя модного кинорежиссера.) — Чем же плох Н.? — удивилась я (а мне нравились его фильмы). — Он, Ирочка, махровый приспособленец, — в доступной форме объяснил мне Мерзляков. — Во всяком случае, он не наводит такого мрака, — пожалала я своими плечами. — Все с интересом смотрели на меня, потому что я тоже модная и обо мне передавало радио. — В пьесе Егора Васильевича действительно есть безысходность, — вступился за автора Борис Давыдович. — Но это горькая безысходность, в ней нет успокоенности и дешевого ерничества — и это прекрасно! — От искусства, однако, мало проку, если оно ни к чему не призывает, — заметил, со своей стороны, Ахмет Назарович, мой союзник по спору. — А по-моему, от искусства вообще мало проку, — выдала я. — Замешательство присутствующих. Переглядываются с улыбочками. Я равнодушно подняла брови. — Видите ли, Ира, — сказал Борис Давыдович, — в условиях безвременья слово берет на себя определенные функции действия... — Есть слово и Слово, — возразил бывший аспирант Белохвостов. — Слово есть слово, то есть пустой звук, — невинно заморгала я своими длинными рес-

ницами. — Ну, конечно! — раскипятился Егор, отставляя в сторону кружку с петухом. — Она думает, что лучше им жопу показать! — Я так не думаю, — ответила я в полной тишине оскорбления личности. — Но я знаю, что лучше!

Оставлена только горсть посвященных. А я говорю: у вас нет шампанского? Они говорят: вроде есть. Я говорю: дайте выпить, я вам сейчас что-то скажу существенное. Они побежали и принесли, налили мне бокал и спрашивают: как дела? — Плохо! — Они радостно закивали: я недурная ученица, но только, думаю, вы сейчас рты откроете, вы тут сидите и рассуждаете, пьесы говенные слушаете, а время течет, вы плачете и понять не можете, отчего это все продолжается, продолжается, никак не закончится, нет, мол, выхода, и коверкаются в тоске люди, да анекдоты пересказываете, а спроси вас: что делать? — молчите или вдруг такую небылицу выдумаете, что всем неловко станет, будто пернули, все обличаете да огорчаетесь, все со скорбными мордами ходите да повсюду скорбные морды развесили, да вздыхаете, славные вы люди, ничего не скажу, совестливые, в говне по уши — с говном воюете, за безнадежное дело пьете и клевете на порядки, злобу копите, сатиру вы-

водите, а мне вот порядки нравятся, да, нравятся! я вообще за чистоту и порядок, а вы — без яиц! — Так я про себя рассуждала и имела право, поскольку на смерть собиралась, а не просто в скорбь и траур драпировалась. А теперь спросите меня: за что я решилась смерть принять через изнасилование? Разве я не знала на своем опыте, как это выглядит и с чем это едят? Потому что, приехав домой на частнике, и совсем не во сне, я собиралась уже войти в свой скромный подъезд, как мне навстречу подходит элегантный мужчина, одет с иголочки и выше среднего роста, и говорит: а я вас дождаюсь. Ну, что ж, дожидайтесь! Мне бы, дуре, постороннего частника окликнуть, он еще со двора не уехал, а я вместо этого окончательно частника отпускаю и обращаюсь к незнакомому брюнету: вы что-то путаете, молодой человек. А он говорит, что не путает, давно меня дожидается. Было это при жизни Владимира Сергеевича, он об этом не знает, и стояла глубокая ночь, и вообще была осень, и это не сон. Нет, говорит отчетливо, не путаю. Я, говорит, сейчас вас выебу! Я немного вздрогнула всем телом и отвечаю: замучаетесь! И направляюсь к входной двери, а он как схватит меня за талию да как отшвырнет туда, где у нас в нашем садике пенсионеры играют

в домино, я полетела через себя и опрокинулась, а он наскочил и — душить, а я сначала отбивалась, а потом смотрю: он, кажется, серьезно душит, то есть так душит, что дышать не могу и воздуха мне не хватает, и я испугалась и подумала, что надо ему дать знать, что ладно, мол, еби, хуй с тобой, а не то насмерть задушит, да только как тут ему дашь знать, когда он навалился и душит, душит, никакой знак не дашь, и пришла мне в голову жуткая мысль, что он меня сперва убьет, а уже потом выебет, и я от этой мысли и от нехватки воздуха, а может быть, нехватка воздуха и была этой мыслью — в обморок, то есть теряю сознание, отключаюсь, прощай, Ира! и не думала никогда больше оправиться, и, когда Владимир Сергеевич (или, во всяком случае, его образ и подобие) ко мне появился, то я решила не сопротивляться, ученая к тому же, он говорит: ну, что тебе стоит! А Дато меня вечно упрекал, что мне ничего не стоит, и ему повсюду хуи мерещились, и он меня разоблачал и ругался, покуда не начинал умирать от страсти, а я ему, смеясь, говорила: вот рожу я тебе ребеночка, а он хватал меня в охапку — и сам мыл, беспокоясь, а я равнодушно взидала на его молодую лысину, старайся, дурак, все равно я бесплодная, как Каракумы, но тогда дело иначе обер-

нулось: я очнулась и вижу — он на мне и — работает, ну, думаю, не убил, и чувствую по некоторым второстепенным признакам, дело к концу приближается, хотя ничего не чувствую, будто хуя у него и в помине не существует, будто пустотой меня ебет, и чувствую, джинсы мои узкие-преузкие через сапоги снял, мерзавец, профессионально, лежу: неужели никто не придет мне на помощь, плачу, неужели не слышали моих пронзительных криков (а я кричала!), вот люди... И теперь что получается? Их спасти? Которые слышали, как меня истязали, и даже не высунулись, в милицию не позвонили! Теперь спрашивается: что им вообще нужно? Новые друзья объясняют: свободу. С ума сошли? Это же хуже воровства! Это же кровью пахнет! Он поднялся, отряхнул свои отутюженные брюки и говорит: ну, пойдем к тебе. Отвечаю сквозь сон: это еще с какой стати? Вы меня изнасиловали, а я вас домой поведу? Он меня угостил сигаретой. Сидим на лавочке для пенсионеров, курим. Я говорю: что вы, ей-Богу, так душили меня? Еще минута, и я бы отправилась на тот свет! А он говорит: иначе бы ты мне не дала. Ну, что же, в этом есть своя логика, но, думаю, нужно идти, а не то он опять захочет, до утра не кончим, и я припустилась, на улицу выбе-

жала, а мой насильник за мною не побежал — он побежал в другую сторону, а я к Аркашке прибежала, он неподалеку живет, а там семья, жена открывает, мы едва знакомы: что это с вами? Странная женщина, отвела меня в ванную, царапины йодом смазывает, будто я не любовница ее мужа, и при этом даже не лесбиянка! Аркашечка на шум воды вышел, шурясь, как крыса, на свет, а я в ванне стою, оборваночка, разволновался, кричит: я в милицию позвоню! А его тихая жена говорит: оставайся у нас. У меня слезы выступили. Как сестра. Я, говорю, твоего мужа больше даже пальцем не трону. Ты христианка, баптистка, что ли? А она не отвечает. Непонятная женщина. А я говорю: ты что, спятил? Один только позор будет. Вся милиция щеки раздует — старуху Изергиль выебли!

Так все и осталось в тайне, никому не сказала, а тот воображаемый, что во сне, тоже надолго исчез, притаился, я даже соскучилась. Ну а теперь мне самой, видите ли, приходилось напрашиваться на то, чтобы меня безобразнейшим образом отодрали, да еще кто! Ну, разумеется, не мои новые друзья, они — ебари нулевые, невооруженным глазом видно, им бы только пофилософствовать. Одни, с обреченным и вялым взглядом, — вылитые им-

потенты, другие, как Ахмет Назарович, — из тех живчиков, что судорожно и недолго дергаются, тоже мне кайф! такие в беседе руками размахивают и истеричны, как женщины, а бывший аспирант Белохвостов, примыкающий к околоцерковным сферам, больно много пил и был бедный, а я бедных не люблю, я не милостыня, и не было среди них достойной кандидатуры, Мерзляков — не в счет, хотя он тоже с недавних пор вялый и бывший, то есть новоявленный лишенец, а раньше веселый был, и я отказалась от всяких серьезных намерений, только думаю: быть мне новой Жанной д'Арк, вот тогда и посмотрим! то есть я умру, но зато святой стану, так мне казалось, и я не то чтобы Россию намеревалась спасти и всякое такое, а захотелось стать святой, от греха до святости ближе, чем из мещанства, открывалась такая возможность, мне Белохвостов нашептывал, стать святой, на все века, и меня воспоют, а Витасик этому воспротивился, не потому, что в чудеса не верил, а меня жалел как бывший любовник, а я ему говорю: поехали вместе на поле, а он отвечает: ты зачем туда собралась? за славой? Глупый Витасик! Какая там слава, если я буду мертвой лежать, испепеленная бесовщиной, слава только живой подходит, а мертвая — она и есть мерт-

вая, но святая — другое дело, это не слава, а бессмертие, и потом надоело все это, весь этот шум. То есть вот как получалось: я хотела не Россию спасать, а себя. Что значит: спасать Россию? Я друзей моих новых спрашивала: что это значит? Получила ли я от них какой-либо осмысленный ответ? Не получила. Отвечает мне на это Ахмет Назарович, полурусский, полукакой-то нацмен: хорошо будет тогда, когда доброта и согласие разольются по русской земле, и все будут любить друг друга и работать прилежно. Бред, говорю, никогда такого не будет. Будет! будет! — убеждает меня. Ах, оставьте вы эти свои глупейшие мысли! — я с ними строго разговаривала: я на смерть шла! Они это понимали и слушали, хотя сомневались: а не будет ли это, Ирина Владимировна, с вашей стороны, терроризмом? не повредит ли экологии? — Нет, говорю, ничему не повредит, и крови людской не прольется. — А что же прольется? — Известно что: вонючее, как гной, семя главного врага России, плотоядного демона, узурпатора и самодержца. А как прольется, он немедленно сникнет, сморщится, ослабеет, и тогда сила справедливости восторжествует, закончится вековечное колдовство, потому что иначе как колдовством всего этого не объяснить.

Они слушали очень внимательно, то есть даже не перебивали, не перечили, онемевшие от моего сообщения и забыв про Егорову пьесу. Откуда вы, Ирина Владимировна, такое взяли? Мне голос был. И верно: ведь был голос! Он и направил меня к Веронике. И что сказал голос? Голос сказал: много разного кислого семени впитала пизда твоя, Ирина Владимировна, совсем ты, душечка, дошла до ручки, пора и честь знать. Вот какой был голос. Я и побежала сломя голову к Веронике, которая все поняла и спрашивает: а сны, мол, про обидчика снились? Я повинилась перед ней в своем сонном грехе: снились часто, и тогда, поморщившись и не желая быть соучастницей, она благословила меня знамением сушей ведьмы и отправляет на смерть: иди и гибни! И говорю я моим новым друзьям: обладаю исключительной способностью. Могу всосать в себя всю нечисть, могу. Только объясните мне, Христа ради, что будет позже, какой Китежград, чтобы во мне энтузиазм бродил, а не просто так бежать, сдуру.

Они задумались и говорят: это будет великий праздник державы, она вся омолодится, скованные силы выйдут на поверхность, как весенние воды, разовьются в дальнейшем ремесла и науки, ананасы под Пер-

мью поспевать будут, а крестьяне станут строить себе двухэтажные каменные дома с канализацией и гаражами, с бассейнами и оранжереями, разводить тучный скот и петь счастливые свадебные песни. Вы не представляете себе, Ирина Владимировна, что будет! Могуча наша земля, Ирина, могуча и своеобразна, только зря лежит и гниет без дела (так мне вражеский голос пел), всякая работа из рук валится, повсюду недостатки, недосдачи, неурожай, труд извращен, рабочий человек со стыдом рабочим человеком себя ощущает, официант с отвращением подает невкусную пищу, все исхалтурились, обленились, спились, обезобразились до неприличия, словом: клеветники! Конец великого народа настает, ежели уже не настал, помогите ему, Ирина Владимировна!

Я все это выслушала подавленно, а у них щеки горят, а их женщины в тот поздний час даже захорошели, несмотря на свои фригидные стороны. Допустим, сказала я, сказала весьма прохладно, не поддаваясь чужому энтузиазму и необоснованным обобщениям, жалея, что нет со мной больше Владимира Сергеевича, допустим, что все так и будет, как вы говорите. Но где гарантия, что уже не прошел назначенный час? осталось ли, кого спасать? не напрасно ли я жертву беру на себя и гибну?

Скажу по совести, мнения присутствующих разделились. Одни, например, как Борис Давыдович, он у них за главного, с него и спрашивайте, а я что? были уверены, что хотя сроки сильно затянулись и хорошо бы, конечно, этим было заняться пораньше, лет двести-четыреста тому назад, если не раньше, пока нам не вставили клизмы насильственной азиатчины, и наши киевские краевиды не уступали закатам Клода Лоррена, однако он все-таки верит в исконные качества коренного населения, в его пассивное сопротивление капитализму и бесчеловечной эксплуатации человека человеком, что он прав, потому что идеи его верны и т.д., но другие, с их стороны, были даже разочарованы от таких слов и народнических воззрений, потому как развитие капитализма не затормозишь, а его следует использовать в своих целях, и упрекали в беспочвенных фантазиях, короче, не верили, Витасик первый не верил, но он среди них не был первый, и слова они ему не давали, а я смотрела на него, грезя о шести днях молниеносной любви, когда, не вылезая из постели, мы жили страшным чувством страсти, и Мерзляков кричал, что ему нечем больше кончать, и все-таки кончал: кровью. Вот, тогда кровью кончал, а здесь проявил пессимизм. Извольте,

говорит, меня тоже выслушать, я Иру люблю не только как символ смелости и не только потому, что она, как вы выражаетесь, показала задницу миллионными тиражами, нет, просто незачем девке зря гибнуть! — Кассандра! Кассандра! — зашикали новые друзья, а один из них, в грустных очках, засомневался в том, что Витасик — русский человек. Мерзляков был, однако, совершенно русский, несмотря на плавность замедленной речи и ухоженные ногти и морду, которая, признаться, была мне когда-то мила на вид, и я обиделась за него и сказала: пусть он наконец скажет! И Витасик сказал. Он сказал, что, по его мнению, никакое хирургическое вмешательство, пусть самого мистического порядка, не способствует возрождению, что развитие должно быть имманентным, и богоносца нужно предоставить самому себе, и мы ему не лекари — а кто? — как кто? — удивился Витасик. — Самозванные адвокаты. Дамы были скандализированы, но Витасик продолжал, потому что я так хотела: — Ирочка, тебе нечего спасать, но тебе есть кого спасать: себя, а про остальное забудь и выбрось из головы. — Это почему? — закричали хором. Драматург Егор сказал: — Что касается пьянства, то пить не бросят. Тут Витасик прав. Об остальном судить не берусь. —

Но Юра Федоров возразил им обоим: — Пьянство, — сказал он, — не самый большой грех, если вообще это грех. Это, если хотите, форма всеобщего покаяния, когда церковь загнана в угол и пребывает в стагнации. Это — покаяние, и это значит, что моральные силы народа еще далеко не истрачены. Ибо, Ирина Владимировна, сказал он, будто никогда не изводил Ксюшу шпионскими домыслами насчет ее парализованной сестрички, ибо, Ирина Владимировна, знайте: чем больше они пьют, тем больше мучаются. Они спиваются, обливаясь слезами, а не потому, что они свиньи, как утверждает Мерзляков. Тут Витасик вскочил и заорал: — Свиньи?! Я их не называл свиньями! Но я не виноват, что у них каша в голове!.. — Пожалуйста, прекратите! — не выдержал хозяин дома. — Вы думаете, что вы говорите? — Витасик побагровел: — Я жалею, Борис Давыдович, только об одном: зачем я привел ее сюда. — Послушайте, Мерзляков, — сказал Борис Давыдович, — мы ведь все умные люди. Мы не любим одни и те же вещи. Почему мы не можем договориться? — Потому, — не унимался Витасик, — что перед нами исторический парадокс воли. Народ не хочет того, чего он должен хотеть, а хочет того, чего он не должен. — Безответственная игра слова-

ми! — с отвращением заявил Ахмет Назарович. — Он хочет жить хорошо, — сказал Егор. — Ерунда! — отмахнулся Витасик. — Будем объективны. Он никогда так хорошо не жил, как сейчас. — Что??? — Ты церковь не трожь! — выступил бывший аспирант Белохвостов. — Церковь еще покажет себя! Ничего она не покажет! Покажет! Ты вот посмотри лучше, как живут! Ты жизни не знаешь! А ты знаешь? А вы вообще молчите! Да как ты смеешь? А вот и смею! Хватит! Хватит!

ХВАТИТ! Белохвостов, уберите руки от Мерзлякова! Пусть проваливает! Отпустите его, я вам русским языком... Не замахивайтесь бутылкой!

— Я, пожалуй, пойду, — сказала я, поднимаясь. Всем стало стыдно за всех. У меня закружилось в голове. И я сказала присмиревшим друзьям: — Дорогие мои! Ясно, как день, что ничего не ясно. А раз хотя бы это ясно, то давайте попробуем! А потом посмотрим. — Ну, как всегда, — пробормотал Мерзляков. — Сначала сделать, а потом смотреть. — Успокойся, — сказала я. — Я — не большая художественная ценность. Ну, помру... Как будто до меня никто не помирал! — Мой аргумент был неопровержим. Я увидела, как в глазах мужественных женщин, подруг моих новых друзей,

Русская красавица

застряли слезы, а Ахмет Назарович приблизился ко мне и обнял, как собственную дочь. Егор тоже поцеловал меня: он верил в демонов, несмотря на свойственное ему лукавство. Стали думать, как это сделать. Составился заговор. Я объяснила.

Нужно поле. Нужно такое поле, где проливалась невинная и праведная кровь. Кто-то, не помню кто, заметил, что она всюду проливалась, долго искать не придется. Витасик, верный себе, мрачно сказал: была ли она невинной и праведной? Ахмет Назарович выдвинул Бородино. Он не уважал французов, считал их нацией без-царя-в-голове и полагал, что именно там был поставлен заслон жуирству и декадентству. Молодой Белохвостов предложил Колыму, и причем совершенно серьезно. Он высказал распространенную точку зрения и призвал всех немедленно вылететь туда самолетом, он берется за это дело, он обеспечит жильем, у него там есть друг, золотодобытчик, если только тот еще на свободе. Все неожиданно единодушно согласились лететь: и мужчины, и женщины, и сам Борис Давыдович со своей палкой, они сказали, что там, конечно, лучше всего, но только несколько далековато. К их удивлению, я решительно воспротивилась. Я сказала, что ни на какую

Колыму я не полечу, потому что там живут чукчи и олени, пусть они сами между собой разбираются, а что там русские мерзли, — так мало ли где они, бедные, мерзли! — Может быть, тогда, где с татарами... — робко предложил Егор. Он был, по-моему, прав. Тут и вера, и своя исконная земля. А на Колыму не поеду. Там холодно бегать, я простужусь, — сказала я. — А на Бородино, хоть и близко, ехать, я считаю, стыдно! — сказал детский врач Василий Аркадьевич (приятная внешность, усы, манеры). — На Бородине лежат кости просвещенной нации! Там лежат кости людей, которые были выше нас по всему. Вы только посмотрите: их дети, грудные дети! и то показывают чудеса спокойствия, воспитания, культуры. Они не ревут, не капризничают. Они не докучают взрослым. Они всегда играют в осмысленные тихие игры! Это — либералы с пеленок, а либерализм, как-никак, высшая форма человеческого существования, а наши только мечутся да вопят, да материнскую грудь обкусывают до безобразия!.. Жаль, что они растерялись в дыму московского пожара! — На это еще сетовал один из братьев Карамазовых, — заметил энциклопедист Борис Давыдович. — Тем более! — сказал педиатр. — Смердяков, — уточнил Борис Давыдович. —

Это еще ничего не доказывает! — не смутился педиатр. — Нет, доказывает! — перешел в атаку притаившийся Ахмет Назарович. — Какие же они просвещенные, эти ваши французы, если их история и вся жизнь — сплошной, непрекращающийся Мюнхен! — Ха-ха-ха! — довольно естественно рассмеялся Василий Аркадьевич. — Ха-ха-ха. А что они, по-вашему, из-за вас должны пропадать? Да они на вас плевали! Как мы с вами плюем на китайцев! — Я не плюю, — с достоинством заметил Ахмет Назарович, — на китайцев. Я вообще ни на кого не имею привычки плевать. — Нет, вы плюете! — сказал детский врач, войдя в раж (ни усов, ни манер). — Я прекрасно помню, как вы пятнадцать лет назад мечтали сбросить на китайцев что-нибудь тяжеленькое, от испуга, я помню. — Ахмет Назарович покраснел, как гранат, и сказал: — А я, Василий Аркадьевич, помню, как вы письмецо накатали в медицинский орган, когда вам маленечко хвост прищемили, и вы в нем все, ну совершенно все, воспели! — Господа! — крикнул Борис Давыдович. — Мы все не без старых грехов. Я, например, убил в конце войны молоденькую и совершенно невинную немку. Но мы ведь их искупаем! Мы их искупаем и искупим, господа хорошие! — Боря, — сказала жена Бо-

риса Давыдовича. — Береги свое больное сердце! — А вот я, к примеру, без грехов, — подумал радостно молодой Белохвостов. — Я никому задницу не лизал. — Ну и зря, — пожалела я его, вспомнив замечательный закон Мочульской—Таракановой. — Очень зря!

Я сразу поняла, что молодой аспирант плохо разбирается в женщинах, и мне не очень захотелось лечь с ним в одну постель. Я представила его: лицо суслика, умиление и сироп, сатиновые трусы, ах, не надо! но я сдержалась и, конечно, закона не обнародовала. В конце концов они выбрали поле, и встал вопрос о машине. Василий Аркадьевич галантно предложил свой запорожец. Я — наотрез. Неприятные ассоциации. Ушибленное бедро. И потом: на запорожце в такие рискованные приключения пускаться неловко. Это насмешка. Юра Федоров предложил свои услуги. Оказалось: у него жигули. У тебя жигули? Ну, кто с Ирочкой едет? Ты поедешь, Витасик? Витасик ответил, что он не поедет. У его жены аллергия внутренних органов. Дипломатическая болезнь. Он один был против. На него смотрели, как на отщепенца, и мне даже стало жалко его, и я сказала: — Я знаю, почему он против. — Я тоже, — сказал Белохвостов, к тому време-

Русская красавица

ни выпивший водки. — Он не любитель России. А я поеду! — Нет, сказала я, — вы не езжайте. Вы напьетесь. — Он был посрамлен, а Мерзляков заметил с гадкой усмешкой: — Ты молчи. Тебя через полгода здесь не будет, со всей твоей любовью! — Это не аргумент, — сказал Белохвостов. — Это еще не аргумент, а если это аргумент, то он созрел знаешь где? — Кажется, они недолюбливали Мерзлякова. — Где? — вежливо поинтересовался Мерзляков. Белохвостов зло рассмеялся. Егор выступил посредником. Бывший лакей. Всеобщий любимчик. Выбрали татарское поле, несмотря на сопротивление Ахмета Назаровича, упомянувшего о былых крепких связях Руси с татарвой. — Не нужно упрощать! — сердился он. Егор тоже вызвался ехать. Он был мастер рассказывать байки, и от него, по дороге, чтобы развлечь меня, я узнала, кстати о татарах, что Зинаиду Васильевну отоваривал некий казанский скульптор, и она кричала во время любви: — Дери меня, татарская сила! — и сила драла. — А Владимир Сергеевич знал? — Нет, — простодушно ответил Егор. — Что же ты мне раньше не сказал! — пожалела я. — Может быть, и не пришлось бы тогда бегать по этому проклятому полю...

Итак, поле. Трагедия моей нелепой жизни. Был теплый сентябрьский денек. Вернее, раннее утро, которое не было еще теплым, знаете, как у нас в сентябре утренники, прозрачное дыхание осени, но вставало солнце, листья золотились, обещая ласковую погоду. До поля пять-шесть часов быстрой езды. Они приехали и посигналили мне со двора. Последний штрих карандаша (для бровей), контрольный взгляд в зеркало, все! я готова. Я сбежала вниз, держа в руке широкую плетеную корзину с едой, как на пикник: арбуз, купленный у калмыка, бутерброды с ветчиной и сыром, в фольге цыпленок с хрустящей кожицей, батон за двадцать две, бутылка сухого вина, малиновые помидоры, салфетки, солонка с наперсток и термос, в нем крепкий кофе. — Здравствуйте, мальчики! — Я улыбалась. Мне

не хотелось в тот день быть грустной. Я была в джинсах песочного цвета, очень клевых и совсем не ношенных, замшевом куртянчике (тот же цвет, что и кожица жареного цыпленка), и на шее сине-бело-красный шарфик. Картинка. — Национальные цвета, — Юра одобрил шарфик. Щекочась усами и бородой, Егор целовал мне руку. — Ну, с Богом! — сказала я, захлопывая дверцу, и перекрестилась, хотя еще не была крещеной. — С Богом! — степенно произнес Егор. — Вы дверями не очень-то хлопайте, — проворчал собственник. Мы тронулись. Чувствовалась ответственность момента. Через несколько часов (вечером, в сумерках) должны были решиться две судьбы: судьба России и моя судьба.

Увеселительное путешествие! Ветерок в волосах. Редкие облака, похожие на косметическую ватку. На полной скорости мы мчались на юго-восток, вглубь, к полю. Чистенькое, прибрахлившееся Подмосковье встретило нас легкомысленными перелесками, опустевшими дачами, вокруг которых висели яблоки и доцветали золотые шары, георгины, разноцветные астры. Я астры терпеть не могу. Почему? Однажды, на похоронах... Ладно. Расскажу в другой раз. В поселках девчушки в шоколадных платьицах несли огромные портфё-

ли, и сквозь утренний сон с нерастревоженным любопытством через заднее стекло автобуса взирал на нас рабочий люд.

Не нужно далеко уезжать от Москвы, чтобы увидеть, как быстро опрощается жизнь, как замедляются шаги и слабеет дыхание моды, как уже на сороковом километре начинают донашивать то, что в Москве доносили, как расслабляются лица, хотя на многих особый налет особой подмосковной злобы, околостолличный пояс шпаны и вечернего хулиганства, танцевальные площадки за загородками, дощатые клубы, нелюбовь к дачникам и презрительная зависть к столичной публике, здесь сильная волна города, разбегающаяся кругами, будто от камня, и Кремль — этот камень, сталкивается с ответной могучей волной, бегущей с просторов, и смешалось: телогрейки с туфельками, бублики с махоркой, здесь догоняют, не догоняя, и остаются с блатной улыбочкой, едем дальше, туда, где обрывается автобусное сообщение с трехзначными номерами, где выдыхаются пригородные электрички, замирая на каждой платформе, пока что бетонной, где крепнет завязь деревенской жизни, грязь на сапогах, ноги прирастают к земле, куры и классические облупленные портики послевоенных построек, и после несклад-

ного промышленного города с размашистыми лозунгами новый скачок, прошлогодние моды становятся стародавними, воспоминание о юности, школьный твист, мини-юбки, начесы, расклешенные штаны, патлатые битлы и посвист транзисторов, время разменяно на расстояние, словно есть в России такой банк, совершающий операции по установленному издавна курсу, и, обмененное на километры, время сгущается в воздухе, консервируется, как сгущенка, и, тягучее, скапливается на дне, тасуются десятилетия, вон вышла женщина на каблуках нашего детства, вон на поле мелькнула гимнастерка родительской юности, а вон уже вечность, гнездящаяся в старухах, которые стабильнее швейцарского франка и которые, как по указу, из комсомолок перешли в прихожанки, потому что венозная кровь предков сильнее строптивного атеизма, но столица еще сохраняет свои права, в палисадниках мелькают пестрые машинки, хотя между ними все чаще попадают допотопные модели москвичей с самодельной системой стоп-сигналов и брюхатые победы, но вот заканчивается столичная область, поля раздаются вширь, местность топорщится и холмится, не разглаженная цивилизацией, растягиваются расстояния между деревнями, те все больше приобретают

оставленный вид, водопровод сменяется колонками, рубахи парней становятся пестрыми, лица в веснушках, но эта пестрота тоже сходит на нет, и лица отпускает суета, на грани времени лицо не терпит суеты и, не успев расстаться с молодостью, отгуляв свадьбу, костенеет, и что значит вечность, если не равновесие между жизнью и смертью?

Так всегда, когда едешь из Москвы: смотришь в окно вагона или с Ксюшей катишь в машине на юг, в Крым, в жизни на долгие километры наступает заминка, и трубы, дымящие вдалеке, вместе со своими дымами кажутся вырезанными из картона, но вдруг на полпути начинается, сначала едва заметный, новый прилив жизни, ничего общего не имеющий со столичным прибоем, это плещется волна полуденной, хохлацкой жизни, в полях тучнеют многоголовые подсолнухи, крепчает шутка старых лет — кукуруза, там тело знает ласку солнца, и, выйдя на обочину, его прикосновение чувствительно для щеки, и вот в какой-нибудь придорожной ресторации, где борщ уже необязательно грозит расстройством желудка, вас спросят: — Откуда вы? С севера? — и подчеркнут в разговоре умеренность здешних зим, но мы сегодня туда не доедем, не та дорога: другой маршрут, мы остановимся

посередке, убежав от гравитации столицы и не доехав до южной ленивой бессовестности, где бабы не носят трусов, любят пожрать и норовят соснуть после обеда. Сегодня мы остановимся посередке, в черте покоя, где в магазинах пустота, и это никого не удивляет, где вдоль дороги ходят мужики в черных пиджачишках, носить — не сносить, и в черных кепках, надетых однажды на голову да так и забытых на ней — ну, как жизнь? — как? да никак! — вот и весь разговор, а бабы полощут белье на прудах, задрав свои сиреневые, розовые, небесные и зеленые зады, полощут застиранное, заштопанное, залатанное бельишко и ни на кого не в обиде.

И только бузит шоферня. Стучат гулками кузовами. Рискованные обгоны. Юра впивается в руль. Езда с позиции силы. Федоров уступает. Чертыхается. Случайные пассажиры. От Владимира до Курска, от Воронежа до Пскова — ну, как? — да никак! — В Москве все есть. Девки всем дают. Мы всех кормим. Порядка нет. С тебя трешник.

Но красавиц возят бесплатно.

А мы ехали в модненькой машинке, отполированной Юрочкой, как румынская мебель, на кассетнике надоевшие шлягеры и Высоцкий по сотовому разгу, он мне кивал после «Гам-

лета», саксофон похож на гармошку, пейзаж набегающей осени, поля разрастались, леса расправляли кроны, по полям ползали тракторы, и я ждала от смерти бессмертия, не пора ли позавтракать, сказала я Юрочке, не пора ли подкрепиться, расстелем скатерть-самобранку, вот и лес пошел веселый и пестрый, да и писать, поди, всем хочется, но Юрочка — упрямый водитель, не хотел, чтобы обогнанные грузовики его наверстывали, отнекивался, а благодушный Егор, задремав на задних рессорах, мечтал, как кот, о ветчине. На колеснях бессмысленная карта, он в ней ни бельмеса, хотя объехал полстраны от Карелии до Душанбе, а зачем ты ездил? а Душанбе, оказывается, по-местному, понедельник, пока не пристроился истопником у Владимира Сергеевича, от нечего делать ездил, а я обрадовалась и сказала: тогда Ташкент — вторник, Киев — среда, Таллинн — четверг, а Москва — непременно — воскресенье! и я рассказала ребятам, как с детства мечтала стать Катей Фурцевой, и как бы под моим руководством расцвели бы по всей стране, от понедельника до воскресенья, театры и мюзик-холлы, художнички и музыканты, как было бы весело, и все бы меня любили. Ребята хохотали и отвлекались от цели поездки, и я вместе с ними отвлекалась,

а Юрку я бы назначила своим заместителем, нет, мать, ты бы всю культуру под откос пустила! и мне хотелось вот так ехать и ехать, под нескончаемые блюзы и небеса, но хотелось есть и писать, и я взбунтовалась, и Юрочка уступил, и мы постелили скатерть и стали немедленно все уплетать, проголодались, а как пожрали и закурили, окончательно развеселились, и даже не хотелось ехать дальше, я повалилась в траву, вот так бы и лежать, все удивительно хорошо, но Юра стучит по стеклышку часов. Дорога вскоре пошла халтурная, с колдобинами, Юрочка сбавил газ: мы ехали по притихшей России, и мне стало грустно: у нас разные роли. Мои конвоиры относились ко мне с нежностью, прикуривали сигареты, похлопывали по плечу, и Егор достал из кармана ириску, я улыбнулась Егору со слезой, но мутное чувство догнало меня, уж так ли они бескорыстны? везут выдавать, нет, что это я? я добровольно, но что они думают про себя и чем их нежность лучше той, ресторанной? той нежностью я управляла, у меня были устоявшиеся правила, взявшись за член, проверь, не протекает ли он, как дырявая крыша, и победа им важнее, чем удовольствие, они пыжились и разбухали на глазах, они насвистывали победные марши, пока я бегала подмываться,

победители! они не любили любить, а только без устали побеждали, а здесь, дуреха, выпустила нюни, увидев ириску, тогда как я знала цену ресторанной нежности, знала, но прощала, другое мне не светило, так пусть она будет оплачена золотом, а не убогими копейками! я презирала безденежных мужиков, за мужиков не считала, а теперь, но я же ведь добровольно, почему мне так не повезло? я хотела так немного, свой дом и уют, куда они меня vezут? они везли меня сдавать, как пойманного финнами дурачка финны с почетом сопровождают до реки, до границы, жвачка, сигарета, чашечка кофе, любезнейшие-разлюбезнейшие, понурятся, еще сигарета? — мне рассказывали, но от меня на этот раз хотели больше, почему я согласилась? нежны, как с осужденной на смерть, что я знаю о смерти, кроме того, что это больно? и никто, никто меня не пожалел, один Витасик, но разве это называется пожалел? ведь он мог прийти вчера, когда я жарила цыпленка, я была одна, нет, остался с женой, с ее аллергией, даже не позвонил! тоже мне друг, а эти двое, почему они так безжалостны? ради чего? и боятся, что вдруг сорвется, не довезут, и перемигиваются между собой через зеркальце, или я стала мнительной? В общем, я помрачнела, и они встревожились.

Егор на полуслове прекратил веселую байку, Юра недосмеялся, повисла тишина. Я всхлипнула. Они не проронили ни слова. А что сказать в мое утешение? Мы въехали в пыльный путаный город без начала и без конца, руки холодные, как у лягушки, годы скукожились, не разобраться, я так мало жила! и мой пьяноватый папаша мне ухмыльнулся в лицо, я сказала: знаете, чего я хочу? я хочу жареных семечек! На базар! — Они бросились расспрашивать прохожих. Они выбегали из машины и расспрашивали прохожих. Они очень обрадовались. Прохожие отвечали невежливыми, но певучими голосами. Прохожие были очень обстоятельны насчет названий улиц и ориентиров, после аптеки увидишь хозяйственный магазин, свернешь налево, и любопытны, поглядывая в мою сторону. Немоощеными проулками, напомнившими мне один старинный городок, мы добрались до рынка. Там было уже мало народа и мало торговли, продавцы зевали и маялись, и были лужи, хотя в округе не было луж, мы шли по нетвердым мосткам, какая-то кляча стояла на привязи, мордой в столб, и сновали собаки, но семечки были и яблоки тоже, все в точках, ушибах, все в крапинку, яблочки, похожие на лица людей, и, сидя на мешках не то лука, не то картошки,

мужики дули пиво, жидкое пиво с хлопьями осадка, собаки всем своим существом выражали покорность, и стоило им понюхать мешок — их прогоняли, шуганув гнилой луковицей, они отбегали, не обидевшись, подобрав уши и хвосты. Бабы с рук продавали ветошь, краснокожий грибник в долгополом дождевике торговал лисичками, полураздавленными в мешке, в другом ряду — металлические погремушки: винты, гвозди, замки, сочленения труб — пропивал старикашка-слесарь, куря и покашливая, свое заведение, и вместе с трубами пара детских ботиночек, васильковые, с оббитыми мысками. Мои ребята отошли к продавцу помоложе и побойчей. Не без надменности он разложил по прилавку стопки журналов, книжки, пластмассовые сумочки и ярко размалеванные портреты: киски с бантиками, умные собачки, Есенин с трубкой. Егор полистал поэму Гоголя «Мертвые души» и приценился. Юра, больше всех нас соблюдавший осторожность, вляпался в грязь.

И вот, оглядев базар, я подумала, что здесь-то и нужно спросить у людей, чего им недостает и за что мне бегать. Все обозначилось неумолимо. Были мы, московские попугаи, затверженно праздной походкой слоняющиеся, и были они — держатели тверди, хра-

нителю целого, капиталисты вечности. Они жили, мы — существовали. Мы плескались во времени, как серебристые рыбки.

Разница между нами оказалась на удивление проста: их жизнь полна неосмысленного смысла, наша — осмысленная бессмыслица. Выходит, что сознание приобретается в обмен на утрату смысла. Далее наступает погоня за утраченным смыслом. Много далее происходит торжественное заверение: смысл достигнут и обретен, однако малозаметное недоразумение состоит в том, что новообретенный смысл оказывается неравнозначен утраченному. Осмысленный смысл лишен невинной свежести первоначального смысла.

Обладание смыслом не является их достоинством, он принадлежит им равно так же, как корове — ее молоко. Однако нужно признать, что без молока нет жизни. Наша основная вина расположена в отношении к смыслу, но мы часто проецируем ее по отношению его природных носителей и тем самым качества смысла перекладываем на их плечи. Такая аберрация составляла и продолжает составлять значительную часть содержания нашего национального бытия.

К чему скрывать? Я ведь тоже была когда-то ОНИ. Я была неотличима от школьных

подружек, я была, как мамаша, которая осталась О Н И, несмотря на все бредни и желание переместиться в иудейские Палестины, но во мне был избыток жизни, и в этом праздном и праздничном лоне избыточности зародилось мое несчастье.

Стало быть, сознание — это роскошь и, как всякая роскошь, влечет за собою комплекс вины и в конечном счете наказание. Утрата смысла и является нашим традиционным наказанием.

Вот и все. Но тогда мне это как-то не приходило в голову, и я приставала к Егору, кивая на недоумков, улыбаясь издали межеумкам: — Егор, приставала я, объясни ты мне, ради Бога, чем О Н И лучше нас? — А Егор, тоже бывший О Н И, сказал: понятия не имею, ничем они не лучше. Тогда я задала более каверзный вопрос: Егор, значит О Н И хуже? И тут Егор засомневался и не хочет признать, что О Н И хуже. Но О Н И же хуже! — настаиваю я. — Отстань! — отвечает Егор, а Юрочка, потомственный интеллигент, с отстоявшейся совестью, говорит: — Нет, все-таки чем-то О Н И лучше... — А раз лучше, — всколыхнулась я, — то давайте-ка, мальчики, с ними посоветуемся! расскажем начистоту, куда и зачем мы едем, как я буду бегать по полю, привлекая ве-

ликого узурпатора (узурпатора ли?), и как он меня испепелит, и спадет пелена (да спадет ли?)! Давайте, мальчики, спросим, давайте! Не будем мудрить, потом помудрим, а пока без занавески: чем О Н И лучше нас, чем хуже? Не знаю! Но пусть ответят! А потому О Н И лучше нас, нашелся Юрочка, что О Н И нас не спрашивают, лучше ли мы их или хуже, а мы их спрашиваем! Да такое ли это великое преимущество, если у них мозги поворачиваются со скоростью остановившихся часов? Нет. Не хочу наугад бегать, хочу спросить. И мои конвоиры и кавалеры ничего со мной поделать не могли, а я подошла к бабам и говорю:

— Слушайте, бабы! Отвлекитесь на пару минут от торговли! Вы знаете, кто я?

Бабы только покосились на меня и немного свой товар поприпрятали, все эти тряпочки да чулочки, будто я ревизор или мусор, а некоторые и к выходу поспешили, от греха подальше. Вижу: спугнула, то есть они разбегаются и теперь не собрать, и тогда я взяла и влезла на прилавок, схватившись рукой за сваю, что крышу над торговым рядом подпирает, и закричала:

— Стойте! Послушайте! Эй, вы все здесь! Стойте! Я сегодня смерть приму, чтобы все вы без исключения могли жить лучше и красивее,

безо всякого обмана приму, как в свое время Жанна д'Арк! Я побегу по татарскому полю, которое от вас неподалеку, слышите меня? Пойдите, бабы! Не убегайте! И вы, мужики! Кончайте пить! Я у вас совета прошу, а не вас учить. Объясните вы мне наконец, люди добрые, что вы хотите, как вы жить желаете, чтобы я для вас не напрасно пострадала, чтобы я ради счастья и жизни вашей на смерть пошла!!!

Так я заорала, потому что трусихой я не была, да я же только совета у них просила, ну, даже меньше того, чтобы остановились и послушали, все-таки невидаль, так пусть хотя бы из любопытства, но, во-первых, Егор с Юрочкой перепугались и давай меня с прилавка снимать, а я отбивалась, а бабы — бабы уже, не хоронясь, бежали вон, улепетывали, а мужик, что на мешке с луком сидел, пальцем висок крутит и на меня лыбится: то ли пьяная, то ли из дур-дома... Только пока меня Юрочка с Егором с прилавка снимали, власть все-таки появилась, на крик пожаловала, приближается из-за угла. Вы, говорит мне он вежливо, глядя на меня снизу вверх, зачем это на торговый ряд залезли, где торговля идет? Вы, гражданочка, почему общественный порядок несколько нарушаете? Документы ваши, говорит, вы мне покажите. Тут бабы, смотрю, из-за

углов выглядывают и, конечно, радуются, а мужики тоже глядят, пиво попивают. Я спрыгнула с прилавка, смотрю, милиционер-то плюгавенький, скромный паренек без всяких различий на погонах, ну, самый рядовой из рядовых. Я ему говорю: не покажу я тебе документов! Не хочу! Тут, смотрю, Юрочка потянул его немного в сторону, что-то внушает. Мол, московская актриса, проездом, с капризами, сами видите, а документы в машине, пойдемте, я вам покажу, мы здесь на площади запарковали, и погода у вас чудесная, давно дождя не было? ты куришь? — они закурили, так бы мы и вышли на площадь, да я говорю: раз такое дело, то хоть семечек мне купите! — Ну, вот, видишь, смеется Юрочка, и мильтон смеется, и оглядел властно рынок: ну, у кого там семечки? Купил Егор мне семечек, к машине пошли, и мильтон за нами увязался: ребята, джинсы не продадите? А Юрочка, потомственный интеллигент, он, конечно, масляным голосом: с удовольствием бы продали, да только выехали из Москвы ненадолго, другими не запаслись, сам понимаешь... Мильтон понимает, не без штанов же в Москву возвращаться, а вы, говорит он мне напоследок не без застенчивости, вы уж больше народ не смущайте... Да его, отвечаю, не просто сму-

тить, его пока смутишь, замучаешься. Он весь сперва разбежится, одна пьянь останется, да и та уползет на карачках... Милиционер улыбается. Актриса шутит. Но все-таки мысль в голове: зачем все-таки на торговый ряд в сапогах таких интересных полезла? Так с этой мыслью он остается и смотрит нам вслед, так с ней и живет: зачем? зачем? Так живет и про меня вспоминает, и сладко ноет это воспоминание, и перед тем, как заснуть, говорит своей жене Нине: А вот все-таки не пойму — зачем это московской актрисе на ряды понадобилось залазить, а, Нин? А Нина, подумав, отвечает: А может, она какую роль репетировала? А милиционер ей на это: А ведь и вправду, Нин, наверное, роль... в самом деле, Нин... как я это раньше не подумал, что она роль репетировала... А жена его Нина скажет ему с укоризной: Недогадливый ты у меня, Иван, больно уж ты, Иван, недогадливый... И потом они замолчат, надолго, на всю жизнь замолчат, а когда встрепенутся: глянь, она — старуха нечесаная, а он уж в отставке, старшиной вышел, с медалями, и умирать пора, и мы умираем.

Только выехали из этого города, где базар, как Юрочка на меня напустился, выражает неудовольствие, упрекает за капризы, а я семечки щелкаю, поплеываю, да в окошко смо-

трю на отсутствие всяких достопримечательностей. Они помолчали и оставили меня в покое, мои сердечные конвоиры, и стали спорить между собой, отчего на многих встречных грузовиках, особенно как из столичной области выехали, портрет Сталина в маршальской форме выставлен в окне. Сокрушаясь, Егор говорил, что народ его за войну уважает, а Юрочка возражает, что народ против бардака выступает и что нет здесь никакого тайного умысла, потому что никаких расправ они не желают, а просто соскучились. А потому, говорит Юрочка, они усатого выставляют, что ничего не помнят, не знают и знать не хотят, и зашел у них длинный спор, знают ли и хотят ли знать про расправы, и никак они не могли понять, знают или прощают, за порядок готовые все простить, а я слушала, слушала и говорю: а давайте их спросим? А они говорят: — Ты сиди! Ты уже один раз спросила. Еле ноги унесли. — Хотя нас даже никто не тронул, а они заспорили дальше: продержалась бы держава, коли не было бы Сталина, или бы развалилась, и хотя они думали, что не развалилась бы, но по всему видно, что развалилась бы и Гитлера бы не победили, а я их спрашиваю: а как вы думаете, ему когда-нибудь кто из женщин в рот брал или нет? Они задумались. Поди раз-

берись... Говорят, Берия — это точно, ему отсасывали, это у него на морде написано... Впрочем, какая, дескать, разница? А я говорю: есть разница, потому что если ему не отсасывали, то он и ходил таким зверем. Они расхохотались и сказали, что это бред, и завели научный разговор, так что мне стало скучно и неинтересно. Потому что у меня, может быть, особое женское мнение на этот счет.

Убивал он там невинных людей, как некоторые утверждают, или не убивал — теперь это уже все равно и неважно, может быть, он их за дело убивал, за то, что они не верили, что он хочет сделать хорошее людям, и они мешали ему, а он на них злился и убивал как великий оскорбленный и разгневанный человек. А Егор уперся, что он не великий, а что садист и кровопийца, что он палач и изверг. А я говорю: ну чего ты так разнервничался! Бог с ним, со Сталиным, надоело! давайте о чем-нибудь другом поговорим. А Егор говорит: ты не можешь быть настоящей Жанной д'Арк, если ты к Сталину положительно относишься, а я говорю: почему это я к нему положительно отношусь, подумаешь, тоже мне, грузинская обезьяна! а наверное, было ему приятно командовать, и разве жалко было чужой народ убивать? — Так он и грузин тоже убивал! —

Русская красавица

возмутился тут Юрочка. — А вы говорите, что он был несправедливым! — уела я их. И, между прочим, говорю, мне Владимир Сергеевич рассказывал, он со Сталиным несколько раз встречался, что Сталин всякого человека насквозь видел, со всеми его потрохами, а вы говорите: невеликий...

Смотрю — они не очень довольны моими речами и говорят: ты лучше вспомни, как тебя саму чуть машина не задавила, ты об этом подумай, а это, говорят, мелочи по сравнению с Колымой. Вот, говорят, пустить бы тебя тогда на Колыму, чтобы каждый надзиратель над твоей красотой надругался — ты бы иначе заговорила, а я отвечаю, что нечего мне было на Колыме делать, я бы, наоборот, с Владимиром Сергеевичем на сталинских приемах была бы первой красавицей и улыбалась бы восторженно в объектив, и давайте, мальчики, не ссориться! Из-за Сталина даже смешно ссориться, может, еще из-за кого-нибудь будем ссориться, может, из-за императора Павла? а они говорят: так зачем же ты по полю бегать будешь?

Ну, это другой вопрос. Он к политике отношения не имеет. Он имеет отношение к тому, что зовется колдовством. Много разных дегенератов развелось, бормотуху пьют, мычат

неразборчиво, а как побегу, там станет ясно, кто прав, кто виноват, и вообще, говорю, отстаньте от меня, я вообще могла бы выйти замуж за одного латиноамериканского посла и жить в Панаме, и на все плевать. А чего не вышла? А вот и не вышла, сама не знаю. А сколько раз: вот-вот судьба улыбнется и, кажется, сейчас, сейчас вынесет меня к счастью (а много ли мне надо?), так нет! везет каким-то замухрышкам, пигалицам везет, у которых ни кола ни двора, а мне... Они переглянулись между собой и говорят: ладно, Ирочка, давай не будем, а я, мне вожжа под хвост, вы меня не знаете, я такая — как упрусь, не сдвинуть. Бывало, какой-нибудь мужик распалится, только полезет, а я вдруг говорю: нет! не хочу! Как? почему? что случилось? Он весь дрожит, ему необходимо, а я говорю: нет! а вот нет! Расхотелось... И смотрю с удовольствием, как он опадает. А чтобы про себя много не воображал! Подумаешь... Так и здесь. Ах вы, думаю, голубчики! Переглядываетесь! Чего, мол, с ней спорить, пусть бежит сначала по полю, пусть надывается и гибнет, пусть ее разорвет от вражеского семени — неважно: она помрет, а мы жить останемся, нам солнышко будет светить, над нами каждый день солнышко будет вставать, а она пусть червей кормит!

Русская красавица

Они уже с трассы основной свернули, по карте справляются, ехать недолго, скоро это самое татарское поле всплывет, недолго со мною мучиться, мои капризы сносить! Я говорю: вот что, я вообще бегать не буду, вы мне мое героическое настроение перебили. Смотрю, Егор медленно стал наливаясь краской, сейчас, как граната, лопнет его бородастая морда, а Юрочка, он понял, что созрело критическое положение, он хитрый, он говорит, весь печальный и ясный: ты, Ирочка, не ради нас бегаешь, и не мы тебе этот бег предложили. Ты бежишь, потому что тебе голос был сверху, а мы только так, сопровождающие, и если ты из-за нас бегать не будешь, то это ты только предлог нашла: скажи честно, что струсила, и мы домой, в Москву завернем. Я говорю: дайте закурить! Нервы, говорю, в самом деле... Закурила Мальборо, я только их и курю, мне один директор ресторана достает, снабжает, он почти официальный миллионер, то есть даже не скрывает! а ресторан у него: тьфу! стекляшка... Я говорю: ладно, ребята. Я от волнения такая нервная стала, у меня даже кишки свело, все-таки страшно. А свою, так сказать, миссию я понимаю, она, может быть, больше меня, да, говорю, и Жанна д'Арк небось не все понимала своим умишком пятнадцатилетней

целки, тоже небось замирала от страха, особенно на костре.

И скажу честно: странное у меня тогда состояние было, даже пока еще к полю не приехали, состояние такое, что я будто и не принадлежу себе. Если бы я полностью себе принадлежала, я бы, конечно, не побежала, я бы не делала глупости, а я бы простила и этого Степана, который на меня наехал, и всех их поочередно, и на худой конец смылась туда, откуда журналчик, с моими снимочками, родом, но, говорю честно, странное состояние, с одной стороны, одной половинкой умираю от страха и верю, что в самом деле несчастье произойдет, то есть не зря буду по полю бежать, то есть без дураков, такое предчувствие, от которого кровь стынет и ноги немеют, а другой своей половинкой чувствую, что непременно побегу, как бы я к мальчикам ни цеплялась, эта половинка в конце концов перевешивает, это как бы помимо меня происходит, без моего ведома и согласия, и даже не потому, что я святой стать хочу, я об этом как-то и думать забыла, а вот такое чувство во мне, что нет дороги назад. Вот если бы это я смогла объяснить по-человечески, я тогда бы гением была, но куда мне! стареющей красавице, напоследок решившей щегольнуть красотой

увядания, тема траура была обоюдной, не только по Леонардику, не столько по его неурочной кончине, по мне! по мне! по мне! Я тогда ощутила себя старой, раз и навсегда, а дальше неинтересно.

А тут и поле подоспело, выскочило из-за поворота, обычное такое поле, клевером покрытое, а вдали речка небольшая блестит, за прибрежной ольхой. Ну, говорит Юрочка, кажется, приехали... Вылезли мы из машины, осмотрелись. Егор сделал физкультурное упражнение, разминая члены. Я прыснула на него. Бородатому человеку нельзя делать физкультурные упражнения. Я говорю: а вы уверены, что это т о поле? Они говорят: похоже, что так. Может, говорю, кого-нибудь спросить? Да никого нет, некого спрашивать. Ладно, говорю, давайте, что ли, костер разведем, до сумерек еще далеко... Пошли мы тогда к лесочку, собрали хворост, нам встретились сыроежки. Я села на землю. Она холодная. Ой, говорю, простужусь. А потом засмеялась: нет, не успею... И смотрю: моих конвоиров от смеха моего передернуло, как-то до них тоже дошло, что не успею, их, что ли, тоже какое-то чувство посетило, не знаю... Я говорю: ну, чего молчите, так и будете до вечера молчать? Расскажите что-нибудь. Ты, говорю, Егор, ведь писа-

Виктор Ерофеев

ка, ты небось, говорю, все это в рассказе опишешь? И про клевер, мол, что на поле... Нет, качает головой Егор, если и опишу, то это будет не рассказ, а даже не знаю, что, ну, как Евангелие... Чего-то, говорю, я все курю да курю, бежать тяжело будет, задохнусь, — и бросила сигарету. Ну, что еще сказать про поле? Поле как поле, неровное немного, таких полно у нас, можно было от Москвы так далеко и не забираться, всегда думаешь, что-нибудь такое особенное должно быть, ну, как будто среди клевера должны кости белые валяться и черепа, вперемешку со стрелами, копьями и не знаю еще чем, как на картине какого-нибудь Васнецова, да еще чтобы воронье было и чтобы воронье каркало, а так оно мирное и пустое, лесок его окаймляет, золотится себе по-осеннему. Стали арбуз есть, но что-то не елось, хотя был он сахарный, калмык не обманул, не ложалеешь, сказал, за вторым придешь, а я им еще анекдот рассказала, под арбуз вспомнился, это как знаете, говорю, Василий Иванович хотел скрестить арбуз с тараканами? Ну, вот. Чтобы, говорю, как его разрежешь, все косточки сами по себе, как тараканы, разбежались... Смешно? Не смешно. Вот я и вижу, что не смешно, а что тут еще придумаешь, всякая мура в башку лезет.

И вот дождались вечерней зари, заалел запад надменным и сумрачным светом, заря стояла, как стена, предвещая скорые холода, а мы у костра сидели и нехотя ковырялись в арбузе, и разговор давно не клеился, и только изредка, разгоняя оцепенение, вставал Юра, вставал Егор и, переламывая ветки о колено, безмолвно бросали их в огонь, и мы все трое смотрели в огонь, а пить не хотелось, боялись пригубить и разомлеть от волнения.

Чем больше темнело, тем строже, торжественнее становились лица моих друзей-конвоиров, они уже не молчали, а хранили молчание, думая каждый про себя о высоком и невозможном, потому что невозможное было возможным в этот единственный раз, а у меня, глядя в огонь, смещались мысли, и вспомнились, откуда ни возьмись, школьные туристи-

ческие походы по родному краю: палатки, котелки над костром, чистка грибов и картошки, и обязательные танцы под транзистор, под бульканье и помехи, и только растанцуешься, как начнутся последние известия, и неуклюжие приставаания, и потные ладошки прыщавых сверстников, и тот же холодок под вечер, и даже подобная торжественность перед сном на природе, только нынче мы ничего не пили, а поцелуи их были такие бесхитростные! и когда совсем уже стемнело, полиняла и свернулась заря, и лес из золотого стал черным и отодвинулся, а мы сидели на опушке, меня что-то толкнуло, что-то толкнуло меня в бок, и я поняла: пора. Пора!

Не утаю, не буду лукавить и притворяться: мне было безумно страшно, я не хотела умирать, я умирала весь этот день напролет, десятки раз, и я ничуть не привыкла к умиранию, я думала о пустой дедушкиной квартире, где под подушкой меня напрасно дожидалась батистовая с вышивкой ночная рубашка, и я жалела ее, что она не понадобится мне, и кто-то другой, неизвестно кто, наденет ее и осквернит тем, что наденет, а могло быть совсем иначе, если бы не враги, которые расплодились вокруг меня, будто кролики, большие, серые, красноглазые твари, и я сказала:

пора! Мне хотелось спросить, что станут они делать потом, что будет со мной, с моим телом, повезут ли назад, закопают ли здесь, и мне показалось, что в багажнике я видела обмотанную тряпками лопату... Но я не смогла спросить. Они, наверное, тоже подумали о чем-нибудь таком, потому что вдруг Егор, прочистив горло, сказал низким голосом, тихо: — Теперь они выставляют Сталина на лобовом стекле своих КамАЗов, а ведь потом они будут выставлять ТЕБЯ... А Юрочка сказал: — Господи! Неужели это в самом деле произойдет? Неужели наваждение может рассеяться? Я весь дрожу и плачу от этой мысли, и преклоняюсь пред тобой, — добавил он со слезами на глазах. А я им ответила хрипло, потея лицом: — Мальчишки... Меня что-то толкает в бок и говорит: ПОРА!

Они вздрогнули одновременно и посмотрели на меня несмело и беспомощно, как дети смотрят на родную мать, у которой начались родовые схватки, беспомощно и с трепетом посмотрели, приобщаясь к неясной тайне. Да, сказала я, это в самом деле то поле, я чувствую его беспокойные флюиды... Мне страшно, Егорушка!

Егор устремился ко мне, обхватил за плечи сильными трясущимися руками, а потом,

наклонившись, оставил на щеке братский взволнованный поцелуй. А Юрочка, тот просто припал к моей ладони и ничего не произнес. Я закурила последнюю сигарету и не успела даже как следует затянуться, как окурок обжег мне пальцы. Я бросила его в огонь и поднялась, и стала медленно расстегивать молнию сапог, мои голландские сапожки, купленные на чеки моего дорогого гастролера Дато. Дурачок, думала я, в каком Парагвае играешь ты нынче свой скрипичный концерт, свой реквием по твоей Ирочке?.. Я сняла сапоги и подумала, что с ними делать. Бросить в костер? Зачем они мне? К черту их!!! Но вдруг мне стало неловко делать грубые театральные жесты, театр — ведь это оскорбление тайны, в тот момент я начинала жить другой и последней жизнью, и мне не надо делать лишних движений, все должно быть спокойно, Ира, без суеты. Я сняла сапоги. Я отбросила их в сторону. Педикюр. У меня были красивые пальцы ног, почти столь же музыкальные, как и на руках, а не какие-то обрубки, как у большинства человечества, скрюченные от дурной обуви и невнимания, я посмотрела на пальцы ног и сказала себе: эти пальцы никто не сумел оценить по достоинству, ни один человек... да меня и вообще никто не оценил по достоинству,

так, смотрели, как на кусок сочного розового мяса, и слюнки глотали, и топорщились штаны: штаны министров и штаны поэтов. И собственного папаши.

Ах, Ксюша! В тот момент мне хотелось обняться с тобой, тебе завещать мои последние слова и поцелуи!.. В размышлении о тебе, о нашей совместной жизни я сняла мои песочные джинсы, это был тоже подарок, подарок Владимира Сергеевича из его предсмертной командировки в Копенгаген, куда он уехал, по своему обыкновению, бороться за дело разрядки и откуда, поборовшись неделю, привез вот эти джинсы да колоду игривых карт, да редкую усталость: ему так приелось куда-то ездить и бороться, что он даже не притворялся, отмахивался от поездок или ездил безо всякого энтузиазма. Леонардик, возьми меня с собой. На правах секретарши и птичьих правах возьми, пожалуйста, хоть разок, Леонардик! — Ну что ты там потеряла? Эти гостиницы, ресторанное питание, протоколы и заседания. И в залах вечный сквозняк от их климатизаторов!..

Я тихонечко сняла мои песочные джинсы, чтобы мне угодить, он привез целых три пары, болотные, бежевые и песочные, но я полюбила песочные, продала остальные,

я сняла их и тоже отложила в сторонку, и как только сняла, ощутила, оставшись в тонюсеньких колготках, моих пепельных, самых любимых колготках, сырость и прохладу осеннего вечера.

Я сняла колготки, и они, скатавшись в комочек, лежали, как мышка, у меня на ладони, ноги хранили загар, это был нестойкий северный загар, загар Серебряного бора и Николиной горы, в этот год я никуда не поехала, в этот год меня поездом ели, все боялась, уеду, а квартиру цап-царап — опечатают.

Я сняла мои пепельные колготки и, присев на корточки, скинула замшевый куртянчик, а за ним, через голову, свитер из чистой и мягкой шотландской шерсти, а за свитером, растрепавшись немного, и инстинктивно захотелось причесать волосы щеткой, за свитером белую рубашечку-футболочку с моими инициалами на груди I.T. — дослали все-таки американочки, и вот я уже всей грудью во власти вечерней прохлады и влажности, сейчас броситься в речку и — через минуту — в объятья махрового полотенца, рюмку коньяка и домой, домой, домой... И в неверной власти костра.

Тряпочки мои аккуратно сложены в сторонке.

Русская красавица

Мальчики уперлись глазами в костер, понимая, что прощальное раздевание предназначено не им, это они понимали и уперлись глазами в костер, но мне уже и тогда, у костра, стало казаться, то есть я почувствовала далекий чужой и взволнованный взгляд, будто кто из далекого окна навел на меня бинокль, дрожит, стоя коленями на подоконнике, и молит Бога о том, чтобы я не тушила немедленно свет, а напротив: походила бы бесцельно по комнате, пококетничала бы перед трюмо — так мне показалось, или взялась бы расчесывать волосы, но я ничего об этом не сказала ребятам, что уткнулись носами в коленки.

Я опять встала. Я возвысилась над костром, стянула со странным, оставшимся от детства стыдом белые узенькие хлопчатобумажные трусики, а я терпеть не могу цветные и тем более полосатые, я люблю белый цвет чистоты, и я всегда снимала трусики со стыдом, и мужчины умирали тут же, и я вам скажу, что женщина, бесстыже снимающая трусы, ни хрена не смыслит в любви.

Я стянула трусики, переступила и, крепко сжав обеими руками груди, как бы собираясь с духом, решаясь, сказала, улыбнувшись...

Я знаю за собой эту улыбочку. Она как будто виноватая, эта очень русская улыбочка.

Так виновато не умеют улыбаться иностранки, у них, должно быть, нету таких вин, или, может быть, эти вины у них никогда не поднимаются на поверхность, не достигают глаз и кожи. Я извинялась не за что-то, а за все. Так, провожая гостей, хозяйка, особенно провинциалочка, улыбнется этой улыбочкой и скажет: — Извините, если что было не так...

И я уходила из жизни с такой улыбочкой, я чувствовала ее у себя на лице. Извините, если что было не так. Но я другое сказала.

Мальчики... Ну, ладно... Я пошла... А барахло мое отдайте бедным... Ну, что еще? Не плачьте обо мне! Не надо. И мавзолеев никаких не надо. Пусть все останется между нами. Но не теряйте ни минуты, когда спадет пелена, не мешкайте, не дожидайтесь, пока морщинистая плоть вновь станет тугой и эластичной. Звоните, бейте в колокола! Пусть будет праздник, а не тризна!..

Так я говорила или так говорил кто-то совсем иной, за меня, через меня, и я вещала по наущению, сжав больно груди обеими руками. Они пристыженно кивали, мои мальчики, и я шагнула в темноту, но вдруг обернулась и добавила, я так добавила, хотя и не знала смысла этих слов: — И крови не пускайте, хватит уже крови... И будьте

милостивы с китайцами. Китайцев не обижайте!.. Пока.

Про кровь-то ладно, но китайцы!!! Откуда взялись китайцы? Я никогда о них не думала. Так это и осталось покрытым мраком.

Была ли луна? Была. Она висела невысоко над лесом, но облака ее поминутно заслоняли, она была неясная и неполная. Я почувствовала колкость земли, ее неровность от плуга. Я уже не оглядывалась на костер, я выбирала сторону, куда бежать, и где-то сквозь мглу был виден клочок противоположных деревьев, гнилой ольхи, растущей вдоль речки, и я решила бежать туда.

Я побежала, я бежала, поджимая нежные ступни, так больно кололась земля, будто по шипам бежала, но это я чувствовала только несколько первых шагов, и груди прыгали во все стороны, затем я этого ничего не чувствовала, я бежала, и чем дальше, тем более плотным и непроницаемым становился такой поначалу разреженный осенний воздух, воздух становился с каждым шагом все тяжелее и мучительнее для бега, и я бежала дальше, как будто не по полю бежала, а в воде по горло, такой затрудненный был мой бег, и в то же время я бежала довольно быстро, развевалась копна волос, мне скоро стало очень жарко, и эта тя-

желая вода, в которой я бежала, густела, сосредоточиваясь в луче, то есть луч густел, наведенный на меня откуда-то сверху, но не с самого верха, не откуда-то со звезд, а ниже, как будто из облаков, которые висели над полем, и я почувствовала, что бегу в этом луче, но это был не луч прожектора и маяка, не столп света, нет, он к свету или к тьме не имел вообще отношения, он был другого, несветящегося состава, что-то такое тягуче-медовое, что-то вроде повидла, и он все больше меня облипал, и, облипая, он то приподнимал, казалось, меня так, что я повисала безо всякой опоры, суча в пустоте ногами, то опускал обратно, и я ощущала ступнями траву, он так игрался со мной, этот луч, то нахлынет и сдавит всей своей медовой, тягучей массой, то отпустит и следит, как я бегу, и я бежала дальше, то снова приподнимет, и снова я беспорядочно сучу ногами, однако куда-то все-таки движусь, не на одном месте, и от этого ли преследования или еще от чего, но земля, она тоже не стояла на месте, а стала выгибаться, то вверх, то вниз, как бег по бревну на перекладине, до половины вверх, потом под горку, и тут же снова вверх, и снова под горку, а невидимое повидло обволакивает все тело: ноги, живот, грудь, горло, голову, наконец, и земля стала меня подталкивать, что-

бы я опрокинулась, чтобы я оступилась, упала в траву, но я изо всех своих сил этому воспротивилась, потому что представилось мне, что как только я упаду, то земля, прыгая подо мной, как волна, поволочет меня по кочкам все дальше и дальше, и я вся исцарапаюсь, изобьюсь, измордуюсь, а я не хотела поддаваться, я не хотела лапки кверху, я в поддавки играть не собиралась, я чувствовала, что ОНО сильнее меня, но это придавало мне какую-то окончательную отчаянность, нет, ты меня не оглушишь, ты меня возьми живою, а не падалью, то есть я не мыслила спастись, но не хотелось раньше срока примириться: так тонут в ночном море, когда далеко до берега, и чувствуешь — не доплывешь, и машешь руками, а тебя относит все дальше от берега, все дальше и дальше, но, несмотря на это, плывешь к берегу, все-таки пока есть силы, ко дну не идешь, хотя все бесполезно, так вот и я, я тоже боролась, хотя жуть охватила меня, то есть я поняла, что когда земля меня стала подбрасывать, свесилась подо мною — я поняла, что вот этот столп тягучего вещества и есть то самое, что должно войти в меня и разодрать, и это, скажу я вам, уже не было похоже на моего насильника ни из сна, ни из яви, который, конечно, был гигантом размера и силы стоя-

ния, но все-таки он укладывался в человеческие понятия, в границы какие-то, и даже вызывал смешанное чувство боли и восхищения, так было, но здесь-то как раз и не было ни границ, ни пределов, не знаю уж с чем сравнить, с чем-то совсем уже выходящим из границ, ну, как будто мне три годика, а он — сумасброд и амбал, трехлетняя крошка, которая даже не догадывается, что ее ждет, только видит, что дядя не шутит, то есть это уже не укладывается в людские представления, от этого кричат животом и рвут с корнем волосы, и я тоже, кажется, кричала, во всяком случае, мой рот был открыт так, что скулы свело, и чего-то я там кричала, во всяком случае, мне хотелось кричать простые слова: мама! мама! мамочка! — хотя я не думала в тот момент про свою мамашу с сережками и перманентом, я не к ней взывала, я звала какую-то другую, общую для всех маму. И вы знаете, я вам скажу: не дай Бог вам это испытать! Врагу худшему не пожелаешь... Но потом, покувыркавшись между небом и землей, я стала чувствовать, что сила этого луча или столпа, не знаю даже, как назвать, короче, она начинает слабеть, то есть как будто ОН на секунду отвлекся от меня, а затем, когда взялся снова, а он еще снова брался, то все равно, как будто с меньшим жаром, с более

равнодушными чудачествами, без такой страсти, а потом вдруг как-то раз! — и совсем отвернулся в другую сторону, и я словно в пустоту полетела, и смотрю: бегу что есть сил сквозь разреженный осенний воздух, несмотря на всю усталость, в общем, отпустил, то есть поступил со мной не как обычный мужчина, который все заводится и заводится, и до такой степени распалится, что, пока не кончит — не выпустит, он чего доброго прибьет, если ему не дать, хотя я иногда на такой риск шла, из злобы шла или чтобы еще дороже быть: я, мол, такая, меня голыми руками не возьмешь, — а здесь ОН охладел, как будто у него на меня сначала здорово встал, а потом сменилось настроение, расхотелось, разонравилась, что ли, я ему, и хотя я прекрасно понимала, что его ласка стоит мне не меньше смерти, а все-таки обидно сделалось, и я даже бестолково оглянулась по сторонам, куда он, мол, делся, мучитель! Я скажу еще, что его мучения не были по-человечески сладки, то есть хочу сказать, что, бывает, тебя по морде лупят, а ты хочешь, ну, мазохизм, хотя я по этой статье не очень прохожу, только в редких случаях, вот с Дато, например, а так я скорее сама могу двинуть, а Леонардик даже умолял, но здесь не было решительно никакого наслаждения, то есть чув-

ствовалось, что там не человек, а какое-то живое повидло, и, может быть, были раньше бабенки, некоторые кончали, когда их на кол сажали — не знаю, но у меня до таких пределов удовольствие не поднималось, и я от этого повидла кайфа, честно скажу, не поймала. В общем, я почти до речки добежала, вся в мыле и пене, отдышаться не могу, думала, вот сейчас в воду брошусь — и задымлюсь, как полено, и вода закипит вокруг меня — вот до какой степени! Но в речку не бросилась остужаться, а вместо этого назад побрела, к костру... Не знаю, сколько я шла, но пришла, из темноты на них вышла, видок такой, что они сочли меня уже нездешней, вскочили на ноги, глаза вытаращили, а я говорю, падая у костра на колени: — Ребята, отбой. — Они ко мне: что? как? — Объясняю: — ОН там, это ясно как день, мучил-мучил, забавлялся, как с куклой, а потом взял и отвернулся... будто у него другие, послаще мучения есть. — Егор, тряся бородой, говорит: — На, выпей. Отойди немного. Господи, это что же за страсти такие! — А я рукой отвела стакан водки: — Не надо, Егор. Я, говорю, сейчас отдышусь малость и опять побегу, теперь-то ведь точно, что ОН там!!!

Выходит, голос был правильный... Голос! На хую волос! — хамят потом, со своей сторо-

ны, мне братья Ивановичи. Тьфу! У меня даже в горле запершило, как представила. Весельчаки. Материалисты близорукие. А в приметы небось верите? В черную кошку? разбитое зеркало? или если зубы с кровью во сне увидите? А? Что молчите? Молчат. Их там не было. А Юрочка говорит: — Неужели второй раз побежишь? — А Егор: — Ты на все поле орала! — А я сижу перед ними, как на картине завтрак на траве, на корточках, и озноб меня бьет, и Егор мне на плечи пиджак свой вешает, как деревенский ухажер, и водки предлагает, но я отказываюсь, и курить мне не хочется, а тянет — рвусь я, не поверите, назад, в поле, то есть на полную свою пропажу, как хотите, так и объясняйте, и даже не ради чего-то там возвышенного, это как бы само собой, а манит, манит меня погибель, я как бы в другой разряд перешла и не жилец на этом свете. Не потому, однако, скажу, что смерти не боялась, нет, я боялась, но я расслоилась, я и не я, одну озноб бьет, другая крылышками машет. И, конечно, так жить нельзя, я же сама лучше всех понимаю, пишу и понимаю, что нельзя, и писать об этом нельзя, ЗАПРЕЩЕНО, только этот запрет уже не Ивановичи на меня наложат, это точно! Здесь запрет иной, более тонкой организации, мне не пи-

сать, а молиться, молиться полагается, а я пишу, машу крылышками, и манит, манит меня эта писанина, расписалась, дуреха, и сама как будто снова по полю бегу, такой же озноб и жар, и дитя роковое в утробе воеет, из утробы взывает не писать, угрожает выкидышем, а не сказать — тоже нельзя, да мне и так все равно пропадать, такая уж моя планида, Ксюшечка. Так что пишу. Пишу, как бегала, и бегала, как пишу...

И вот я вам что скажу. После того как я отдышалась, пришла в себя, хотя в голове все равно шум стоял, он не прошел, он так и стоял, встаю я на ноги, скидываю Егоров пиджак и вновь вступаю в темень. И напоследок им говорю: — Не получится сейчас — третий раз побегу. Не отступлюсь. А они глядят мне вслед, как на Жанну д'Арк, и плачут. Но неужели этот морок до второго пришествия будет клубиться? И если из меня вышла говеннейшая Жанна д'Арк, может, из вас лучше выйдет. И еще я подумала: коли от меня за версту грехом и бергамотом пахнет — пока не забеременела, тут запах отшибло, и тоже знамение! — раз так от меня пахнет, то куда ОН от меня денется? Никуда! Прольется, не может не пролиться его ядовитое семя, его гнойная малофья! С теми мыслями побежала.

И опять, как пробежала метров сорок, пошла вертеться-кружиться подо мною земля, и луч сфокусировался и напрягся повидлом и гноем, запрокинулась подо мной земля, и пошла летать я на качелях, и тот столп, что из облаков торчал, облапил меня и давай душу мучить и тело ломать, все горит во мне, ухают внутренности, обрываются, и кричу я не своим голосом, и зову не свою мамочку: мама! мамочка!! Ух! И вцепилась на этот раз в меня сила нешуточно, даже если не выебет, все равно замучит, и чувствую — на границе своего разума — что становлюсь ему, извергу, все ненагляднее и краше, груди мои он сжал мертвой хваткой, норовит с корнем вырвать, чтобы кровь из разверзлых дыр облизать и высосать, а потом ноги-руки оторвать и обрубок на конец натянуть, как марионетку, ну, прямо чувствую: вот сейчас! Долго он присматривался, игрался, и не знала я уже, бегу ли я, лечу ли вверх ногами в небо и тучи, или по земле на карачках ползу, слезы падают, реву и головой мотаю, груди вырваны, бок оторван, или мертвая лежу, или что еще, то есть всякий ориентир потеряла, как будто вестибулярный мой аппарат упал, как со стены часы — и вдребезги, такое вот состояние, приближенное к полному помешательству, и недаром Ивановичи позже

в глаза мне заглядывали, первобытный хаос в них находили и участливо спрашивали: уж не поехала ли я после поля? не надобно ль подлечиться? Не надобно. И не поехала, а только поскользнулась, но тогда на поле мне не до Ивановичей было, они бы оба у меня на ладошке уместились, и я уже со всеми попрощалась, и с тобой, Ксюш, особенно, но опять — зараза! — сорвалось! Ну, прямо, ты понимаешь, вот-вот было — и сорвалось!!! Такое впечатление, что опять отвлекся. Ну, что ты скажешь! Ну, знаешь, как у фригидных, уже накатит-накатит волна, и вдруг мимо, и как ты там ее ни лижи, ни раскручивай — мимо! мимо! мимо!!! Понимаешь, Ксюш? Помнишь, как мы с Наташкой намучились? Тяжелый случай... Так и тут. Только в миллион раз страшнее и, если хочешь, обиднее. Ведь я же шла на это. Ведь это не каждый вытерпит. Ты вот, Ксюш, не выдержишь, я тебя знаю, ты всякой боли боишься, ты даже у Рене и то зубы боишься лечить, а он все-таки муж, больно зря не сделает, и при этом француз, деликатный мужчина, а я терпела! Я хотела! Я вся, как павлиниха, хвост распустила: на! бери меня! убивай!!! Только кончи ты, гад, наконец, своей вонью и смрадом, кончи!!! Не взял. Не убил. Не кончил.

И опять я вернулась к костру, к сторожам моим, к Егору с Юрочкой.

Сидят зеленые, как тараканы, и их подергивает, потряхивает так, что лица, щеки, носы в разные стороны разъезжаются. Вижу: что-то они тоже почуяли недоброе. Я присела к ним, ничего не сказала. А что скажешь? И так без слов ясно. И взмолился тут Юрочка: не бегай, говорит, Ирина, в третий раз. Бог весть, что из этого выйдет, а то вдруг природа раком станет, и всем нам вместе лучше, еще хуже выйдет!.. А у самого зубы пляшут: — Не бегай, заклинаю тебя, в третий раз, Ирочка! — А я говорю: — Не бзди. Хуже не будет. — А Егор, он тоже спешит с Юрочкой согласиться: — Как не будет? А если будет? — И поясняет: — Ведь так еще ничего, терпимо, тошниловка, конечно, но блевать — не погибать, перебьемся. По-едем-ка в теплой машине в Москву!

Короче, оробели конвоиры, созерцая издали эти мои бега, и даже пиджаком не укрывают, не проявляют, по причине страха, ни заботы ко мне, ни уважения. Я тогда натянула мой шотландский свитер, сорвала травинку, сижу, покусываю стебелек, отдыхаю и в их страхи не верю, хуже не будет, и манит меня к себе это чертово поле, по костям павших со-родичей бежать, по костям басурманским

и конским, в небеса вверх ногами лететь, и во вкус смертельный вошла, и нет мне возврата к прежней жизни. А на поле темень и тишь, и лежит оно себе вполне миролюбиво, и луна, изредка появляясь, освещает молочный туманчик, и это все очень обманчиво, и хочется дальше бежать.

Ну, я встала, отбросила свитерок, пошла, говорю, ребятки. Они сидят, тесно сбившись друг к дружке, недовольные моим намерением, но перечить все-таки не решаются, а костер без их внимания совсем загасает. Ну, я встала, вышла в поле, сердце бьется от новых предчувствий, глубоко вдохнула в себя сладкий клеверный воздух, волосы за уши подобрала — и припустилась, поскакала по кочкам.

Бегу. Бегу, бегу, бегу, бегу.

И в третий раз сгущается вокруг меня нечисть, и снова начинает со мною играть в полеты и потери ориентира, да только я уже почти привыкла к этим шуткам, ногами знай себе перебираю, несусь во весь дух сквозь повидло. И вдруг в тишине этого поля слышу: какие-то голоса поют. Сначала они нестройно затянули и неуверенно, а потом их все больше и больше, ну, целый хор, и поют, как отпевают, поют, как на похоронах. Слов не различаю, хотя они громче стали, и вот уже как будто все

поле запело, и лес там черный запел, и все травинки из-под ног, и тучи, и даже река. То есть отовсюду... И поют они так заунывно, так прощально и погребально, что бежать при таком пении нет никакой физической возможности, особенно голой, а хочется остановиться, прикрыться руками, а вокруг все поет. Я замедлила свое движение и стараюсь понять, кого это они отпевают, не меня ли, и кажется мне, что меня, но кажется мне, что не только меня, а всё вокруг отпевают, и небо, и тучи, и даже реку, то есть самих себя, и меня, и всё сразу, и я остановилась и слушаю, как эти силы, живые и непонятные, поют заунывную песню, со всех сторон обступили меня и поют, и не то что осуждающе, что, мол, зряшная твоя затея и бега никудышные, а скорее жалостливо поют, и мне смерть предсказывают, и меня в белый гроб кладут, и гвоздями меня заколачивают, смертную женщину, рабу Божию, Ирину Владимировну... Вот я и остановилась в смущении и подумала: встану-ка я на колени, упаду лицом в клевер, жопой в небо, закопаюсь в копну моих бергамотовых волос, и будь что будет, раз все равно выносят меня в белом гробу, и поют, поют неустанно. Будь что будет! Как поймет — так и сделает! Выебет так выебет, закопает так закопает, все равно отпева-

ют всех и каждого... И вот так стою я на коленях, посреди поющего поля, которое полнится совершенно русскими голосами, а нечисть главная, поганая меня пощипывает за ляжки и ягодицы. Постояла я так, постояла, обливаясь слезами невозможного воскресения, а потом подняла голову да как закричу не своим голосом, обращаясь к тучам и смутной луне: да будешь ли ты меня ебать?!

И вмиг смолкло поле, и воцарилась крошечная тишина, и застыл хор живых непонятных сил в ожидании ответа, все притаились, и гроб недвижим. Но спустя эту паузу нетерпения, паузу горечи и последней надежды — вдруг как грянет! как грянет над полем! Но не гром это грянул, не молния, не гроза разразилась, стуча по белой крышке тугими каплями, и не зашумела гнилая ольха, встревоженная ветром, и не взметнулось воронье, нет, не гром это грянул, только судорога прошла по полю, как по коже, хотя подумала я в первый момент: ну, держись, Ирина, час настал, но не смертный приговор прогремел в облаках, хотя я и подумала: ну, сейчас всадит, ой, испепелит! Но нет, чую, не то, не тот звук, не тот грохот, и молочный туман желтым цветом окрасился, и зловоние поползло с небес на траву, и дышать больше нечем стало, и я задохнулась...

Ну, я встала, шатаюсь, держась за виски, как старуха, и никто уже больше не пел надо мной, и подумала: хуй с тобой! Тоже мне шуточки... И пошла, под смешки, под хихиканье, под визги — побрела по серому полю.

Вот пришла я к костру, руки-плети, пришла к друзьям-приятелям, а они сидят уже не зеленые, они зарумянились и даже посмеиваются, вино разливают, и огонь весело полыхает. Отчего такое веселье? Я говорю: — Ой, как я устала! — Ну, садись, отдохни... — Вы что-нибудь слышали? — Что ты имеешь в виду? — Вы слышали, как хор пел заунывными голосами? — Хор? Какой хор? — Там хор был... — Они говорят: — Хор так хор. А я говорю: — Вы что, пьяные, что ли? Я тут собой, говорю устало, рисковала, а вы надрались? — Нет, — отвечает Юрочка, — мы не надрались, я за рулем не пью, а сам вино в себя заливает. А Егор говорит: — Что касается меня, то я немножечко выпил, потому что все обошлось по-хорошему. — Что ты мелешь? Что обошлось? — Как что? — говорит. — Возвращаешься живая и невредимая, вся в прекрасной своей красоте, как букет цветов, вот, значит, мы и выпили тут с товарищем немножко. Садись к нам. — И смотрит на меня со значением. — А еще вы что-нибудь слышали? — А чего нам слышать, когда тишина. Мы тебя из-

далека заприметили. Ты белела, как знамя... — Отвернись, говорю. А Юрочка говорит: — Слава Богу, что хуже не вышло, а ведь лучше и так бы не стало, потому мы сидели, как тараканы, и вцепились друг в дружку, опасаясь худших времен. Ты сходи-ка, Егорчик, в машину, принеси нам еще бутылочку водки, ну-ка, выпьем! А Егор подбоченился и отвечает авторитетно: — Не пойду я к машине за водкой, я хочу, чтобы Ира меня прежде как брата поцеловала. А сам на моих шмоточках расселся. Я говорю: — Ты с одежды сойди, а потом уже и братом называйся... Они переглянулись, как два интеллигентных бандита, и не отвечают. А ты, говорят, не спеши одеваться, мы ребята свои, мы все понимаем. — Что вы понимаете? — Они молчат, перемигиваются, сигаретки курят. Я подошла тогда осторожно к Егору, не прикрывая наготы: — Подставляй щечку для поцелуя. — Подставил. Я ударила из последних сил! Он повалился назад. Эх вы, срань! — говорю. Он поднялся, защищая свое бородатое лицо, и стало мне смешно, хоть и противно. Одевалась я в полнейшей тишине, а Юрочка терпел-терпел, а как я оделась и присела к костру, руки грею, зашипел: ты, шипит, слишком много, смотри, на себя не бери, тоже мне выискалась, я тебя такой Жанной д'Арк выставлю!.. — Я ему

на это: — Помнишь Ксюшу? Помнишь, как ты ей рану солью посыпал и издевался? Ты ее так достал, что она с тобою спала, но из чистой ненависти спала, от полнейшего отвращения... — А в морду хочешь? — поинтересовался, вежливо улыбаясь, Юрочка. А я устала, напереживалась, мне даже лень с ним связываться, говорю: ну, ударь! Ударь, трус! Ударь, народный освободитель! Ударь, подлая скотина! И сама его по морде ударила. И пока случилась заминочка, а он, знаю, не Егор, у него гонор и спесь, он бешеный, я вскочила и побежала от них, ну их, думаю, в жопу! Не того я от них ждала и не на то надеялась... Отбежала я в темноту, уже не на поле в этот раз, а к дороге, и скрылась во мгле. Села. Думаю. Что теперь делать? Куда идти? Где тут живые люди живут?

Они помолчали немного, а потом, слышу, Егор кричит: — Ира! Иркааааа!!! Гдеее тыыыыыы? Я молчу, не отзываюсь, пусть кричат. Потом слышу, в машину залезли, гудеть принялись, на всю Ивановскую гудят и фары включают. Гудите, гудите, голубчики... А сама думаю: неужели я к ним вернусь? И сама себе отвечаю: — Ну, конечно, вернешься! А куда тебе деться? Как миленькая вернешься. И они тоже между собой рассуждают. Не в ночи же она тут будет сидеть,

Виктор Ерофеев

коченеть, осенью наслаждаться? Прогнозет, на костер выйдет...

Ты устала, набегалась, ухайдакалась, Ирочка, ты сегодня очень набегалась, на всю жизнь набегалась, солнышко...

И слышу, Юра тоже кричит: — Ира, вернись! Вернись! Поедем в Москву! Вернись!!!

И я, дура, хорошо понимаю, что надо встать и вернуться, вон их фары горят и зовут, что надо вернуться, встать и откликнуться, потому что куда ж я пойду, вокруг темная ночь, а потом я часики у костра оставила, золотые часики, с золотым браслетом, швейцарские, Карлоса подарочек, но я не вставала и не шла. — Ирааааа! — кричали дуэтом мальчишки. — Надо ехать! Не валяй дуру! Это было затмение! Ты нас простиииииии!!! — ...И снова гудят, из ночи выманивают на свет фар, в теплую, мягкую, как подушка, а под подушкой батистовая рубашечка, машину, где на заднем сиденье я просплю всю дорогу назад, свернувшись калачиком, и не буду видеть ни деревень, ни слепящих огней редких встречных машин, я буду спать, спать, спать, и надо, конечно, встать и идти, только нету сил, только не поднять мне век, глаз не открыть, и подумала я: все равно не жилец, и как подумала, так и отключилась. Вырубилась. И все.

По приезде я позвонила спаренным братьям Ивановичам и незамедлительно, прямо по телефону, сдалась. Но они все равно пришли хмурые, набывчившись, шелестя макинтошами. — Ах, зачем, зачем вы по полю бегали, Ирина Владимировна? — вскричали оба, как только меня увидели. — По какой нужде? Мы уже обо всем договорились. Мы все уладили. Вас принимали обратно в фирму. И Виктора Харитоныча мы уломали, как ни сопротивлялся он необходимости вас восстановить. А что теперь? Пошли слухи. Зашевелились в литературных кругах шептуны: Жанна д'Арк! Жанна д'Арк!.. Вы кому и что доказать хотели? ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО БЫЛО НУЖНО?! Эх, Ира, Ира, все вы испортили. И не предлагайте нам снимать наши макинтоши! Следовало с нами заранее посоветоваться. Уж если бегать по по-

лю, так с четким заданием!.. А вы!.. Вот и Владимира Сергеевича подвели. Он совсем из-за вас станет полной фигурой нон-грата, с телевидения уже сняли изображения. Исчерпали вы запас его прочности. До дна исчерпали! Ой, надрал бы он вам ваши кудри! Ой, надрал бы!..

И ушли, предоставив мне беспокоиться насчет моей будущей судьбы. Гавлеев! Как же! Как же! Конечно, помню. Ценитель разомкнутых сфер, интригующих сочленений... Как же! Как же! А я и забыла...

Я встретила их кашлем, соплями, стреляющим ухом и отвечаю не своим, толстым голосом: а вы? Сами вы хороши! Зачем, ради какой стратегии напустили вы на меня Степана с его полуночным броневиком? — Какого еще Степана? — Ой, я вас умоляю!.. — Нет, вы объяснитесь по-человечески. — Ой! — морщусь. — Как будто не знаете! Того Степана, что покалечить меня собрался, лишить красоты, а потом, недовыполнив поручение, прикинулся пьяным и обмочился, вот здесь, идите сюда, на коврик возле дивана, понюхайте коврик как доказательство, вот здесь он провел всю ночь, а наутро все что-то нескладно лепил про Марфу Георгиевну, про ее именины липовые...

Переглянулись Сергей с Николаем. Журналисты высокого полета. А я им ангинным,

обиженным тоном, словно как из трубы, объясняю: — Ах, оставьте, пожалуйста! у меня до сих пор на бедре синяк размером в одну шестую всего тела, оставьте, я не маленькая...

А они как разахаются да как разведут руками. Ну, Ирина Владимировна, тут без посторонней помощи не обошлось. Не иначе как Борис Давыдович приложил свою каинову печать, не иначе как он. В самом деле, отвечаю, спасибо умному человеку. До меня, я женщина слабая, до меня не сразу доперло... — Эх! — присвистнули братья. — Ирина Владимировна!.. Жидовствуете, — говорят. — Нехорошо! — Я на это: — Ну, вот. Все меня обижают, обманывают! — И пустила слезу. Они скинули макинтоши, вытерли ноги, повесили на вешалку. — И вы тоже... — жалуюсь... — Кому верить? Садитесь, пожалуйста. — Сели за стол. — Так, — говорят Николай и Сергей. — А насчет татаро-монгольского поля, что находится на таком-то километре от Москвы (не помню, на каком, цифры плохо запоминаю), это тоже он вас надоумил, Борис Давыдович? Ну, успокойтесь... успокойтесь... успокойтесь. — Как же я могу успокоиться? — отвечаю плаксиво, теребя в руках мокрый платочек. — Я т-т-там ч-ч-часики золотые... швейцарские... п-п-потеряла... с золотым б-б-брасле-

тиком... — Значит, тоже он? — Нет, — отвечаю честно, безо всякой неправды. — Не он. Мне голос был. — Они говорят, насторожившись еще больше: — Так. Какой голос? Расскажите. В ваших же интересах... — Ах, говорю, нечего и рассказывать... Этого вам никогда не понять... — ??? — Вы, говорю, материалисты. — Ну, знаете ли, Ирина Владимировна, творческий материализм допускает различные загадки природы и физики. Вон Сергей у нас, например, по парапсихологии статейки пишет. — И в приметы верите? — Ну! — отвечает Сергей уклончиво: не то да не то, *а дальше что?* — Я высморкалась. — Давайте, говорю, будем снова дружить. — Дружить! — недоверчиво усмеваются братья. — Мы с вами дружим-дружим, а вы тайком от нас по полю бегаете! — Я и так наказана, — жалуюсь, — видите, ангиной заболела, тридцать восемь и три температура, вся горю, и горят Ивановичи вместе со мной синим пламенем. — Ну, Ирина Владимировна, не ожидали, честно сказать, мы от вас! Вы же русская женщина! — Русская, отвечаю, какая еще? — Ну, разве это, удивляются, не святотатство? Национальную святыню ногами топтать, нагишом по ней бегать туда-сюда? Вы нас обманули. И главный редактор Гавлеев вне себя от ярости, поместивший

про вас обеляющую статью... — Ну, ладно, ребята, — винюсь, — ладно! Сдуру побежала, больше не буду, честное слово, а сама думаю: ну ее к черту, эту Россию, пусть о ней другие пекутся! Хватит с меня! Хочу жить. — Вы ребята деловые, так? Так. Значит, сможем договориться? А они опять за свое: — А случись, сомневаются, такая история, что на поле нарушился бы национальный эквилибр, — что тогда? И Гавлеев, он в лучших чувствах обижен, он тоже вам поверил... Я говорю: доложите своему начальнику Гавлееву, что никаких нарушений эквилибра не произошло и произойти не может, поскольку, говорю, на своей несчастной шкуре убедилась, что этот самый эквилибр — он такой, что надо! Успокойте начальника! — И вспомнились мне тут бабы на далеком, незнакомом мне базаре, которые лучше меня понимали про эквилибр. Ну, бабы, сказала я, взгромоздясь на торговый ряд, просите, что хотите, что попросите, то и будет! — Они в кучу сбились, отвечают несмело: ничего не хотим, нам и так хорошо. Да так ли уж, говорю, хорошо? А чего, отвечают, жаловаться, Бога гневить понапрасну, войны нет... А я говорю: ну, хоть чего-нибудь да хотите? А ты, говорит одна, ты купи у нас семечек, купи, дочка, мы недорого отдадим... Не хочу, от-

вечаю, я ваших семечек, от них одно засорение желудка.

Уходили они даже с некоторым облегчением, пошли Гавлееву докладывать, только вы, Ирина Владимировна, вы об этих своих бегах не очень распространяйтесь, особенно чужеземцам, переврут, истолкуют неправильно. — Как можно? — заверяю. — Никогда в жизни! Только вы меня тоже не обидьте, и про Егора, про Юрочку им рассказала, про их глупые споры, и как сидели на траве, зеленые, как тараканы, но про нечисть смолчала, потому что это — МОЕ, и Ивановичи говорят: — Шустрые ребята! — А я подумала: — Все вы шустрые! — На том и расстались, да тут на базар вползает человеческий обрубок, дядя Миша, без трех конечностей, держа в руке стакан, полный водки. Закуси огурцом, дядя Миша! Но дядя Миша придерживается иного мнения. Ополовинив стакан, отвечает: — Зачем пить, если закусывать? — И сплевывает на щеку. Бабы суют ему в карманы яблоки в крапинку. Бабы лузгают семечки. В лужах солнце. Дядя Миша допивает водку. Он никогда не пьянеет, дядя Миша, он никогда не трезвеет. Он ползет по базару, загребая единственной клешней. Он заползает в зал ожидания, щеки горят, в зале ожидания

я провела много часов. Фикус рос из окурков. Начальница станции, сжалившись надо мной, выдала из брони билет. В простенках портреты. Преобладают зеленые и коричневые тона. Как киноактрисы, портреты выглядели моложе себя лет на сорок. Они хорошо сохранились, но скорее всего они просто не успели состариться: заработались, не было времени, и их постные, молодцеватые лица дышали праздничными салютами вчерашней победы. Сидя на желтой лавке МПС, я хорошенько их рассмотрела. Все они мне понравились. Ни я, ни они — мы никуда не спешили. Ноги ныли. Обрубок полз. Сквозняк сулил ангину. Поезд прибыл, когда стало светать. Откуда-то взялся народ, повалили с авоськами, с чемоданами. Посадка. Высоко задирая ноги, лезли в вагон. Покрикивали, кутаясь в шинели, заспанные проводницы... Вот так встреча!

В полутемном общем вагоне они сидели и резались в карты, хихикали и благоухали.

Здесь были все: и Танька с трепаком, и нежная высокая Лариса, и Нина Чиж, простившая меня, и Андрюша, чудик мой, и ко мне сидящая спиной... обернулась... Ирка! Ритуля! Чмоки. Чмаки. Какими судьбами? Вы откуда? С ярмарки! С показухи. Андрюшка,

как всегда, такой элегантный, и жесты замедленные. Только с Андрюшей я чувствовала себя человеком. После гулянок помогал убирать со стола, мыл посуду в моем переднике, выносил во двор мусор. Потом мы укладывались и, всласть наболтавшись, насплетничавшись, нахохотавшись, засыпали, прижавшись друг к другу спинами, с открытой форткой. Как нам спалось! Мы просыпались веселые, бодрые. Возились в постели. Андрюшик, говорила я, как ты прекрасен! Ты Аполлон! Какая прелесть! Пусти меня, нет, ты мне разреши, дай поцелую, ну дай! Андрюша!

Но он, смущаясь, говорил: — Ириша! Ангел мой! Давай не станем мы осквернять нашу дружбу жадными губами! Ты видишь в фортку: на деревьях снег. Он — белый, Ира...

Мы пили кофе. Мы даже однажды выбрались за город, покататься на лыжах. Ну, почему на свете так мало чистых мужчин, как Андрюша! Будь их больше, какой бы груз упал с узких женских плеч!.. Как славно бы все разрядилось!

А ты, Иришка, откуда? Что за вид? Такое воспаленное лицо. Стряслось что-нибудь?.. Ну, что вы, девочки! Я просто ездила в деревню. Машина сломалась. Кавалер остался загорать... Хочешь выпить? — О, коньяк!

А где Полина? — Поехала автобусом. Глотни еще. — Ой, кайф!

Ритуля, ты ли это? Ну, как ты, милая? — Скучаю без тебя. У тебя новые друзья. — Ах, чтоб они сдохли! Надоели! — А я, наверное... — За кого? За Гамлета? — А что? — Нет, правильно! — Он подарил... — Тыщ пять? — Больше! — Смотри, не оторвали б вместе с пальцем!.. Андрюша, милый! Как тоскливо без тебя, без вас, девочки... — И нам! И нам! Когда вернешься? — Откуда я знаю!.. — Ты возвращайся. Или ты отвалишь? — Нет, Нинуль, куда мне... поздно... — А знаешь, Маришка-то уехала. — Да ну? — В Голландию... — Ну, скоро девок вообще не останется. Одни коровы. — Коровы тоже едут. — Это верно. Ой, что это?

Все смотрели. Не буду говорить, что это было. — Ну, дно! — сказала я. — Пошли курить.

Андрюша сопровождал нас с Танькой в тамбур. — Вылечилась? — Давно! А ты? — Что я? — Ты тоже... — Нет, это у Ритульки... А баба — не промах, — похвалил Андрюша, ни разу в жизни не куривший. — Верно сориентировалась. Подсунула ботинки. Мол, пусть хоть до краев. — Вагон смеялся. Кто не спал, но большинство спало и не смеялось. — А как наденет утром? — Так и наденет. — Ну, дно! —

сказала я. Я ехала в Москву. Я всю жизнь в нее еду. В тамбуре мужики хвастали, кто сколько раз бывал и где. Вдруг кто-то взялся лапой за мое плечо. — Это ты сказала, что мы — дно? — Андрюша, щепетильный человек, сказал мужчине: — Я вас уверяю, вы обознались. — Уйди!.. Мужики! Она сказала, что мы — дно! — Рекордсмены вытрезвителя не очень огорчились, и все бы обошлось, когда бы не Таня, она у нас отчаянная. — Кто же вы еще? — сказала Таня, топча окурок каблуком. — Ах, сука! — завопил мужик. — У всякого встречного-поперечного хер жуешь, а говоришь, что мы — дно! — Да ладно! — отмахнулась я, сводя все к шутке: — Какая баба нынче не жует.. — Тот развернул меня лапой к себе. Обыкновенное мужское лицо. Харя. — Ты почему сказала, что мы — дно? — Да ничего я не сказала. Отстань. — Нет, ты сказала! Мужики, она сказала, что мы — дно! — Андрюша, мягко: — Ну, пошли, девочки? Покурили — и пошли. — Идти было некуда. Они стояли и смотрели на нас. Андрюша разволновался. Тот загородил собою дверь. Из вагона стучались. Во рту папираса. Вынул папиросу и ткнул ею мне в лицо, но я отбила нетвердую руку, и он огнем угодил Таньке в щеку. Только Танька умеет так орать. Она может переорать заводскую сирену.

Мужики стояли и смотрели, как она орет. Она была выше их ростом, я тоже. Да еще на каблучках. Тогда вдруг другой налился кровью и говорит: — Ты чего? — А первый отвечает: — А чего? Она нас назвала дно. — Ну, и чего? — А ничего! — Они сцепились неуклюже, и места в тамбуре не стало ни для кого. Мы с Танькой отворили дверь и бросились в вагон, наткнувшись на проводницу, которая вышла разнимать. Вагон спал. В проходе торчали пятки баб, стариков, солдат. Вагонный дух. Я знаю и вам подскажу: в этот час самый чистый воздух — в туалете. Там приоткрытое окно. Я заперлась и подошла к окну.

Ну, обожгли Таньке щеку... Ну, поболит... Ну, пройдет... Я дышала свежим предутренним воздухом. Я ни о чем не думала. Им весело, думала я, вспоминая, как веселился вагон, глядя на мужика, блюющего в свои башмаки. Как они веселились! И даже жена, суровая поначалу, и та улыбнулась: мол, вот дурак!.. После нервотрепки, сутолоки посадки сели, подкрепились, едем, развеселились. А разве не смешно? Как же он их завтра наденет? Умора. Я не смеялась. И вот встал человек с обычным мужским лицом, встал и обиделся, потому что мне, видите ли, не смешно... А может быть, я в самом деле не права? И раз-

ве ты, Ирина Владимировна, ты, со своим батюшкой и своей матушкой, со своей биографией, с двумя муженьками и вечными скандалами — ты не догадывалась о том, что их нужно жалеть, жалеть, жалеть... Зачем вступила ты в преступный сговор? зачем хотела ворошить эту жизнь? Не нужно никого спасать, потому что от кого! от самих себя? Что же делать? Как что? Ничего не делать. И, пожалуй, моя милая Ксюша, пора мне ставить точку на моей бурной жизни, пора образумиться. Я ни о чем не думала.

Андрюш! Андрюш, ты хороший, ты уступил мне свою полку, сам полез на третий этаж, ты хороший, женись на мне! Мы будем спать с тобой, прижавшись друг к другу спинами, мы будем слушать красивую музыку, а твои делишки — да ради Бога! Они меня не волнуют. Я буду верна тебе, Андрюш, а захочешь ребеночка, такого маленького-маленького, который будет похож на тебя, слышишь, Андрюш, я тебе рожу...

Вернись, Ирина, к своим корням! Внюхайся в запах полосатых носков! Внюхайся лучше в этот запах, Ирина! Это ТВОЙ запах, деточка! Все остальное — от лукавого. ОНИ — это ТЫ. ТЫ — это ОНИ, и не выебывайся, иначе делать тебе на этой земле нечего, запомни, Ирина...

Русская красавица

Я осторожно понюхала воздух.

Я заглянула на третью полку. Он лежал с открытыми глазами. — Андрюш, — сказала я. — Они не виноваты. Я точно знаю. — А мне-то что? — сказал Андрюша. — Виноваты — не виноваты... Почему я всю жизнь должен жить в этом говне? — Андрюш, — сказала я, — есть выход... Женись на мне... — Колеса катились в Москву. Тормозили, останавливались и дальше катились. Почтовый замирал у каждого столба. Андрюша молчал. Было обидно. — Ты чего молчишь? — шепнула я. — Ты мне не веришь? — Разве это выход? — отозвался Андрюша. — Разве это, милая, выход?

Ну, я что? Я и не такое прощала. Я простила. Накрылась с головой и простила.

По приезде я позвонила братьям Ивановичам и незамедлительно, прямо по телефону, сдалась. Но все это мелочи жизни, и я опускаю. А затем наступила ночь. То есть все-таки что-то сместилось и разгулялось в природе и выше, раз она наступила, и она на меня наступила.

Господи! Дай мне силы поведать о ней!

Ангина достала меня. Я пылала, металась, извелась, места себе не находила. Я — пожар горла, ангинное месиво! Горло так раскалилось, что, казалось, оно озаряет комнату сухим бордовым светом... Все стало совершенно мне противно: простыни, тиканье часов, книги, обои, духи, пластинки — ничего не хотелось, подушка жалилась, и я изредка приподнималась, в тупом отчаянье мерно била по ней кулаком, температура ползла, за окном ненастье, мелькали ветви, я перебирала

людей и соки, чего бы попить, кто бы поухаживал за больной девочкой, напитки, люди смешались: ананасовый, сладкий, таил в себе разжиженного, волокнистого Виктора Харитоновича, и я отвергла его, вместе с дольками, приторно-манговый вызвал в памяти одно мельком виденное лицо на грязноватом пляже на Николиной горе, оно торчало без туловища, без имени и в темных зеркальных очках, апельсиновый сок был слишком цитрусовый, не говоря уже про грейпфрут, и одной мыслью о себе мучил и раздражал слизистую, а виноградный, целительный и вязкий, привел меня в глюкозный Сухуми, и Дато мне улыбнулся тяжелой улыбкой. В томатном содержался осадок из отрыжки, а также лучшая подруга, что, как чешуйка помидора, прилипла к нёбу, откуда ни возмись, и забава юности, кровавая Мери, стекала по ножу, и, перебрав и ничего не выбрав, я остановилась на кипяченой воде в чайнике, которая из кухни отдавала Ритулей, но зато бесцветна и пуста, я долго не решалась встать, то есть даже сесть на кровати, одернув сбившуюся рубашку, верную спутницу моих болезней, а так я без нее, пусть дышит тело, а она все равно задирается, бесполезно, но тут я на нее надела сверху еще кофту, тетя Мотя, и шерстяные синие носочки —

видок отменный, тетин-Мотин, и горло — как перо жар-птицы, и я подумала: вот наказание за поле, то есть остороженько схитрила, цепляясь за болезнь, отделяваясь пустячным наказанием, и хорошо, подумала твердо, что на стекло или банку консервную с развороченными зубцами крышки не напоролась на бегу, и вспомнилось, как в первый вечер у Леонардика, д о Леонардика, порезалась и даже недоумевала, кто это был, что сзади был, помимо Ксюши и Антончика, поскольку никого больше не было, который поднес поутру глоток невозможного шампанского и поздравил с буйной красотой, но даже шампанское мне было не впрок, и я изменила ему не без гримасы при этом далековатом воспоминании, но вспомнила, как с болью проснулась в ступне, как порезалась — отшибло, только Ксюша подкрашенными липкими губами шевелила, произнося неслышные слова, и вообще боюсь спать одна: скрип половиц, дверных петель, уключин — река — хлопок фортки — фотография — родничок — девушка с кувшином — я потянулась к ночнику в виде совушки — не пей, козленочком станешь! — не пей! — я потянулась и с видом болезненным и невинным включила свет и даже вскрикнуть не смогла.

На маленьком узком диванчике, что по правую руку, какходишь в спальню, у двери, кровать — налево, сидел Леонардик.

Сидел ссутулясь, полуопустив голову, и из-под бровей грустноватым, я бы даже добавила, виноватым взором, как бы заранее извиняясь за вторжение, смотрел на меня.

Прижала к груди руки и с диким ужасом смотрела на него.

Он был не совсем похож на себя. Не только сутулый, но и весьма изможденный, как после многосуточного похода, опавшие бледные щеки и голубые бескровные полосы губ, нос казался куда более орлиным и воинственным, чем раньше, полушария лба раздались, и седоватые волосы слегка кучерявились, и было их больше, чем было, и до меня постепенно дошло, в чем перемена: он пришел моложе того, кого довелось мне знать, с кем познакомилась на даче и с румяным лицом кружилась по льду теннисного корта, он был моложе, поджарый, и с лица не струился маслянистый свет, и черный клубный пиджак с серебристыми пуговицами мне тоже не был знаком. Чисто выбритый, с мешками усталости под глазами и двумя глубокими горькими бороздами, уходящими от ноздрей к углам рта, он был подобен скорее недобитому белогвардейцу, нежели счастливому деятелю культуры.

Глядя на меня, он сказал ровным, отчетливым голосом:

— Ты больна. Я пришел за тобой поухаживать. Ты хочешь пить?

Я хотела завизжать, но вместо того безвольно лязгнула зубами:

— Принеси мне кипяченой воды.

С готовностью встал, обрадованный возможностью мне услужить. В коридоре вспыхнул свет. Звякнула крышка чайника на кухне. Носик стучал о стекло. И он плавно появился снова со стаканом воды и плавно протянул руку, приближаясь к кровати. Я отпила, ловя неверными губами край стакана, и покосилась на его ногти: уродливо загибаясь, они вращались в мякоть пальцев. Он смутился и, отсев на диванчик, спрятал руки за спину.

— Не бойся... — попросил он.

Я слабо пожала плечами: просьба невыносимая.

— На поле было холодно... — полувопросительно произнес он, будто старался завести светскую беседу.

— Холодно... — пробормотала я.

— Сентябрь, — рассудил он.

— Теперь мне хана... — пробормотала я.

— Ну, почему? — мягко усомнился он.

— Ты пришел.

Русская красавица

— Я пришел, потому что ты больна.

— Не стоило беспокоиться... Ты же умер.

— Да, — послушно согласился он и добавил с несвежей улыбкой: — С твоей помощью.

— Неправда, — медленно покачала я головой. — Неправда. Это ты сам. От восторга.

Он сказал:

— Да нет! Я не жалею...

Я взглянула на него с вялым, почти равнодушным подозрением.

— Не веришь? Зачем мне лгать?

— Я тебя не убивала... Это ты сам... — качала я головой.

— Хорошо, — сказал он.

— Я тебя не убивала... Это ты...

— Ах, какое это имеет значение! — нетерпеливо воскликнул он.

— Для тебя, может быть, уже ничто не имеет значения, а я здесь живу, где все имеет.

— Ну, и как тебе здесь живется?

— Сам видишь... прекрасно.

Помолчали.

— И долго ты собираешься так жить?

— Нет уж, хватит с меня! — отвечала я с живостью. — Надоело! Заведу себе наконец какую-нибудь семью, ребенка...

Он посмотрел на меня с глубочайшим сочувствием, если не с соболезнованием, во вся-

ком случае, он посмотрел на меня с такой жалостью... я этого не выношу! я терпеть не могу! Я сказала:

— Ты, пожалуйста, так не смотри. Ты вообще лучше уходи. Уходи, откуда пришел. Я еще жить хочу!

Покачал головой:

— Не будет тебе жизни.

Я говорю:

— В каком смысле? Станешь меня постоянно преследовать?

— Как ты не понимаешь? — удивился он. — Я тебе благодарен. Ты избавила меня от позора жизни.

— Этого нельзя делать, — сказала я.

— Ты облегчила мою участь...

— Ах, брось! — передернула я плечами. — Дай Бог всякому так пожить!..

— Мне стыдно... стыдно... стыдно... — лопотал Леонардик, как безумный.

— Понимаю, — усмехнулась я. — Пожил, погулял, теперь самое время покаяться...

— И буду каяться! — выкрикнул он, брызнув слюной.

— Неужели в этом ты тоже преуспеешь? — удивилась я.

Помолчали.

— Ты жестока, — наконец вымолвил он.

Русская красавица

— А ты?

Он встал и принялся ходить взад-вперед по комнате, взволнованно, будто живой.

— Мы с тобой, — объявил, — связаны гораздо крепче, чем ты думаешь. Мы связаны не только моей кровью...

— Опять ты об этом! — поморщилась я. — А кто меня обманул? Золотая рыбка! Кто обещал жениться?.. Женился? Ну, вот и отстань! Я сама разберусь.

Он остановился посередине комнаты и тихим голосом произнес:

— Я хочу на тебе жениться.

— Что?! — изумилась я. — Раньше нужно было об этом думать! Раньше! Теперь это просто смешно! Жених! — фыркнула я, окатив его взглядом. — Нашел дуру!

Он понурился от моих слов, однако не спеша продолжал:

— С тех пор, как я стал свободным...

— Ах, ты стал свободным! — перебила я его. — Ну, конечно! Теперь ты волен являться ко мне, хотя раньше ты сюда ни ногой. Теперь ты освободился от своей Зинаиды Васильевны...

При имени Зинаиды Васильевны он только рукой махнул:

— Я жил с пустотой.

— Теперь ты сам — пустота! — разозлилась я. — Иди кайся в другое место! Ступай на дачу, к Зинаиде! Она тебе очень обрадуется.

— Мне никто не нужен, кроме тебя. Ты пойми...

— Ничего я не хочу понимать! Может быть, ты забыл, но у нас здесь такое не принято! Такие браки не регистрируются. Такого вообще не бывает, не морочь мне голову!

— Так ведь необязательно... необязательно здесь... — произнес он с болезненной робостью.

— Ах, вот что! — вскричала я, догадываясь. — Вот что ты мне предлагаешь! Переехать! Только чуточку подальше, чем мне предлагала мамаша...

— Все равно тебе здесь не жить...

— Да перестань ты меня пугать! Я не пропаду — не беспокойся! Я теперь, к твоему сведению, не иголка — не потеряюсь. Меня шесть американок поддержали. Слышал, может быть? По радио передавали.

— О чем ты говоришь? — всплеснул он руками и немедленно спрятал их за спину. — Ты послушай меня...

— Только не говори, что у вас там лучше. Только не уговаривай меня... Мне и здесь будет хорошо!

Русская красавица

— Здесь тебе будет очень хорошо! — издевательски сощурился Леонардик.

— Молчи! — вскрикнула я. — А что там?

— Там ты будешь со мной. Мы соединимся в любви. Свет заново прольется на нас...

— Какой еще свет? — простонала я. И без того свет резал глаза.

— В этом круге жизни мы оказались пораженцами. Оба. Но ты все-таки узнала меня и назвала. Я же был настолько слеп, жизнь настолько залепила глаза... Это был катастрофический опыт. Я бежал, как осел за морковкой... Где наслаждение похоже на морковку, болтающуюся перед глазами, оно затмевает все, над ним трясешься... Я так трясся... так трясся... Я даже тебя не угадал... — Он помолчал, переводя дух. — Твои бега были куда красивее. Я пришел в восхищение... С готовностью принять смерть! И ради чего?!

— И вместо смерти приняла срам! — воскликнула я, обливаясь горячими слезами.

— Это было выше твоих сил, выше всяких человеческих возможностей, — ласково покачал головой Леонардик. — Как бы ты ни бежала, ты заранее была обречена на поражение... Когда ты плачешь, ты божественна, — прошептал он.

— Я хотела, как лучше, — сказала я.

— Верю! Но для этой страны (он постучал страшным ногтем по туалетному столику), для нее колдовство охранительно... Стало быть, в этот раз ты была не спасительница, а посягала на разрушение, ты бежала против России, хотя ты и красиво бежала...

— Почему это против? — обиделась я.

— Потому что колдовство заговаривает кровь, но — как цемент — связывает центробежные силы... Кое о чем в этом роде я догадывался при жизни, но я умудрился сделать все для того, чтобы мне никто не поверил... Стыдно!..

— Заладил!

— Нет! — встряхнулся Леонардик. — Это какое-то наваждение! Не только живые, но и тамошние, бывшие сограждане не могут с ним совладать... Как будто нет ничего другого!

— Как-никак, шестая часть суши, — заступилась я за сограждан.

— Так ведь только одна шестая! — возразил Леонардик.

— Где же, по-твоему, столица? — поинтересовалась я.

Он со значением устремил взгляд к потолку и затем плутовато улыбнулся:

— Ты всегда хотела столичной жизни... Зачем откладывать?

Русская красавица

— Если ты меня любишь, то будешь ждать, — ответила я, тоже прибегнув к незначительной хитрости.

— Я не могу ждать. Я истомился без тебя...

— Ты мне лучше вот что скажи! — отвлекла я его и вдруг неподдельно обрадовалась: — Если ты явился, ну, раз ты явился, значит, Он есть? Есть?

— Значит, я есть, — горестно усмехнулся Леонардик.

— Нет, погоди! А Он?

Леонардик упрямо молчал.

— Неужели ты там Его не чувствуешь? — поразила я.

— Нет, почему? — безо всякой охоты молвил Леонардик. — Чувствую. Чувствую и каюсь, сгораю от стыда. Но ничего не могу с собой поделать. Ты притягиваешь сильнее.

Он затравленно посмотрел на меня с диванчика.

— Нам с тобой нужно утолить эту страсть, чтобы вернуться к Нему.

— Значит, Он есть! — возликовала я.

— Чему ты радуешься?

— Как чему? Вечной жизни!

Леонардик скривил многоопытный рот.

— Нашла чему радоваться... Чтобы ее обрести, нужно очиститься от себя, расстаться со

своим дорогим «я», которое чем больше мечтает и волнуется о своем бесконечном продолжении, тем скорее обречено на гибель и переплавку... Законы материи тяжелы, как сырая земля, — вздохнул он.

— Тебя послушать, так нет никакой разницы, есть Он или нет!

— Я говорю про тяжесть материи, — возразил Леонардик. — Его лучи почти не согревают землю. Казалось бы, отличие между верующим, перед которым открыт путь, и неверующим, который прах и лопух, должно быть гораздо больше, чем между человеком и амебой, но ведь на самом деле разница микроскопическая...

— Люди действительно живут так, будто Его нет, но они потому и живут, что Он есть.

— Ишь ты как бойко рассуждаешь! — удивился Леонардик.

— А ты думал! — польщенно улыбнулась я.

— Тем не менее... — тускло произнес Леонардик. — Что ни возьми... Даже гордость по поводу удачного рассуждения зачастую перевешивает ценность самого рассуждения. Это входит в состав культуры той самой неизбежной примесью, что никогда не допустит ее высокой истинности... Проклятая тяжесть! — опять вздохнул он.

Русская красавица

— Неужели от нас ничего не останется?

— Здесь — кости, там — смутная память о прежних воплощениях... Целая колода воплощений. Дурная, в сущности, игра. Мы только маска витального сгустка, но пока мы любим...

— Какой-то он неблагостный, этот твой бог! — поежилась я. — Может быть, ты его неправильно чувствуешь? Может быть, это и есть твое наказание?

Он побледнел, хотя вовсе не был розовощекий.

— Может быть... — пробормотал он.

— И ты еще зовешь меня к себе! — возмущилась я. — Что же ты можешь мне предложить, кроме этой тоски и холода?

— Любовь отогреет нас обоих. Художник и героиня. Дар и воля. Мы должны слиться!..

Я уже немного освоилась с ним разговаривать, потому что разговор был интересный и касался разных предметов, и смотрела на него с любопытством, я много о них слышала, всегда боялась, мимо кладбища ночью идти не могла без дрожи, потому что с раннего детства чувствовала, что здесь что-то не так, что есть что-то такое, что заставляет бояться, даже если я и не собиралась бояться, но иду мимо кладбища и думаю, что не буду бояться, но начинаю непроизвольно, стало быть, здесь

нечисто, не потому боялась, что самой туда страшно, под землю, это другой страх, а что они окликнут меня, то есть, может быть, я их влекла к себе больше, чем другие, хотя другие тоже жаловались, а я не из пугливых, и потом он сидел вполне скромный, в серых фланелевых брюках и черном клубном пиджаке с серебряными пуговицами, только очень грустный, и говорил очень грустные вещи, а мне хотелось, чтобы он меня утешил добрым словом, потому что я и так больна и у меня тяжелый период жизни, а он вместо того навел пущую грусть, но наконец мы были с ним квиты, то есть он меня простил, и я украдкой перевела дух, то есть я подумала, что он за этим и пришел, чтобы мне сказать, что не в обиде на меня, хотя я, конечно, его не убивала, но так могло ему показаться, потому что я там присутствовала, когда он умер, но как только он увидел, что я поменьше стала его бояться, то, надо сказать, сделался более развязным, и это меня насторожило.

— Ирочка... — сказал он. — Называю тебя по инерции Ирочкой, хотя это имя тебе не очень идет...

— Какое же мне идет?

— То, с которым ты по полю бежала, выворачивая мне душу наизнанку.

Русская красавица

— Я не для тебя бежала.

— Знаю. Потому и выворачивала.

— А ты хотел бы кросс в свою честь?

— Ты когда-нибудь любила меня?

— Я любила тебя, — убежденно ответила я.

— А теперь?

— Что делать, если ты умер...

— А я с новой силой тебя полюбил...

Я только и думаю о тебе... Я так истосковался, что все время рвался к тебе, но я боялся тебя испугать, но когда ты побежала по полю, я подумал, что ты бесстрашная, и позволил себе...

— Да, — вздохнула я. — Лучше бы я не бежала!

— Как ты красиво бежала!.. Я больше не могу без тебя!

— Страсти какие! — несмело хихикнула я. — Влюбленный призрак!

— Ирочка... Разве ты не видишь? Я изнываю, я хочу тебя!

— Ну, вот! — огорчилась я. — Вели философский разговор, о метафизике и прочих вещах, и что? Все кончается пошло и банально.

Он закусил губу.

— Ну, если это сильнее меня! — вскричал он. — Ирочка! Заклинаю тебя нашей земной любовью: отдайся мне!.. Ну, хотя бы разочек...

Я просто охуела. Я говорю:

— Ты с ума спятил? Кому я буду отдаваться? Ведь тебя даже, по совести сказать, нет. Так, одна фикция...

Он возражает, полный дрожи в голосе:

— У меня серьезные намерения. Я готов жениться. Ты — моя! Я не понимал этого раньше, но теперь это ясно как день. Пока не наслажусь тобой, пока не утолю свою страсть, я буду маяться и слоняться никчемной фигурой страдания. Ну, пожалуйста...

Я говорю:

— Очень интересно. Как ты себе это представляешь? Я, извини, этими штуками не занимаюсь. Это что? Это, кажется, некрофилией называется, да? Я с трупами не сплю!

А он говорит:

— А я не труп!

— Ну, все равно! Ты — не живой, не настоящий!

— Да я, — обижается, — в некотором роде более настоящий, чем ты!

— Вот, — говорю, — и возвращайся туда, к более настоящим, и делай с ними, что хочешь, а меня не трожь!

— Значит, так? На поле ты могла подставляться, а мне, твоему кавалеру и жертве, отказываешь?

Русская красавица

— Послушай! Не приставай ко мне! Нет, это ж надо такое! Ты хочешь, чтобы я умерла от разрыва сердца?!

— Я буду нежный... — прошептал Леонардик.

— Срать я хотела на твою нежность!

Все мое спокойствие испарилось. Я жутко разволновалась. Что делать? Заорать? Но ощущаю во внутренностях предательское безволие. Знаю: лучше не сопротивляться. Так напугает, что и в самом деле помру. Не перевести ли лучше в сферу добровольно-принудительного согласия? По опыту знаю, но при чем тут опыт? Ксюша, милая, ты представляешь себе? Такого у меня еще не бывало!

А он, паскуда, смотрит на меня и, конечно, мысли мои, как с листа бумаги, читает. Ты, говорит, все равно никуда не денешься, все равно — моя.

И встает с диванчика в возбужденном и трепетном состоянии.

Я говорю:

— Ты о Боге подумай!

А он молча бредет на меня.

— Ты брось... Такие заходы... Остановись! Стой!

А он приближается. Я схватила с тумбочки стакан и в него — хуяк! — прямо в голову

и не поняла, что произошло, но угодила в зеркало. Бац! Зеркало вдребезги. Дыра-звезда. Тут я совсем обобела.

— Я, — говорю, — из-за тебя зеркало разбила!

А он опять за свое:

— Ты на поле кому собиралась дать? Не боялась? А здесь боишься?

— Так на поле, — я чуть не плачу, — я за святое дело бегала, а тут что? Какая-то твоя посмертная похоть...

— Дура! Я женюсь на тебе!

— И что дальше?

— Будем не расставаться!

— Не подходи ближе! Не подходи!

А он сел на край кровати, в ногах, и говорит:

— Неужели ты думаешь, что тебе со мной плохо будет?

— Знаешь что!.. Философия твоя вся гнилая: ты потому такой пессимизм развел, чтобы мне от тоски в любые, даже ТВОИ объятья броситься, как в петлю! Я теперь понимаю...

— Неправда... Хочу тебя... — бредит.

— Ладно-ладно! Не ты один!

— Мы с тобой неразделимое целое, Жанна!

Русская красавица

— Что? Какая Жанна? Вздор! Теперь я Жанна и еще невесть кто, а как трахнешь меня — опять за говно держать будешь! Знаю! Нетушки!

А он заявляет:

— Если будешь сопротивляться, я тебя придушу подушкой. Я сильный!

Посмотрела я на него. Он действительно сильный. Куда сильнее, чем был при жизни. Жилистый такой... Действительно, думаю, придушит... Что делать? Я говорю:

— Как тебе не стыдно? Пришел к больной женщине. Обещал ухаживать... У меня горло болит...

— Жанна, любимая!.. Я тебя так буду любить, что ты про горло думать забудешь!

— Не преувеличиваешь ли ты, — сомневаюсь, — свои возможности?

— Сейчас, — говорит, — увидишь, — и клубный пиджак расстегивает.

— Погоди-погоди! Не спеши! Ты меня не соблазняй, понял? Все равно не соблазнишь! Я боюсь тебя, понял? Боюсь!!!

Он положил руку на одеяло со своими отвратительными ногтями и сквозь одеяло начинает мне ногу гладить, гладит, гладит, у меня глаза чуть из орбит не вылазят, а рука все выше, выше, выше. Смотрю: он уже лобок начинает гладить. Я говорю:

Виктор Ерофеев

— Все равно ты меня не заведешь.
Я с мертвыми не сплю!

А он ласкает меня и отвечает:

— Никакой я тебе, повторяю, не мертвый, а даже теплое существо. Потрогай руку.

И руку жилистую ко мне протягивает.
Я невольно отдернулась.

— Вот еще! Руку щупать! Отчего это ты теплый? Может, снова ожил, а?

Он загадочно отвечает:

— Может...

То есть темнит, но я-то вижу, что он не человек, а кто-то другой, хотя руки теплые.

— А почему ногти у тебя такие? — задаю коварный вопрос.

— С ногтями, — говорит, — извини, ничего не поделаешь...

Ну, значит, не человек!

— Ты что, Леонардик, насильничать собрался? Не трожь меня!

А он:

— Ты меня убила.

А я:

— Так ты меня за это уже простил! Ты какой-то непоследовательный!

— Меня, — отвечает, — от желания распирает, а ты — про последовательность!..

Русская красавица

Ну, что с ним делать? Вижу — не слажу. Я даже оттолкнуть его боюсь...

А он сидел, сидел — да как бросится! К лицу припал, к губам прижался, свой скверный язык мне сквозь зубы пропихивает, а руками за шею схватился, будто обнимает. Я стала дергаться, туда-сюда по кровати ногами ходить, теряя носки, только смотрю, он одеяло отбросил и рубашку мою к шее закручивает, за груди хватается, за ноги ловит. Я тогда, как уж вывернулась, пусть лучше со спины, думаю, чтоб не видеть, ничком лежу и ноги не зажимаю, не то, думаю, он меня там всю разворотит и будут разрывы, и бормочу:

— Ты чего, Леонардик! Ты чего! Сумасшедший! Ты же умер!

Так я бормочу и ноги на всякий случай не сжимаю, ну, будь что будет, только, шепчу, не убивай! я еще жить немножечко хочу!.. Ой!

Никогда при жизни храбрецом Леонардик не был, на подвиги не тянул, и долго, бывало, возилась я с ним, раздувая потухший, сырой костер, ой, буквально часами дуешь-дуешь, а все без толку, покуда из искры... такая тоска!.. ой! а здесь, смотрю, дело складывается по-иному, насел, груди руками сдавил,

и не так, как прежде, слюняво, страдательно, а крепко, даже, может быть, чуточку крепче, чем надо, то есть именно так, как надо, сдавил, весь выпрямился и пошел! пошел! Я думаю: ну, вот! ну, вот сейчас!.. Однако не тут-то было... И мне самой даже интересно: вот, думаю, какие превращения, кто бы мог подумать! А он вдобавок что-то бормочет, вроде бы как: девочка ты моя, Жанночка любимая, то есть в роль вошел, вообразил невесть что и от этого еще больше распалился. Славно наяблывает! Господи, думаю, это ж надо такое! Сначала интеллектуальными беседами про Бога занимал, а потом, сбросив личину, взялся за дело, ой, только еще, ой, еще, Леонардик! Ой, как сладенько, ой! ой! ой! — как вкусненько... милый!.. ой! Ай! Господи! Ой, а-а-а-а-а!!!

Я в подушку вцепилась, вгрызлась в подушку, ору. Кончила раз, другой, и снова забрало, забирает волнами, одна на другую набегают, тело прыгает. Боже ты мой! опомниться не дает, а у него — ну, лучше не придумаешь!.. И я стала визжать и кусаться, и из кожи лезть, подушку кусаю, а потом, чтобы себя совсем не растерять, палец большой в рот положила, сосу...

Господи, силы дай!.. а он дальше, и дальше, и дальше, он все больше разгоняется и не-

Русская красавица

сетя, спасу нет! Нет спасу! Ой! Ай! Остановись! Нет, еще!..

То есть ТАКОЕ!

Кончаю за разом раз, уже ничего не понимаю, уже не знаю, что со мной, уже я вся свечусь, как жар-птица, уже меня нет, я вся там, и он со мной, и торжествует, и с какими-то замысловатыми невыносимыми вибрациями входит, как только Карлос умел, да и то не совсем, несмотря на парижский шик, только чувствую: ближе! ближе! Ой! Ору. Мамочка родная! Ой! А он все ближе и ближе — и сейчас нас обоих не будет — Леонардик! — Жанночка! — в судорогах и слезах — поплыла-поплыла — дернулась! — и свершилось.

Просыпаюсь от щебета птиц. Теплынь бабьего лета, и пузырятся белые терагальные занавески. Лежу поперек кровати, на животе, в обнимку с подушкой. На подушке бурые пятна, из подушки перья торчат, большой палец опух и наполовину откушен. Птицы поют. Одеяло на полу, рубашка порвана — вид в значительной мере растерзанный. Приподнялась и огляделась. Зеркало! Черная звезда. Гребешки и кремы в осколках.

Потерла лоб. Я даже позабыла, что ангина, но когда потерла, догадалась, что вроде бы спала температура, прочистила горло, и тоже — как будто не жжется, только меня это мало волнует: смотрю, я осталась жива. Ну, я встала, по привычке направилась в ванную, да вдруг, проходя коридор, где горел непогашенный свет, как все вспомню! — и прислонилась к стене, застонала,

пот выступил, слабость... Постояла, постояла и поплелась в ванную.

Газоаппарат гудит. Выдавила я пасту, открыла рот, ошетишила зубы, и вся нелепость утреннего туалета предстала перед глазами. Босая, лохматая, с зубной щеткой в руке, я поняла Катюшу Минкову, мою школьную подругу из захолустья, которая под страшным секретом призналась мне на перемене в восьмом классе, мучаясь своей некрасотой, что она мечтает, чтобы у нее на боку была молния и чтобы однажды она расстегнула ее и вышла из себя, и все стало бы совсем по-иному.

Но отчего это, — подумала я, отложив в сторону щетку, — мне так окончательно неуютно? — И осенило: запах не тот! Ну, как вам сказать? Ну, как будто разорен мой бергамотовый сад — и сорваны — и гниют мои бергамоты... Такое отчетливое ощущение.

Ксюша! Ксюша!

Да только нет моей Ксюши, засела она в своем Фонтенбло, как отрезанный ломоть. Ну, я — куда звонить? — думаю. Не конвоирам же? А на дворе теплынь. Подумала-подумала, набираю телефон Мерзлякова, все-таки у нас с ним дружба. Подходит жена его, голос неласковый, я понимаю, что нельзя, но трубку не вешаю: — Здравствуйте! — говорю. — Позови-

те Виталия... — Он: — Алле! — А что мне ему сказать? Я говорю: — Витасик! Приезжай скорей! У меня беда! — Он помолчал немного и отвечает: — Значит, статья готова?... Хорошо, я заеду. Заберу. Спасибо, Марина Львовна! — Меня подавило это убожество ухищрения. Я на грани жизни и смерти, а он: Марина Львовна... Я даже перезвонить хотела, чтобы не приезжал, но он приезжает, часа через два, а я провожу это время в томлении, и даже окно распахнула на всякий случай, впуская дворовую кутерьму, хотя днем они не должны появляться, но черт их разберет, коли они так свирепо трахаются! В рассуждении об этом балдею от ужаса. Но тут, слава Богу, он приезжает, с веселым лицом человека, случайно вырвавшегося в выходной день из семьи, чмокает в щечку и напускается с шуточными претензиями: как, мол, посмела звонить? Витасик, милый, ты прости: неотложность, а не каприз, мир запрокинулся, а сама вся дрожу. Он ко мне присмотрелся: что с тобой?! Он уже знал, что я мимо по полю пробежалась, ничего не вышло, а только поссорились. Ребята тебя целую ночь искали. Куда ты делась? Врут, что искали! Они уехали, говорю. Я у дороги сидела... Ничего... Добралась... Да нет, я почти здорова... Просто они озверели, когда я третий

раз побежала, да ну их! Это теперь неважно, теперь все неважно — вот — посмотри. Он смотрит: разбитое зеркало. Так. Это еще каким образом? Я зафинделила. В кого? В него. В кого именно? Ну, в него, в Леонардика. То есть во Владимира Сергеевича... Он приходил.

Витасик так и присел на диванчик. Струсил. Это меня не удивило. Смотрит недоверчиво и одичало. То на меня, то на зеркало. Он что, в зеркале показался? О чем ты говоришь! Здесь, на диванчике, сидел! Витасик подпрыгнул с диванчика...

Витасик, герой шестидневной любви. Ты бы хоть курточку снял! Он не снял. Он спросил: — Он тебе угрожал? — А ты думал! Он сказал, если кто узнает, что он ко мне приходил, тому несдобровать... — Я зажала ладошкой рот. — Ну, спасибо! — промолвил Витасик. — У меня нет никого, кроме тебя... — оправдывалась я. Но Мерзляков хитер, изворотлив умом: — А может быть, он на пушку брал, чтобы ты не болтала? — Я обрадовалась: — Конечно, на пушку!.. Только вдруг он опять придет? — Обещался? — Его ко мне тянет. Он сказал, что Бог совсем не такой, как нам кажется, что, хотя Он есть, это в принципе не имеет значения... — А что имеет? — насторожился Витасик. — Я не поняла, — призналась чистосердечно. — Но вообще он го-

ворил о том, что нужно беречь природу, не загрязнять леса и водоемы... — Витасик хмыкнул: — А о том, что нужно лечить больных, не обижать домашних животных, уважать старших, почитать начальство — об этом он тоже распространялся? — Почему ты спрашиваешь? — Каким ты был, — весело и фальшивя запел Витасик, — таким ты и остался... — Это ты зря, — не согласилась я. — Он раскаивается. Он сказал, что он многое понял, однако идею вселенского коммунизма как идею одобряет и поддерживает. — А что он к живой девушке пристаёт, это его не смущало? — Он же мне сначала в любви признался! — чуть-чуть обиделась я за Леонардика. — И потом: разве он не прав? разве не нужно лечить больных и сажать деревья? — Какое трогательное и гуманное явление! — умилился Витасик. — Я бы попросил у него автограф... — Он бранил свои книги, — вспомнила я. — Да ну? — не поверил Витасик. — Он вообще сомневался! Говорил, что культура повсюду выхолостилась, что только новое откровение способно будет ее оживить. — Витасик наморщил лоб: — Постой, а что он имел в виду под новым откровением?

Терпеть не могу заумных мужиков: они всегда склонны к отвлеченным словам и многочасовой болтовне в накуренном помещении!

— При чем тут откровение! — рассердилась я. — Ты мне лучше посоветуй, как мне быть? — А ты сама чего хочешь? — Чтобы он от меня отвязался! — Интересно, это был призрак или привидение? — задумался Витасик. — Какая разница! Главное, он на меня набросился. — А ты? — Я, что я? — Тебе понравилось? — Ты что! — вскричала я. — Понравилось! Он подушкой душил! — И сколько раз ты кончила? — Не помню... — Ясно. — Ничего не ясно! — возразила я. — Я боюсь, что он поведется меня трахать. Витасик! Я этого не перенесу. Я так могу умереть!.. — Витасик помолчал. Ты знаешь, сказал он мне, что Егора с Юрой вчера вызывали? Ты чего там про них порассказала? — Ничего я про них не рассказывала! Просто пришли ко мне два журналиста, ну эти, которые обо мне статейку написали непонятную... — Сами пришли? — Ну да! Они уже обо всем знали... — Во дают! — кисло поразился Витасик. — Может, они о нем тоже знают? — предположил он. С Мерзляковым никогда не понятно: то ли шутит, то ли издевается, то ли правду говорит. — Ты сходи в отделение и заяви, что тебя изнасиловали. Ведь он тебя изнасиловал или как? — Знаешь что! — сказала я с гневом. — Что? — наглова-то спросил Витасик. — Иди-ка сюда! — прика-

зала я. — Нагнись! — Да... — пробормотал виновато Витасик, удостоверившись. — Как будто трупом пахнет! — сказала я. — Витасик покачал головой. Запах его огорошил. — Ты ведь умный, — сказала я, — ты все знаешь, скажи, такие вещи случались на белом свете? Ну, вдали от людских глаз... Может быть, ведьмы с ними спали? — Витасик беспомощно развел руками. Он ни о чем подобном не слышал. — Что же мне делать? — Что же мне делать? — спросила я и рассказала про Катюшу Минкову и про молнию на боку. — Я вижу только один выход, — сказал Витасик, подумав. — Одевайся! Едем! — Куда? — Он посмотрел на меня странно: — Как куда? В церковь.

Пока я одевалась и куталась, предохраняясь от возврата панически бросившей меня болезни, Витасик ходил вокруг меня и изучал предметы хорошо знакомой ему спальни. Он был на высоте когда-то, но потом опустился, и мы подружились. — Ирочка, скажи мне, пожалуйста, вот эти твои мысли о поле и встреча с Леонардиком — откуда это взялось? Ты же была очень земная девушка. Не попала ли ты ненароком в руки какому-нибудь экстрасенсу? эзотерику? нет? — Я решительно отрицала. — В церковь в брюках не годится? А в шотландской юбке — не очень пе-

страя? — Сойдет, — одобрил Витасик. — Я вообще ни с кем теперь не сплю, — объяснила я. — И вообще после тебя, лапуля, я спала с мужиками безо всякого энтузиазма. — Ты всегда была очень вежливая девушка, — поклонился Витасик. — Нет, я правду говорю! — Я тоже после тебя ни с кем не спал, кроме жены, — улыбнулся мой друг. — А в Бога ты веришь? — спросила я. — Да все никак не решусь... — замялся он. — Знаю, что необходимо и очень полезно, но, может быть, оттого, что все это знаю, — рассказывал он мне по дороге, — стою, понимаешь, и чего-то выжидаю, выжидаю... — Ну, а после того, что случилось со мной? — Витасик покосился на меня: — Во всяком случае, это вдохновляет... — И опять: то ли шутит, то ли издевается, но у меня с ним дружба.

И отправились мы с ним за город, будто в Москве церквей нет, а он говорит, что под Москвою как-то вольготнее, ну, поехали, и снова я еду по осеннему пейзажу, мимо желтых деревьев и засыпающих, будто рыбы, прудов, и взлетели мы вскорости на горку, мимо свалки увядших венков и неровных, как детские каракули, оград и крестиков — и вдруг медным самоваром пылает и блещет церковь — приехали. А было воскресенье, и толь-

ко-только кончилась служба, и народ постепенно расходился, выходил на паперть и крестился, оглянувшись на самовар, и я косыночку накинула — входим, проталкиваемся против течения, а там еще свечками торгуют, я захотела купить, надышанный и насмоленный воздух густ непонятной мне густотой, и я чужой долговязой фигурой стою последняя в очереди за свечками — дылда — со своими эталонными пропорциями, только щиколотки заужены дворянским происхождением, а среди верующих народец мелкий, низкорослый — высокого человека редко когда в церкви встретишь и обязательно на него оглянешься, — но мы замешкались со свечками, зазевались, только собрались направиться к алтарю, а уборщицы нас не пускают, полы, говорят, начинаем мыть, все, давайте-давайте, ставьте свечки и выходите, не задерживайте, а Витасик берет их на обаяние, улыбается уборщицам отлаженной щедрой улыбкой: — Пропустите нас, у нас срочное дело, непременно нужно помолиться, — а они, естественно, не пускают, им все равно, раньше приходиться надо, коли молиться надумали, а не дрыхнуть до полудня, и не пускают, будто в магазине перерыв на обед, а Витасик настаивает и даже, утрачивая улыбку, сердиться начинает, вы уже совсем

Русская красавица

совесть потеряли, мы вам, мол, мыть не помещаем, а они ни в какую и даже толкаются, то есть гонят, но вдруг пропускают, пожалуйста, вижу по лицу Витасика, оказывается, и здесь можно по-хорошему договориться, чтобы все остались довольны, и мы прошли, а они принялись мыть пол и не обращают на нас внимания, хотя только что злые были и неуступчивые.

Подошли к образам. Пустота. Свечи вокруг горят, догорают. Что делать? Оглянулась я на Витасика. Он шепчет: вставай на колени, ну, я от всей души — стала, хотя никогда до этого не становилась, однако раньше ко мне тоже Владимир Сергеевич таким образом не приходил, и я стала. И Витасик стал рядом со мной. Стоим на коленях. Я пальцы сложила и неуверенно перекрестилась, но, по-моему, не ошиблась, перекрестилась, как положено. И он тоже вслед за мной перекрестился. Перекрестился и зарумянился, то есть ему стало стыдно, как рассказывал позже, в кабаке, потому что, рассказывал, в жизни его две неравные вещи смущали: обряды церковные и мужской гомосексуализм, то есть домашнее воспитание провело как бы черту, и умом своим развитым он понимает, что черта эта — вымышленная, но когда это с юности, ну, как у Ан-

дрыши, то можно сказать: от природы, и нет черты, а когда ее преодолеваешь, потому что дошел до пресыщения, рассуждал мой Витасик, тогда, несмотря на интерес, никак не избавишься от мысли, правильно ли поступаешь и не обманываешь ли себя. — Ну, а если даже обманываешь? — спросила я Витасика, выпив немного водки, поскольку черту видела менее отчетливо и не понимала, в чем, собственно, проблема, если кто из мужчин нежно тронет его за член. Глупый ты, право, Витасик! А мы оба были некрещеные. Стоим на коленях, как два дурака. Ну, шепчет, давай, Ира, начинай, молись — как? — ну, расскажи, что с тобой произошло, вырази отношение к происходящему и попроси, горячо попроси, чтобы этого больше не повторилось — ну, вот, в двух словах... А теперь молись, а то нас отсюда сейчас попросят. Молись, а я за тебя помолюсь, да и за себя тоже, раз такая okazия, а если что не так, сплшем на психотерапию, тоже не страшно, чтобы не выглядеть дураками, только, говорит, какая уж тут психотерапия, если он к тебе сватается и увлекает за собой, а я думаю: нужно в самом деле помолиться, хуже не будет, только я не умею, а иконы все какие-то странные, нет привычки, то есть у меня крестик всегда на шее — хрустальный, с золотым

Русская красавица

ободком — и иконы — я знала — это сокровища, ими обзаводятся и гордятся, и называют досками, и торгуют, и садятся за них на долгие года — все понимаю — страсти и красота, но не мое, как для Витасика педерастия, но я начала молиться, как могла, и губы зашевелились от слов, и я обратилась к Богу первый раз в жизни с такими словами:

Боже! Я стою перед Тобой на коленях и первый раз произношу Твое имя не потому, что мне хорошо, как тогда, когда сладко вздыхаю и уста шепчут имя Твое, и пристало оно к удовольствию, и я им пользовалась всегда — Ты прости, я не чтобы обидеть Тебя, а по привычке и недоразумению. Но настало другое время, и Ты обо мне все знаешь. Ты даже знаешь простодушную молитву, с которой я обращаюсь к Тебе, не подыскивая подходящих слов, так как подходящие слова — это тоже лукавство, и Ты знаешь, что случится со мной после этой молитвы, и завтра, и послезавтра, и через много дней, и Ты знаешь день, в который я умру, как умирают все люди, но Ты, может быть, передумашь, если я расскаюсь, только если я расскаюсь. Ты уже и это знаешь, и впереди Тебя не забежишь. Так что же мне делать, если все было не совсем так, как рассказывала я Витасику, и вообще, кто знает, как

есть на самом деле, кроме Тебя, потому что я многое не понимаю, и Ксюша говорит справедливо, что лобок мой сильнее, чем лобик, и это, согласись, для женщины нормально, так вот, что я хочу сказать? что попросить? А хочу я вот что попросить...

И тут как прорвалось, и я стала молиться, первая молитва — как первая любовь, все забываешь, и слезы льются. Потому что какая справедливость? Бабы, куда дурнее и подлее меня, живут распрекрасно и даже шикарно, и на руках их носят, а я, конечно, не без греха, да только за что мне такое непосильное наказание? За то, что Леонардик умер с моей помощью? Хорошо. Разберемся. Между прочим, он сам нарушил обещание: не женился, и пусть в моей молитве бытовая шелуха, но ведь и вся здешняя жизнь, извини, шелуха, и ничего, кроме пестрой шелухи. Он не женился, хотя я два года потеряла, а годы шли, и у меня убывала надежда, тем более что Карлос уехал, и вообще. И теперь что получается? Куда мне деться? Я бежала по полю, да! Но я не для себя бежала. Ты скажешь, что у меня был заветный шанс стать святой или просто национальным кумиром. Но ведь я рисковала жизнью! А чем еще может рисковать человек? Он потому и святой, потому и кумир, что

жизнь свою ниже народного интереса ставит, а что, когда рискует, про себя думает, потому что не может не думать, и если лукавит святой — это его частное дело! Я, может быть, потому и шла на верную гибель, и голос мне был, что чувствовала: сподоблюсь. Да только колдовство наше русское не заморозит даже самая сладкая баба! Тут приманка, должно быть, послаще... Не знаю, не думала — какая, и думать не хочу. Я и так, прости за грубость, обосралась. И вот новая напасть: Леонардик. Пришел и выеб. Зачем, спрашивается. Хочет жениться. Но разве можно выйти за мертвяка? Говорит, мы по-своему родственные души и что раньше жили в одном веке, но не пересеклись по не зависящим от нас околичностям, а теперь пересеклись, да только сразу не поняли, что к чему, и опять разминулись, и он спохватился, когда уже умер, и затосковал, доживая посмертный свой срок в отведенном Тобою небесном предбаннике, из которого, стало быть, есть еще дорожка назад, и он направился ко мне, пока дело не дошло до финальной кончины облика, ссылаясь на любовь, которая со смертью в нем сильнее разгорелась. Так он сказал. Хорошо. А теперь скажи, что мне делать? Не то страшно, что он меня употребил, хотя это тоже страшно, но

что за собой зовет, и я сомневаюсь... Витасик, который тут рядом со мной на коленях стоит, он сказал, пока ехали в церковь: все пути ведут к Богу, все, только мало кто идет по любому из них, останавливаются на первом шагу, как вкопанные, и дальше не идут, так жизнь проживают, а ты, Ириша, ушла дальше многих и, возражаю ему, дошла до чертиков. Но Ты меня, конечно, спросишь, а сама ты что хочешь? Мужа Карлоса или что-нибудь вроде него? Этим ли удовлетворишься? И если я скажу: да — Ты скажешь: подумаешь, тоже мне, святой хотела стать, а теперь ей уже Карлоса достаточно или космонавта. Нет, мне космонавт не к лицу. Пусть летает себе без моих слез и участия.

А что же тебе надо, Ира?

Запуталась я, Господи! Человека подтолкнула к смертному порогу, а нынче жалуюсь на него, что приходит...

Ну, что же делать будем?

Господи, я верую в Тебя так нетвердо, что один раз пишу Твое имя с заглавной буквы, а другой — с маленькой. Господи, запуталась девка, и дай мне срок! Дай в Тебе и в себе разобраться!

Не разберешься, Ира.

Почему не разберусь?

Русская красавица

А потому, что не дано тебе разобраться.

Что же мне тогда дано, Господи?

А то, чтобы ты ходила среди людей и высвечивала из-под низа всю их мерзость и некрасоту!

Господи! Доколе мне на людей раком смотреть и свидетельствовать о их неблагообразии?! Да, я знаю немножко людей с этой стороны и скажу Тебе, что они некрасивы, уродливы и вообще меня разочаровали. Но неужто участь моя — подмечать одну только мерзость? Ведь Ты, Господи, по-иному на них смотришь, ведь Ты продолжаешь и множишь их жизнь, а не сжигаешь все горячим железом! Или я не Тебе принадлежу? Нет, Тебе! Тебе. Не отдавай меня никому! Пожалуйста... Дай мне другие глаза! Подними меня с четверенек!

Нет, Ира.

Господи! Разве можно отнимать у человека надежду?

Но как исполнишь свое назначение, ты пойдешь ко Мне, и Я отмою тебя. Близится срок, потому что смеркается твоя красота...

Но я даже матерью еще не была, Господи! Дай мне хоть это!..

Витасик тряс меня за плечо. Прекрати! Ты что — орать в храме! Уборщицы, заправив

за пояс подолы, с угрожающими рожами приближались. Витасик поднялся с колен навстречу им. Какой-то попик высунулся из боковой двери, посмотрел на меня и исчез. Как выяснилось позже: отец Вениамин. Витасик поспешно и тихо доказывал что-то уборщицам. Те непреклонно мотали головами. Витасик поволок меня к дверям. Те ругались нам вслед. Витасик, сказала я, очутившись на дворе, Витасик... Я заплакала. Он усадил меня в машину. — Зачем ты меня сюда привез? Вы все в заговоре! Видеть тебя не хочу! — Я пихалась. Я выпихивала его из машины. — Уймись! — Он больно схватил меня за руку. Я рыдала. Разве можно отнимать у человека надежду? Не верю я в этого паскудного боженьку! В конце концов, мы живем в атеистическом государстве!

Чему нас учили с детства? Опиум для народа! Как верно! Как верно! Понастроили церквей! Идиоты! Не смогли их все вырвать с корнем! Просто у меня расстроились нервы. У меня плохо с нервами. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно успокоиться. Бархатный сезон на кавказской ривьере. Я утерла слезы. Дурман рассеивался. — Витасик, милый, — сказала я. — Извини. Извини за все! Больше ноги моей здесь не будет!.. Витасик, у тебя есть

немного времени? Витасик, милый, поедem в ресторан, хорошо? У меня есть деньги... — Деньги? У меня тоже есть деньги! — разворчался Витасик, радуясь завершению женской истерики. Я улыbнулась ему ненакрашенными заплаканными глазами. — Ой, как жрать хочется! — зажмурилась я.

И пустились мы в обратную дорогу, как в пляс, обгоняя движение и наверстывая упущенное, радуясь осязаемому веществу жизни, что прет, как тесто прет из кастрюльки, через край! — пусть прет! — ах, как хочется жрать! — туда, туда, через мост, за реку, на косогор, где в загородном кабаке знакомые повара стучат ножами, их жирные лица плавают над плитой, где шипят и стреляют цыплята табака, фыркают бифштексы, румянится осетрина на вертеле, а жаркое томится в горшочках! Туда, где на расписных подносах, на поднятых руках мои друзья-официанты разносят потную водку и тепловатое красное вино, туда, где под столами переплетаются ноги и баклажаны нафаршированы прозрачными намеками!

Подъехали. И, минуя робкую очередь, расположившуюся на крыльце в унылых позах предобеденного ожидания, прямо к двери: стучим! Отворяй! И на властный стук выска-

кивает на крыльцо свой человек, очаровательный душка, Федор Михайлович, в швейцарском мундире, с улыбкой, с лампасом, он на всех шикает, а нас рукой зазывает и немедленно пропускает, и запирает за нами тяжелый засов. Сейчас будем разговляться! Сейчас поддадим! А внутри нас приветчает разлюбезнейший Леонид Павлович, умеющий, заглянув ненароком в глаза, с ходу установить цену посетителю, определить его моральный облик, финансовые возможности, служебное и семейное положение, а также: судился ли он, когда, сколько раз и по какой шел статье, выездной или из тех, кто прикидывается выездным, а если иностранец, то из какой страны и по какой надобности в наших краях, Леонид Павлович, мой друг, рекомендую, и проводит нас в отдельный кабинет с плотными занавесями, и там уже накрыт стол — специально для нас, — и сервирована закуска, как-то: соленые рыжики, сациви, гурийская и квашеная капуста с брусникой, лобио, всякая зелень, горячий лаваш, лососинка с ломтиками лимона и кучерявой петрушкой, холодец с хреном, салат из крабов под майонезом, тамбовский окорок со слезцой, балычок, икорка и так далее — короче, гастрономический набор, предназначенный для победы над тоской, психастенией,

черной магией, тоталитаризмом, депрессией, критическим реализмом, безвременьем и прочим идеализмом. — Так... — потирая ручки, под перезвон браслетов. — Так... Начнем с водочки. Под водочку рыжик, царский гриб, так, намажем на горячий лаваш желтое масло, на масло густо-густо намажем икру, и выпьем еще раз, и забудем о глупостях, в конечном счете, право подрастающее поколение, которое — возьми рыбки — в лице моей Ритули утверждает, что бороться и мучиться глупо, надо жить, потому что, когда борешься, во-первых, напрягаешься и тратишь силы, во-вторых, тратишь время, в-третьих — налей! — ты можешь сам получить по зубам — за что боролся, на то и напоролся, мой случай! — в-четвертых, учти, ты должен считаться с теми, против кого — сжимаю кулачки и показываю, — а это скучно и недостойно нас, в-пятых, что в-пятых? — в-пятых, чокнемся и будем жить так, как будто все прекрасно, потому что тогда все сразу станет прекрасно, и не суетиться — о! — вспоминать их пореже, и они исчезнут сами собой, выведутся со временем — вот именно! — заниматься своим делом — или, прости, ни хрена не делать — это тоже дело! — и совершенно ни с чем не бороться, не связываться, — да-да, не бегать,

а избегать, — тратить деньги, если есть деньги, а нет — так нет — а я суетилась, и бабушка осуждающе взирала со стены на мою суету — а мы принадлежим еще к тому поколению, которое суетилось, спорило, распевало двусмысленные песенки... вот чего не надо, вот! — не надо двусмысленности — вот в чем наша беда и неволя! — в двусмысленности — она нас погубила, — так рассуждал, попивая водочку, Мерзляков, и я соглашалась, и я рассуждала так, и он соглашался, и мы выпивали и соглашались, и нам было уже совсем хорошо, потому что нас угостили свежими вкусными щами, а потом мы съели по две палки шашлыка со жгучим соусом, а потом заказали еще бутылочку водки, и, разумеется, быстренько ее усидели, и мы дивились тому, сидя друг против друга, сколько глупостей мы успели совершить, дразня гусей, и мы знали, что вошли во вкус, и нам очень трудно перестать их дразнить, пройти мимо, потому что у нас такая закваска и к тому же гусь — гнуснейшая птица, и больно щиплетса, и хотя Витасик тоже в своей жизни немножко махал кулаками, но ему было далеко до меня, он только издали мною восхищался, когда я бросала в британский оркестр апельсины и когда красовалась в роскошном журнальчике — не было в нем насто-

ящей отваги — но все-таки он был мне приятен, поскольку мне надоела шваль, а он не шваль, от коньяка мы отказались, и взяли снова водки, потом еще ели шоколадный пломбир с бисквитным печеньем, будто у меня не было и в помине ангины, а мне так захотелось, и я ела мороженое, и мы сошлись во мнении, что не нужно дразнить гусей, а самый большой гусь — он там! — сказала я, имея в виду паскудного боженьку, который читал мне нотации, несмотря на то, что его давно и категорически отменили, и правильно сделали! и Леонид Павлович, несмотря на занятость и других посетителей, несколько раз к нам навещался, отпускал комплименты и пристойные шуточки, и, когда Витасик вышел на минуточку, Леонид Павлович заметил, что мой кавалер из хорошей русской семьи, а я поделилась с ним, что между нами был момент высочайшей любви, потому что мне нравятся мальчики с гладкой чистой кожей лица от вкусного рыночного питания, потому что у него отутюжены брюки, и няньки водили его на прогулки в парк культуры и отдыха, потому что он знает несколько иностранных языков и с младенчества даром имел то, что другие вырывают друг у друга из глотки, а я люблю тех, кому дается все даром, без пота, и Леонид Павлович

одобрял меня, а я Витасику тоже понравилась, и мы в тот же вечер полюбили друг друга, а вот теперь снова встретились — и тут Витасик вошел, и мы опять принялись с ним говорить, и, конечно, мы так досидели до самого закрытия, и разорились, отдав все деньги, и Леонид Павлович посоветовал нам прибегнуть к помощи такси и даже дал займы на дорогу, и мы поехали на такси, и к полуночи были у меня дома, и, когда мы поднялись ко мне выпить чаю, Витасик случайно заметил, что уже полночь, а он обещался к обеду в семью, а я стала просить у меня остаться, но не потому, что хотела его соблазнить или еще что, а потому, что, когда мы приехали домой и я увидела квартиру: битое стекло и свет в коридоре — все равно, хоть я и выпила и разуверилась категорически, стало мне не по себе, и я сказала, чтобы он позвонил домой и сказал, что он у меня, потому что ты сам мне говорил, зачем двусмысленность? а он стал возражать, что нельзя причинять боль близкому человеку, то есть жене, а я сказала, что жена должна войти в мое положение, потому что вдруг он снова придет, невзирая на то, что я подвыпившая, и, например, меня убьет, потому что он хочет мне отомстить — как за что? — а просто так! — отомстит ни за что — и убьет — и я умру во сне,

даже не проснувшись, а если ты будешь рядом, то он никогда не придет, а если придет, у вас состоится мужской разговор на кухне про новое откровение, о котором ты хочешь его спросить, а Витасик сказал, что он, конечно, не против мужского разговора про откровение, но ему пора домой, потому что жена, синхронная переводчица, ждет его уже часов десять, если не больше, и беспокоится исключительно потому, дело в том, что она мне доверяет, что могло что-то случиться с машиной, а машину свою он оставил у реки, когда мы уехали по просьбе Леонида Павловича, который мне вдобавок подарил букет белых гвоздик, на, отдай своей жене, вынув из вазочки, а Витасик ему сказал, что деньги он завтра привезет, потому что все равно за машиной возвращаться, и оставит у Федора Михайловича, поскольку Леонид Павлович по понедельникам на работу и вовсе не выходит, а я ему сказала: ты ложись рядом, раздевайся и ложись, вот наша кровать, вот немного битое зеркало — ну и черт с ним! — а вот пуфик — помнишь? — на нем мы сидели, лицом к лицу, а я — ты помнишь! — еще надевала лису, и ты говорил хоча: какой омерзительный китч! — это тебя почему-то особенно волновало — и ты не мог от меня оторваться — потому что — разводил

руками — не могу! — так что — ну, хорошо, позвони ты своей жене! — куда звонить? — второй час! — как второй? еще одиннадцать! — у тебя все одиннадцать! — а я свои часики на поле посеяла. — Витасик, скажи: ты почему не хотел, чтобы я бегала? — потому что я хотел, чтобы ты была живая и невредимая — а знаешь, когда я бежала, я думала: сейчас как нахлынет! испепелит! — а вместо этого Леонардик пришел не постучавшись — а в церкви? — что в церкви? — почему кричала? — потому что, дурачок, ты пойми, нельзя у человека отнимать надежду! но на всякий случай, я хитрая, я покрещусь, понял? — оставайся со мной — давай, ложись, снимай свои портки! — ну, хоть до первых петухов — не могу! — ну, я тебя прошу — ну, хочешь, я перед тобой на колени встану? — он вскочил: ты что! — я — княжна Тараканова — я ловлю и целую мужские руки первый раз в жизни! — ну, оставайся — мне надо домой!!! — ты боишься, что он придет? — он не придет — ты спи, я пошел, до свидания, — не уходи! ну, я же хочу тебя, не видишь, ну, вылечи ты меня, я запах залью духами, народ знаешь, что говорит: живот на живот... — ну, что ты болтаешь! — Ага... я знаю. Ты боишься заразиться! — брось! — да! да! сволочь ты! — Ира! — Я первый раз прошу мужи-

Русская красавица

ка... — Ира! Ириша милая!.. — Я из-за тебя бросила Карлоса! Ты мне жизнь испортил! Подонок! Уходи! Видеть тебя не желаю! Уходи! И больше не приходи! Я покрещусь и не буду бояться, а ты — гад! бабник! — у тебя сколько любовниц? я все твоей образованной жене скажу, доверяет!.. — Ириша! — Импотент несчастный! — Ну вот... — Что вот? Испортил мне жизнь! Я тебя ненавижу! Нет, ты подожди уходить, говно. Чистоплюй! Маменькин сосуночек! Чистеньким хочешь остаться? Не получится! Трус! А я никого не боюсь!.. Но почему это все живут, а я гибну? Витасик, ответь, нет, ты мне ответь: ты меня любишь?

Под утро он все-таки сбежал. Кажется, я влепила ему пощечину под утро. Или еще что-то было? Не соображу.

Сбежал с первыми петухами. А у меня соседка на первом этаже кур и двух петухов развела. К ней участковый приходил, запрещал держать, а она держит, мы даже коллективное письмо протеста в Моссовет послали, все жильцы подписались, я тоже поставила подпись, а она все равно держит, и они у нее поют.

Ну, все. Я пала! Я пала! Нет, не потому я пала, что, сдавшись на уговоры и страдая от вынужденного безденежья, согласилась, и не потому, что громовержец Гавлеев еще не проронил веского слова, не принял меня в свою команду — а на что мне его команда? — и не потому, что Ритуля настаивала и умоляла, и я сказала: ладно! — и с пузом, сказала: будь по-твоему, и Гамлет возликовал, собрались у Ритули, и вознаграждение на сотню больше, чем обещал, я была довольна и Гамлет тоже: он крутился вокруг моего живота и говорил: как я рад! как я рад! ты будешь хорошей матерью — со своим армянским акцентом, я мимоходом покосилась на его член, это был член неинтересного, малограмотного человека, собиравшегося жениться на дурехе, моей Ритуле, и он напрягся, когда согласно сценарию

должны мы были выступить дуэтом, я поняла, что дальше проступит слепая ревность, румынская мебель, дом в Ереване — ну и съезжай! — а пока армяшка поглаживал мой живот и восхищался выпуклостью беременных линий, и спрашивал: а мы его не потревожим? такой, знаете ли, деликатный, да нет! смелей! — а рядом милая Ритуля, о которой он даже позабыл в жадной страсти к свежатине, восторгается нами лживо, им обоим дорого обойдется, а мне что? — я свое дело знаю, хоть и короткий член у этого Гамлета, и я подумала: а у шекспировского — какой? почему драматурги не указывают этой существенной детали? почему вообще это мимо них, будто все не вокруг этого, или мне так кажется, только скорее, казалось, потому что теперь, обладая другими неотложными заботами, мне так не кажется, и я подумала, когда он деликатничал, мол, не потревожим ли мы покой: вот и вытяни его, как штопором, а? — подумала и сказала: как жаль, милый Гамлет, ереванский вы человек, что у вас хуй не штопор! — а они, восточные люди, волосатые, мохнатые, это я, впрочем, люблю, с Дато спать, как с медвежонком, но имеются недостатки: обидчивы. Как нальется глаз, да только мне не страшно, не обижайся, Гамлет, а Ритуля: ха-ха-ха! — ей

это еще отольется, с брильянтами в ушах, дуреха, а она говорит: а что мне таким мужиком разбрасываться? Я к нему в карманы заглядывала: там меньше четвертака бумажки не встретишь, и они так смяты небрежно, будто трюльник, а я девушка непритязательная, хочу замуж, и он поверил, что он — первый, ага, они глупые, вот и хорошо! но просит ее: сведи, слушай, меня со своей подругой, а как свела, так сразу насторожился, особенно как я к ней, соскучившись, потянулась, ну, думаю, в другой раз, а он спланировал на свежатину, с пузом, возгорелся, да ну! даже надоело, а потом пили шампанское, мой брют! — и я сказала: только чтобы был брют! — такое условие, и он по Москве на такси два дня искал, я сказала: надо знать, где искать, ереванский вы человек! — он обиделся, до чего они обидчивы, слов нет! вы, говорит, зачем так говорите? а мне что: хочу и говорю, но сидим тихо-мирно, пьем шампанское, и Ритуля, моя бывшая отступница, спрашивает: ну, что, обошлось у тебя? И хочется ей услышать, что обошлось, утихомирилось, а про поле она знать не знает, шума не было, Егор с Юрочкой языки проглотили, пугнули мальчиков, и правильно сделали! Разошлись, разгулялись по буфету, а как цыкнули, сбледнели с лица, и я, потворствуя

Русская красавица

ей, говорю: обошлось, — а она говорит: значит, жизнь продолжается? Ура! — и чокается шампанским, а Гамлету, — объясняет, — очень журнальчик понравился, раритет, он его за большие деньги приобрел, Гамлет блаженно кивает, молодец, говорю, не жалея денег, он в гостинице Берлин проживает, я, говорит Гамлет, как увидел, что такая красавица, обалдел, а Ритуля говорит: представь себе, это моя лучшая подруга! — вот и вышел мне гонорар в ночь с армяшкой, одна польза, остальное — вред, ну, ладно, а он говорит: вы прямо красивая, как иностранка, там на карточках, у меня, знаете ли, даже... знаю! знаю! — поздравляю, говорю, сейчас побегу в ванную, шутка, он крутит головой, чувствует своим косолапым сердцем, что обидное говорю, но не понимает, а Ритуля за него обижается, будто уже жена, заранее, на всякий случай, Ритуля прохаживается без одежд, хороша ты, милая моя, хороша, и пальчиком, пальчиком наяривает, Гамлет напрягся, морду бить будет, ах, наперед все знаю, по залупе умею гадать, дай погадаю! — а он: ты не шутишь? Ритуля не выдержала: хохочет, а я говорю: не шучу, мне только краем глаза увидеть, и сразу скажу, кто твои родители, какого цвета волгу имеешь, сколько лет жить будешь — смотрю: глаза настороженные,

неискренние — жулик. Мне невыносимо весело, а он огорчается, мужиков вообще ничего не стоит огорчить, это Ксюша у нас мастерица, а Вероника потирает ручки, слушая про то, как мужик лажанулся, а я говорю: а чего это у вас армянки такие некрасивые, и Гамлет опять огорчается: нет, перечит, они красивые! а если красивые, говорю, то зачем в Москву свататься приехал? — а он говорит: они гордые очень! Знаем мы таких гордых, чем страшнее, тем больше гордости! Неинтересно. Вот, думаю, и подходит мой срок. Да только погодите: я вам напоследок рожу! Но сомнений много. Станислав Альбертович тоже стал недоброе подозревать, мне в глаза на консультациях робко заглядывает и уже не поздравляет, не спешит с поцелуями, и охладел доктор Флавицкий, что это вы так индифферентны, доктор? Работа, жалуется, заела, да и знаете ли, в суд на меня подали, одна пациентка, семнадцатилетняя сопля! Скажите, пожалуйста! Наглость какая! Я говорю: кто будет — мальчик или девочка? Вроде бы мальчик. Но без гарантии. Я говорю: больно он куролесит! Флавицкий печально: ну, значит, пока все в порядке. Я говорю: нет ли патологии? И запах — не трупный? Да, деточка, запашок, это верно, не пойму откуда. Шучу: это я разлагаюсь заживо.

И охватили сомнения. Насчет рожать. То есть аборт делать поздно. Это все уже сроки прошли... и я пала!

Во-первых, о Веронике. Она ведьма, но мы с ней после поля не ладим, я ей звонила, она слова тянет, а чего тянет, не понимаю. На верную смерть меня отослала, а теперь даже не поинтересуется, как и что у меня, слова тянет, и новые друзья — будто вымерли, ну, да мне их и даром не нужно, Ритуля не в счет, а Ксюша опять в Америке, я не выдержала, позвонила ей в Фонтенбло, по-английски говорила со стоматологом, у нее там какой-то чешский режиссер завелся, в Америке, она мне намекнула и уехала за океан. Ксюшенька, ты меня совсем забыла, а ей визу в Москву не дали как шпионке и диверсантке. Она с обидой: перебыюсь. Только мне все равно: она моя любовь. А Гавлеев молчит. Ну и молчи. Стоматолог-француз говорит: ши из ин Нью-Йорк, а я ему: мерси, до свидания, и повесила трубку, думаю: с кем посоветоваться? Мерзлякову звонила — дуется. У меня, сообщает, тоже неприятности. Мне бы твои неприятности! А Дато в командировке, я звонила, его семья меня любит, но отвечали уклончиво, а Вероника? Вот сука! За что? Не пойму. Не издох ли ее Тимофей? Нет, живехонький... И я пала. То есть

мне бы какого другого совета искать, а я — к Катерине Максимовне.

Вхожу к ней, сидит, вечерний чай пьет, с бубликами. Квартирка однокомнатная, вся мебелью и коврами заставленная, в Чертанове живет, на выселках. А я тебя, говорит, сижу дожидаясь. Садись, чай пить будем. И достает из-под матрешки чайник, наливает мне одной горькой заварки, нет, я такой крепкий не буду, когда, спрашивает, рожать — на живот взглянула — собираешься? Когда? Месяца через два. Замолчали. Она сидит, зря вопроса не задаст, чай попивает, бублик в чашку макает и в телевизор уставилась. Я говорю: Катерина Максимовна, у меня к вам просьба. Она молчит, слушает дальше. Я говорю: я вот рожать собралась... а жених, говорю, меня бросил, не наведывается, с концами пропал, даже, говорю, и не знает, что у нас деточка будет, ребеночек, нельзя ли его позвать? мне с ним поговорить необходимо. Что же, удивляется, он тебя покинул? или он себе другую подругу нашел и к ней переехал? Не знаю, отвечаю, ничего не знаю, где он, что он — понятия не имею, но только не в подруге здесь дело — я его подруга, но только он перестал наведываться, что-то ему, видно, мешает, а мне обязательно нужно с ним увидеться!.. Значит, рас-

суждает Катерина Максимовна, следует его к тебе приворожить. Ну, да, — радуюсь, — что-нибудь в этом роде, чтобы он пришел, насчет ребеночка посоветоваться. Она говорит: у тебя есть его фотокарточка? — Дома есть. — Приезжай в другой раз с фотокарточкой и прихвати с собой сто рублей, надобно мне для этой цели десять свечей по десять рублей каждая, поняла? Я отвечаю: вот вам сто рублей, и отдаю ей армянские деньги, возьмите на свечи, а я за фотокарточкой, я скоро буду, и сама в нетерпении, скорей в такси, лечу к себе через всю Москву, сквозь пургу и снег по колено, и Кремль, посередке горит, как летающая тарелка. Беру фотокарточку и назад, отряхаюсь в прихожей, прошу тапочки, чтобы не наследить, и вынимаю из сумочки фотокарточку как ни в чем не бывало, а у самой сердце так и бьется, боюсь: откажет. Она взяла фотокарточку в руки, взгляделась, потом на стол ее осторожно кладет и на меня смотрит. Ты понимаешь, о чем просишь? Я говорю: понимаю. Она молчит, с недовольным лицом. Я закурила, говорю: Катерина Максимовна, вы за меня не беспокойтесь, он уже раз ко мне приходил, на диванчик присел, очень скромно, мы с ним поговорили, и он ушел. На себя-то, спрашивает, похожий приходил? Похо-

жий, говорю, совершенно похожий, только чуточку грустнее, чем в жизни, и лет на пять помоложе, такой, как на фотокарточке, я специально выбрала, он мне несколько подарил... Нет, говорит, за это я не возьмусь. Почему, Катерина Максимовна? Ну, миленькая! Ну, возьмите еще денег! Полезла в сумочку. Она меня останавливает. Подожди, говорит, ты мне лучше вот что скажи: это с ним ты ребеночка завела? И на меня выжидательно смотрит. А что, говорю, этого нельзя делать? Как вы думаете? Я, собственно, потому его и прошу прийти, чтобы ясно было. А он не идет, или нет уже его, куда-нибудь перевели, ну, как в армии... Может быть, он уже далеко, так далеко, что совсем не вернется? Я стряхнула пепел в синее блюдечко и откинулась на спинку дивана. Он, восклицаю, жениться предлагал! А что ты ему ответила? Ну, не могла же я, Катерина Максимовна, с бухты-барахты ему отвечать!.. Я думала: он снова придет. А он не идет и не идет. Или передумал? А я вот — ребеночка сохранила...

Катерина Максимовна встала и говорит: приходи завтра, красавица, вечером. Я буду на книге ворожить... Я вскочила: спасибо! — Потом отблагодаришь... Я говорю: я могу даже чеками, если возьмете... Она говорит: после!

после. Уходи! Даже строгая стала. Я испугалась, что откажется, и скорее за дверь.

Вся извелась. На другой вечер снова приезжаю. Она сидит, папироску курит. Телевизор орет и стреляет: про войну. Осторожно спрашиваю: ну как? А она головой качает: нет, говорит, ничего не выходит. Я всю ночь ворожила на книге. Ничего не получается. Не хочет он к тебе приходить. Я говорю: как не хочет? почему? А она говорит: к тебе нельзя приходить. На тебе порча. Я удивляюсь: какая порча? Раньше-то он приходил... А теперь, говорит, не придет. Я говорю: ну почему? А она говорит, а ты вспомни, что ты делала после того, как он ушел? А что я делала? Я к подружке переехала, к Ритуле, потому что, конечно, ужасно испугалась, и жила у нее, а если он меня к ней ревновал, то понапрасну, да он и всегда про меня это знал, стало быть, не должен был ревновать, а что я еще делала? ну, не знаю, был однажды, уже после этого, у меня Мерзляков Витасик, я ему все рассказала, он — друг, я не помню, я напилась тогда... Катерина Максимовна поморщилась и говорит: я, милочка, не про это тебя спрашиваю. Ты еще больше ничего не вспоминаешь? Ну, говорю, забегал ко мне Дато, перед гастролями, только я уже знала, что беременная, но ему не сказала, а то бы

убил, а потом, да, я хотела сделать аборт, потому что меня немного запах смущал, и Дато говорит: ты чего, дрянь, такая немытая? А я говорю: ты же, Дато, иногда любишь, когда я немытая. Да, говорит, но не до такой степени! И мне стало стыдно с другими мужчинами, хотя всякая мелочь набивалась зайти, и вот только армянин на днях... Ну, это, продолжаю, вообще не в счет. Дурак, говорю, хоть и Гамлет! То есть вообще не понимаю, на каком основании Владимир Сергеевич на меня обижается!..

А ты, говорит Катерина Максимовна, другой вины за собой не чувствуешь? Нет, говорю. А ты, говорит, подумай... Я подумала. Не знаю, говорю... А куда ты, спрашивает, ездила? Как куда? Ну, я по полю бегала, только это еще раньше, это он знал, это он потому и пришел, он сам говорил. Я, говорит Катерина Максимовна, владельница однокомнатной квартиры в районе Чертанова, не про поле спрашиваю. А вот куда ты поехала, как с ним свиделась, с женихом своим? И на карточку посмотрела. А он тут же на столе лежит. Лежит и нам улыбается. Не помню, говорю, я и в самом деле забыла, а она говорит: а вот на пригорочке, посреди кладбища, церковь стояла? так, что ли? — Ой, говорю, конечно, и свалка венков, осенью, ну да, на следующий

день. Это Мерзляков говорит: немедленно туда! И мы поехали. — А что было дальше? — спросила, потупившись, Катерина Максимовна, словно нужно тут было рассказать подробности, которые только между любимыми общаются, а ей нужно как будто по службе узнать как свахе: нет ли изъянов у вашей горячо обожаемой дочери? родимого пятна, например, на ягодице величиной с абажур? Нет? — Я молилась, говорю, неуклюже, первый раз в жизни... О чем? — еще больше потупилась Катерина Максимовна, вода папироской по дну хрустальной пепельницы. О том, чтобы он больше не приходил... — призналась я, заливаясь краской. Достала она меня! — А потом? — спрашивает. А потом, говорю, я вернулась в эту церковь, как-то приехала на электричке и нашла того попа, который слышал мой душераздирающий крик: молодой попик, и я говорю ему: покрестите меня! И он сначала удивился, но я ему все рассказала — только про него — показала на фотокарточку — ничего не рассказывала — чтобы не испугался, но и того, что я ему рассказала, было бы достаточно, чтобы меня покрестить, он так обрадовался, вы, говорит, Мария Египетская, вот вы кто! а про поле он тоже не знает, зачем ему это! Вы, говорит, понимаете, что одно ваше спасе-

ние стоит больше, чем легион богобоязненных праведников! Вы, говорит, для Него желанная душа, и тут же немедля меня покрестил, безо всяких крестных, а старушка-прислужница мне резинку трусов оттопыривала и туда святую водицу лила, туша мой позор!.. А!.. — наконец дошло до меня, и я растерянно посмотрела на Катерину Максимовну. Катерина Максимовна молчаливо водила горячим концом папироски по донышку хрустальной пепельницы. Понятно... — сказала я. Ну, вот, коли понятно, так иди себе с Богом, — робко так, несмело сказала мне Катерина Максимовна. Я давно ее знала. Мы с Ксюшей и другими девочками к ней заезжали. Она по руке удивительно гадала. Мы часами слушали. Все сходилась. Мы рты открывали. А здесь такая молчальница! Я говорю: — Вы меня, Катерина Максимовна, не прогоняйте. — И смотрю на нее: она противная, волос редкий и гладкий, на затылке жидкий пучок, таких в магазинах с утра полно, ссорятся в очередях, только глаза особые: вишневые и внимательные... Я говорю: — Не гоните! — Нет, говорит, милочка, уходи! Но опять так нетвердо, смотрю: что-то недоговаривает, гонит, но не в шею, гонит, а сама дверь не открывает, выйти куда? Я закурила, молчу. На нее смотрю. Она на меня.

Русская красавица

Заговорщицы. А телевизор орет и стреляет. А попик мой любимый, отец Вениамин, у него тоже глаза особые, лучатся... Но еще молодой, глуповатый, а у глуповатых людей часто глаза лучатся, и от его ясных глаз у меня внутренности стонут: сладенький ты мой... маленький... сахарный...

Все это вспомнилось непроизвольно, или сейчас, как пишу — вспоминается, вот. И рыжие муравьи по столу ползают, я пишу и давлю их пальчиками, развелись они по всему дому, а они страшней тараканов, они страшные: вот умру, они сползутся — хуже червей! — даже костей не оставят, все сточат, а пока я их давлю пальчиками, и пишу... вот еще один по столу ползет... Я говорю: — Катерина Максимовна, ну, сделайте что-нибудь для меня! А она подняла очи свои вишневые и говорит ровным голосом: ты поди, говорит, завтра с утречка в диетический магазин и купи, говорит, диетическое яйцо, самое свежее чтобы было яйцо, непременно, а потом, когда ночью будешь ложиться спать, то разденься и обкатай себя этим яйцом сверху донизу, с головы до самых пят, всю себя обкатай, двадцать раз это надобно сделать, а когда двадцать раз всю себя обкатаешь, положи яичко в изголовье и спи с ним до самого утра, а утром приезжай ко мне...

Я ей чуть в ноги не падаю, спасибо, мол, сделаю все, как наказали, значит, двадцать раз? — да, говорит, двадцать раз — и я полетела к себе. Наутро выхожу яйцо покупать, в центр поехала, по молочным магазинам, среди пенсионерок толкаюсь, к витрине протискиваюсь, покажите яичко, какое самое свежее (по числу), смотрю, какое число указано, и выбираю, а продавщицы — девки-оторвы — глядят на меня, как на больную, сердятся и удивляются, будто я воровка яиц или чокнулась! Выбейте мне, говорю, за одно яичко! А они все думают: чокнулась! Ну, купила, еду домой, а как вечер настал, улеглась я, пузо торчит, лягушонок там кувырывается — и давай обкатывать яйцо с головы до пят, двадцать раз обкатала, умаялась с пузом, а потом положила в изголовье и никак не засну, все о будущем думаю. А утром к Катерине Максимовне заявляюсь.

Она яичко на блюдечко положила, давай, предлагает, сначала чайку попьем. Попили мы чаю, но молча, я жду. Она говорит: ты все так сделала, как я наказала? Ну, хорошо... Встала, достала из комода пеструю тряпочку, завернула в нее яйцо, а потом она стала бить по тряпочке молотком, бьет, бьет, а яйцо не колется, я даже похолодела: не к добру! — она снова

Русская красавица

бьет, а оно не колется, а потом — раз! — разбилось... Она тряпочку развязала, посмотрела туда, смотрит, смотрит, а потом поднимает на меня свои вишневые нехорошие глаза и говорит самыми кончиками губ: — Ну, счастье твое! Вышла из тебя порча! И показывает: черная жилочка, как червячок, в яйце бьется, трепещется... Ну, говорит, твое счастье!

А я думаю: как я пала!

Но ничего ей не сказала, только говорю: — Спасибо вам большое, Катерина Максимовна, я ваша, стало быть, должница... А она говорит, что больше от нее ничего не зависит и вообще ни от кого не зависит, но что двери, говорит, жениху моему отворены в мой дом, а когда придет, не скажу, не знаю, а что касается воздаяния, то почему не принять, если оно ей причитается, изволь, приму, коли вышла из тебя порча, и запросила еще сотню. И пошла вторая армянская сотня на воздаяние Катерине Максимовне, а Леонардик смотрит на нас с фотокарточки и улыбается.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Тараканова Ирина Владимировна, она же Жанна д'Арк, Орлеанская Дева, она же, отчасти, Мария Египетская, русская, беременная, беспартийная, глубоко сочувствующая, разведенная, первый муж — не помню, второй — футболист, княжна, патриотка, невольная иждивенка, проживающая в Союзе Советских Социалистических Республик с рождения, в 23 года вернувшаяся на историческую родину в Москву, Андрианопольская улица, дом 3, строение 2, квартира 16, **согласна** вступить в брак со своим заветным женихом, Леонардо да Винчи, бывшим итальянским художником, ныне безымянным и неприкаянным телом.

Свадьба состоится у меня на квартире в указанное время.

Подпись:

(Ирина Тараканова)

Русская красавица

Голубушка Анастасия Петровна!

Пишу впопыхах. Нет-нет, это не слух, я действительно выхожу. Да, представьте себе, за иностранца. Он — художник Возрождения. Будем жить у него. Умоляю вас, подготовьте моих стариков. Пусть если не благословят, то хотя бы не проклянут!.. Мама-папа! простите! Не ведаю, что творю! Анастасия Петровна, хочу пригласить Вас на свадьбу, да знаю, что Вы не приедете, не соберетесь, ну, конечно, семья, Олечка... Анастасия Петровна, ничего, я не обижусь! На Ваш вопрос, можно ли глотать, отвечу: нужно, милая! Не выплевывать же?! Тут все глотают. Но с умом. Не захлебнитесь от чувств! Ну, все. Бегу.

Обнимаю Вас и целую.

Ваша до гроба,

Ира.

И тогда я подумала: поставьте ей памятник, и народ обрадуется, пойдет гульба, а я, страдая предродовой одышкой, полежу, помечтаю, пусть! до ночи еще далеко, соберусь с мыслями, а не то он, он, мой лягушонок, он отомстит за меня — чтобы вы приседали от тяжести и умирали в тоске, пусть! я приветствую этот богатый мир и даю разрешение, дерзай, лягушонок, чем хуже, тем лучше — дави их хвостом! — но все-таки я не вредная, нет, и меня одолели сомнения, и я ждала его, чтобы проконсультироваться: вытравливать или миловать, а не то утолюсь их слезами, но сомнения были, потому как слишком углубилась в сферу подножной жизни, забыв о божественном, а когда вспомнила, оказалось, что меня нет в списках, и тема исчерпана, и я сказала, махнувши рукой: да ладно, я не злопамятная, жи-

вите, пусть все умрут в свой черед и что с них спрашивать, и если надавить — не гной выйдет — кишки, а чем они виноваты, кроме того, что они виноваты во всем, а раз так, то не стану их приговаривать и рабства не посулю, спи, мой лягушонок, беспробудным сном, я тебя не отпущу, я не губитель, не изверг, не склочница, мне от вас ровным счетом ничего не нужно, а себя — не волнуйтесь — сберегу, сохраню, надоели вы мне, я приглашаю вас на свадьбу, это не истерика, я готова, я лежу и дышу, и начинаю жизнь заново, то есть отменяю рождение сына, и ожидаю дорогого посетителя, не то чтобы с волнением, а как единственного советчика, и если на этот раз мы с ним, как и встарь, не соединились, зато были рядышком, обознались, зато полюбили, не встретились, но стрелялись, и я угадала его напоследок, а он лишь орал от восторга, да, он оказался слепее, но он славно прожил, то есть он победил, он нашелся, он сделал все правильно: мелкоплавающие, а он глубоководный, еще глубже, чем раньше, потому что не надо понимать, зачем понимать, если ясно, что если понимать, то жизни не будет, а так сидеть себе на веранде, когда жара уже спала, как я никогда не сидела, и быть чистой, и пить глотками белое вино, но заказан мне путь, не

дозволено путать назначения, это вам, а не мне, я бежала — вы шага не сделали, только охи да ахи — не стоят они моего сломанного мизинца, и ничего, а я бежала, свое отбегала, лежу и скучаю, в ожидании нескольких слабых вопросов, когда оживится воздух, и зеркало с дырой, что так и осталось, от лени, но я вас зову: приходите в гости, если состоится, не состоится — тоже приходите, мы не годимся в родители, и что нам с ним делать? — Я была готова, я даже не волновалась, потому что отучилась, за остальное отмучаюсь потом, я не жалею, и высшая измена украсила мой быт в пастельные тона, я лежала и смотрела на пыльные трофеи, на кубки и призы — недурная лошадь, и недаром любила лошадей, хотя ничего не смыслила, но любила скакать, и однажды на пляже ко мне, под уздцы, но не будем, сударыня, отвлекаться, заглянем в чистый лист бумаги и скажем себе: в наше умопомрачительное безделье нам есть о чем потрепаться, приблизившись напоследок к оригиналу, хотя бы с другой стороны, да, я дура, и пусть мне не светит, и сама не разберусь в главном, оттого и жду, и ожидание это напрасно, бега кончились хором, на поле вислоухие кролики, это важно для отчетности, и если пели, то не кутались в саваны, этого не было,

а то, что я не среди вас, мне подсказали сны, но ближе! ближе к делу! сосредоточься, Ириша, Ирина Владимировна, у тебя на носу свадьба, и твой жених запаздывает, это печально и вносит в атмосферу элемент ненужной нервозности, и никак не поторопишь его, а может быть, он передумал, устал? да нет, пустое, мы никуда друг без друга, пустое, но все-таки отчего это мы хлебаем говно да говно, для какой конечной радости и с какой целью, здесь я задумалась, с ручкой во рту, не пропустила ли чего в своем отчете, ты сама говорила: **ВЫЖИТЬ!!!** Мы выжили — из ума. Истерика прекрасна, как фонтан, но я успела кое-что нацарапать, как курица лапой, не взыщите за почерк, и даже составила завещание: мою пизду отдайте бедным, отдайте инвалидам, калекам, служащим нижайших чинов, неспособным студентам, онанистам, старикам, тунеядцам, дворовым мальчишкам, живодерам — первому встречному! Они найдут ей применение, но не требуйте от них объяснений, они найдут, и это их дело, но прошу не считать дешевкой: хотя и бывшая в употреблении, но великолепна во всех своих измерениях, узка и мускулиста, мудра и загадочна, романтична и ароматна — по всем параметрам любвеобильна, однако чрезвычайно деликатна и бо-

ится малейшего насилия, вплоть до болезней-ших разрывов, о чем владельцу даст консультацию добрый доктор Флавицкий, он ее наблюдает, но в конце концов, если соберете деньги на памятник, не ставьте его посреди многолюдной площади, это безвкусно, не ставьте визави Василия Блаженного, ибо негоже Василию лицезреть ее каждодневно, а также на Манежной, как новогоднюю елку, — не ставьте! В Москве есть куда более укромные уголки, где встречаются влюбленные и воры, убогие и дрочилы. И, пожалуйста, не в Сандунах: там склизко. Поставьте ей памятник... но, минуточку, не делайте его излишне большим, он не должен взмывать в небо космическим героем или ракетой, не должен попирать землю, как трибун у китайской гостиницы, все это мужское, чужеродное начало, мне не свойственное, ей не приличествующее, нет, ей милее смущенный памятник, накрытый шалью или шинелью, не помню, где-нибудь во двореке, где он жил у друга, лишенный своей кровли, обиженный и непонятый, как она, пусть это будет такой же тихий памятник, по цоколю которого расположатся картины из жизни любви: см. фотографии в спецархиве архивариуса Гавлеева, он же главный консультант, он же разрежет ленточку, а где? Есть Па-

триаршие пруды, но там уже развалился перед детьми в кирзовых сапогах крыловский болван, есть театральные скверики Аквариум и Эрмитаж — да она-то не актриса! есть еще один — да там Маркс — все места заняты, есть, правда, место в Серебряном бору, но не хочу у черта на рогах, как девушка с веслом, не из гордости, а из сочувствия к людям: далеко от метро, нужно ехать троллейбусом, боюсь давки, нет, мне по душе Александровский сад, с его голландской флорой и милицейской фауной, я к милиционерам всегда испытывала уважение и сдержанную симпатию, но это ведь не мне, а ей памятник, я сама не заслужила на этот раз ни золоченый парижский, ни просто конный, ни даже пеший — в этой стране не заслужила, в этот раз — ей, и пусть он будет, как роза, без всяких излишних фантазий, как роза, — и посадите вокруг цветы, много цветов, и сирень — это самое бесполезное, что вы сможете сделать, так и быть, в противовес ратной славе — славу любви, на другом конце, и цветы, цветы, цветы... не предвижу возражений, и посвятим его не моей персоне, а круглой исторической дате: двухтысячному году новой эры — надо будет согласовать, я знаю: бюрократия, во-вторых, на меня не серчайте, ибо дурного не желала и сейчас не желаю, хо-

тя это странно, что вы еще умеете разговаривать, мой папаша куда более последовательный, он отказался от дара речи, а что маму именует Верой, так это даже символично, надо ей сказать, когда прибудет на свадьбу. Да, кстати, я согласна. И на папашу не в обиде, он тоже князь, а, стало быть, не жид, а, стало быть, ему на Россию насрать, потому что он сам Россия. Там у вас, Ксюша, *вы* и господа, а мы тихонечко, по-родственному, по-семейному сядем на кухоньке, не будем менять тарелок, сядем и примем немножко, и захорошеем, и песню затянем, и даже кто-нибудь из нас спляшет, а потом спать ляжем, кому места не хватит — постелим на полу, рядком, по-братски будем лежать: брат с братом, друг с другом, папа с мамой, люди не гордые, одна радость для пряника и кнута, но достаточно, считайте как просьбу: ни слова больше! — а памятник можете ставить, а не поставите, другие поставят, если, конечно, додумаются, и все-таки поменьше думайте — побольше живите. Но спешу пригласить всех на свадьбу, и приносите подарки, подороже, а еще лучше просто деньги: это пойдет на памятник, но только не очень большого размера и непременно из красного гранита, я так хочу, и ей под стать, ладно, перейдем к частной жизни: в конце

концов, мой роман имеет не какое-нибудь отвлеченное, а семейное содержание, семью я всегда почитала, и воспитание детей — особенно, и все-таки плачу только о Ксюше, никто мне не нужен, кроме нее, но она зря обижалась на Леонардика, и поливала, зато в другом ей не было равных, и не будет: никто, как она, не умел так быстро и непроизвольно возликовать, никто не кончал с таким редкостным даром веселья, и она даже чуть-чуть бледнела от полноты жизни, я брала уроки, то есть с первого взгляда, так женщина не смотрит на женщину, и я стала против нетерпимости, пусть все живут, я не против, потому и жду совета, и откликнулся мой кавалер, приперся, а я лежу и пузо выгуливаю, и пупок вытаращился, ну, совсем как третий глаз, а в зеркале рваная рана, не застеклила, и дует оттудова, но дряни не было: появился вполне элегантно и занял место в моей скромной жизни, расположившись на диванчике, и я сказала: господин мой! я истомилась, тебя ожидаючи, сука ты этакая, а он мне в ответ: ты брось выражаться на этом приблатненном жаргончике, я не затем пришел, чтоб слышать вздор! — и замолчал совершенно по-королевски, а я ему возражаю: сволочь ты, Леонардик, большая и жирная сволочь, ей-Богу, не хо-

чешь — не верь, но сволочь, ты меня проморгал и прошляпил, а я тебя отмыла и спасла, облившись грязной кровью твоей, молчи! слушай дальше: я тебя премного благороднее и по масти, и по воспитанию: ты, я говорю, кто? ты юлил и подпрыгивал, а я жила и дышала степным воздухом русского города, мне встреча с тобой многого стоила: папашки, двух одичалых к сегодняшнему дню бывших моих супругов и еще сотни прочих хуев, если считать приблизительно, не вникая в подробности, но я выполнила свое назначение, постаралась на славу, почему ты так долго не приходил? Он, пристыженный и довольно прозрачный, попрозрачнее, чем в прошлый разок, ага, говорю, растворяешься и хочешь, чтоб я тоже? — мне, говорит, было трудно к тебе прийти — ну, говорю, и вали отсюда — смотрю, нет мужика, обиделся, Ксюша, мужик — он и есть мужик, даже если наполовину прозрачный, теперь бы уже не тронул, а я опять лежу и пузо глажу, рассуждая о мелочах жизни, и времени у меня полно, на дворе весна, безвитаминозное время, но, покупая на рынке гранаты и овощи, ем за двоих, а меня баран забодал, иду от метро, далеко мне идти, не сев на автобус, тут стадо, коровы, телята — прошла, несмотря на рога, а дальше бараны — я думала: мелкий скот

и не боялась, а один налетел со спины и поддел — больно! — пот катится — пришла в себя, села, записываю, а он приходит, говорит: — Ну, хватит! Давай по-серьезному. — Давай. — Ты родишь? — Хотелось бы знать, что папа ребеночка по этому поводу думает. — Он говорит: — Зачем он нам? — Я говорю: — А что? Ты раньше не мог мне сказать? — Сама не хотела. — Ну, верно. Ладно. Простим их, Федя! — Прошу тебя, выражайся иначе. Я жениться на тебе пришел. — А я говорю: фиктивно? Он понял и замолчал, а здесь, говорю, тебя напрочь забыли, слишком много живых, может, мне остаться, напомнить? — Это не дело, — говорит. — А что ДЕЛО? — Он говорит: По совести сказать... Помолчал. Как тебе объяснить? Ну, конечно, говорю, дура... — Он говорит: ну, если нет общей меры, как объяснить? — И опять молчит. Недоговаривает. Я говорю: ты почему не договариваешь? Позволь мне устроить истерику. Ты, говорит, мастерица. Я говорю, оставь меня, можно я еще поживу? Он говорит: а я? То есть с крайне эгоистических позиций. Ладно. Только, пожалуйста, не уговаривай. Я сама знаю. А это, показываю на лягушонка, подарочек. Он говорит: — Не преувеличивай... С них как с гуся вода. И не воспитывай. — Ну, хорошо. Ты ме-

ня любишь? — Он говорит, не то слово, обожает, места себе не находит, сидит, бледненький, но мне доступный, а я сижу на кровати: брюхатая, полная жизни и смердящая, сижу, отдуваюсь: — Страшно, говорю, я ведь знаю, что я сделала, то есть про Катерину Максимовну, не накажут? — А ты, говорит, хочешь заранее разузнать и прицениться? А не хочешь ли неожиданностей, как все другие прочие, как я, говорит, к примеру? Что ж, говорю, мне платье пошить или как? — Пошей, — говорит. — Ну а если сначала рожу, а потом уже поженимся? — Пожал плечами: — Как хочешь... — И не жалко тебе их? Чудовище все-таки вырастет. — Не одно, так другое... — Да! Но не от меня! — и мечтаю выйти за него замуж, он такой нежный, встаю, подхожу к нему, глажу по волосам, они, как у ребенка, шелковистые... — Когда? — говорю покорно. — Сегодня. — Как сегодня? — Зачем откладывать? — Только не газом! — выкрикнула... — Леонардик, как лучше? — Мы стали прикидывать. Я привередничала: вены, прыжки с высоты не подходят, таблетки — ненадежны, еще стошнит, все остальное очень больно. — А сам ты меня не можешь? — Наморщил лоб. — Ну, — упрашиваю, — пожалуйста... — А потом смотрю: нет его. Леонардик, куда ты делся? Пошел за топо-

ром... Я выбежала на улицу, через полтора месяца — листочки, а я, замужняя женщина, буду спешить к сыну, волнуясь от радости, выпишу мамашу, будет, сука, бабушкой! и няньку найму, а мой дражайший Виктор Харитоныч, отрывая время у государственных дел, станет звонить домой и на зависть куколкам-секретаршам ворковать, гулькать по телефону: ну, как там наш махонький? все ли скушал? не болит у него животик? похож ли он на меня с утра? или на тебя? или вовсе ни на кого не похож? — Как же, радость моя, не похож, если ты меня полюбил, прикинувшись ходячим призраком и позабыв о государственных делах, и презрев пожилую жену, которую давно не баловал лаской, о, Карлос! о, мой латиноамериканский посол! почитатель Неруды, противник хунт и прочих фашистских экспериментов, выгони из гаража свой жигуленок с красивым, как пижама, флажком, пригласи министров и королей, это тебе раз плюнуть, сбегутся! нет, Карлос, твой мерседес не длиннее мерседеса моего Леонардика, мы тоже можем, когда хотим, прости за дурацкую шутку, но знай: сынуля прекрасен, как бог твоей страны, я знала заранее: все кончится миром, ты — мой, ты — мой муж, но во дворе уже столпотворение, и черная сотня хуев выстроилась,

готовая к подаркам и закуске, готовая к прощенью, гуляйте, милые, я буду еще с вами, в последний раз, и вы, братишки Ивановичи, идите, идите сюда, простимся, спасибо за статечку, сочтемся, и вы, корреспонденты мировой корреспонденции, вы тут как тут, привет, бандиты!

Вот, я принимаю гостей, в количестве черной сотни, а также их жен, соседей, родственничков, зевак и любовниц, и Антошка, как забыть об Антошке? мы снова дружим, и, пожалуйста, называй меня м а м а, а это твой ненародившийся братик, черный червячок, поздоровайся, ну, что отворотился? смелей, не бойся! а мамочку целуй в щеку и никому не рассказывай, ну, это слишком! — каков хам! — дальше: Дато, он для нас сыграет, вот стелуэй, разумеется, Мендельсона, только не слишком громко, а то голова, да, Дато, сегодня я выхожу за тебя замуж, Дато Виссарионович, а твой отец Виссарион меня знает как отъявленную красавицу, как божество, а Антошка мне шепчет на ухо: мама, ты у меня гений чистой красоты, мамочка, а вот и Егор с Юрой Федоровым, пара пуганых конвоиров, с гладиолусами, я сегодня выхожу замуж, а вот еще пара: мои бывшие одичалые супруги, привет! одного в лицо не помню, но что-то смутно родное, по причине стремитель-

ного бегства из родительского дома, другой в мешковатом костюме из местного универмага, не пьет, не курит, не играет в мяч, что так? уж не умер ли ты, мой мальчик? ты раздражил мой пыл! ты! оставь провинциальные комплексы, вся черная сотня хуев — твоя заслуга! эй, вы! ну, да ладно, не буду кричать, нет, я крикну: минутку терпения! — мамаша, встань у входа, в половине седьмого ты отворишь дверь, да приоденься, вот тебе колъе, вот браслеты и тряпки, носи на здоровье, возьми духи, эти тоже, бери все, мне не нужно, не плачь, это подарок, ну-ну, я счастлива, мама, не плачь, а что касается ВАШЕЙ дальнейшей судьбы, она меня волнует все меньше и меньше: если вы все пережретесь, перережетесь, если посадите друг друга по тюрьмам и лагерям, если запретите ходить в сортир под угрозой казни, введете комендантский час на питьевую воду, я воскликну: значит, так надо! я одобряю! я вас благословлю, все, хватит на сегодня, ах, Витасик, шестидневный герой, ты тоже пожаловал, а Мерзляков себе на уме, он всегда наблюдает: за кого это она выходит замуж? и нет ли подвоха? и почему собравшиеся гости вместо того, чтобы пройти в квартиру, стоят по колено в мартовском снегу впереमेжку с дипломатическими представителями, каретами скорой помощи и воронами конструкциями

отечественного производства? почему? — напряженно думает Витасик, — почему она высывается к нам через форточку, придерживая не слишком крепко свое кимоно в надежде на случайное явление груди? уж не морочит ли она нам голову — эта беременная курва? — напряженно думает Мерзляков, утопая в мартовском снегу, который скоро растает, и вообще бы сюда картинку природы: грачи прилетели, гнезда ворон на березах, в конце концов мы имеем право на красоту, гарантированное славянской душой, мы ведь не жмоты, не скупердяи, не датчане — как? вы до сих пор незнакомы? — вот мой датчанин, пришел и ушел, но все-таки сегодня он вместе с нами, с международной выставки медоборудования, не блондин, прислал мне в подарок лакея из Националя с двумя коробками снеди и часики с браслетом, не дорогие, конечно, однако вполне удачно для одной-единственной палки, пришел и ушел, а Виктор Харитоныч — он с нами навеки, он наш, вологодский, о, как он прекрасен своею образиной, дайте-ка описать напоследок: итак, в очках, под ними свинячие глазки, бороденка, лицо как будто перепревшее, кожа лоснится и пористая, как свежая коровья лепешка, губы мокрые, член заострен, как очиненный карандаш, сидит в кабинете и чертит линии для поддержания дея-

Русская красавица

тельности ума, но все-таки он мой будущий муж, его с тех пор повысили, скоро примется повсюду командовать, однако меня защищал, как только мог, однако вступил в сговор, и ходят слухи, женится на богатой вдове Зинаиде Васильевне, когда она в трауре и с белым кружевным платочком приходила на меня жаловаться, как на картине Эль Греко, я всегда была культурная женщина, носила кимоно, в котором Игорек, ах, вы тоже, кажется, незнакомы? на всех не хватило бумаги, он уехал в моем кимоно, у него ночью, как мы залегли, завывла машина, дефект секретки, на ветру, от ветра и стужи завывла итальянская секретка, считая, что мороз ее обворовал, и тогда сосед, что надо мною, однажды с вином зашел познакомиться, я извинилась, ссылаясь на занятость, сосед ретировался и за-таил, и вот орет машина, Игорек, схвативши кимоно, спешит во двор, а сосед, распахнув окно, орал: — Раз к бляди приехал, не шуми! Ты тихо приезжай! — С испугу Игорек в кимоно и уехал, и исчез навсегда, хотя был красивый, богатый, при мне из постели по телефону распекал подчиненных в автобазе и очень возбуждался от ругани, и требовал одновременных ласк, а потом приходит кимоно по почте бандеролью, вместе со шлепанцами, ну, я соседа тоже пригласила на свадьбу, и даже того Степана,

что по заданию сбил меня наповал, — не удержалась, пригласила, пришел с Марфой Георгиевной, они поженились недавно, и новые друзья пришли, под предводительством Бориса Давыдовича, в гулком подъезде стучала палка с резным набалдашником в виде бородатой головы пророка: для кого — Лев Толстой, для кого — Солженицын, для своих — Моисей. Пришли новые друзья, в сумерках их недавней славы, поредевшие ряды, Белохвостов уже в Пенсильвании, работает не по профессии, доволен, и с ними женщины со снайперским прищуром и сигаретой табачной фабрики Ява, пришли и прищурились, и Леонардик уже летит со скандалом: зачем они пришли? почему столько иностранцев? Сплошные любовнички... А что мне делать: я дружила с мужчинами при помощи всех своих чувств. И сказал тогда Леонардик, ошалев и опешив, с диванчика воззвал: — Да ты еще слишком близка к ним!.. — И только тебя, моя любимейшая подруга жизни, не было в этом убогом дворе. Шпионка и террористка, ты долетела всего лишь до ворот столичного аэродрома и была неумолимо лишена визы, выданной тебе по рассеянности, и выдворена вон, и в слезах летела назад, с посадкой в Варшаве, и сказал Леонардик: — Слава Богу, что выдворили! Только ее нам не хватало! — Но Ритуля

пришла, и Гамлет. Гамлет был очень, очень взволнован, он так полюбил меня за короткий срок, что не расставался с журнальчиком, и Ритуля журнальчик искромсала маникюрными ножничками и сожгла обрезки на помойке, Гамлет плакал, узнав о потере, а мамаша перед дверью стояла на посту, как центурион и зверь, дедуля-стахановец умер спустя год, тоскуя по внучке, папаша-краснодеревщик в Москву прибыть отказался, так как в нем обнаружился редкий вид фанаберии: боязнь троллейбусов, он считал их дьявольскими созданиями и отказался наотрез, несмотря на все уговоры, однако в назначенный день, надев белую сорочку, при галстукке, выпил перед зеркалом полный бокал портвейна и вспомнил о моем детстве, по поводу чего я писала ему в письме: Милый мой папка, а еще знай, что пройдет жизнь, я пройду и умру навсегда, но единственный мужчина, который по-настоящему мне дорог, близок, любим, с кем мне было лучше, чем со всеми, — см. на обороте букет пионов — вот, знай: это ты! Твоя любящая тебя дочь, Ира. Он достал из пиджака открытку, смятую годами, и заплакал. Он был прощен. Мать сдерживала напор заинтригованных гостей, в недоумении косящихся друг на друга и уже разделившихся на враждебные партии, не подающие руки. Я махала им из

окна. Леонардик, однако, расселся на диванчике в позе удовлетворенного жениха. Он сказал: о, как я счастлив жениться на тебе, моя красавица. Я сказала: не подгорит ли индейка, дурень?! Заботы снедали меня. Я очень беспокоилась за индейку. Столы были накрыты в обеих комнатах, срам зеркала будет занавешен, остается навести марафет, а Нина Чиж, прислонясь к березе, рыдала от зависти. Леонардика, конечно, не было. Он не то чтобы опаздывал, а просто мы так уговорились, чтобы он попозже пришел. Ну его! Он все был на меня в претензии, когда приходил в третий раз или в десятый, или в сотый, он шел косяком, будто прорвало, днем и ночью, но днем бывал тусклый и нерешительный, зато ночью читал мораль и учил, что я не понимаю происходящего и никакая я не Жанна д'Арк. Отвяжись, говорила я, сам-то ты кто? Вон, почитай... И брала с полки его очередной шедевр и открывала на случайной странице... он бранился, плевался, визжал, ага! говорила, то-то, не для вечности, извини, отвяжись. Мне было жалко их, таких продрогших в снегу и мерзости двора, я каждому хотела сделать что-нибудь ласковое, но мой подарок был коллективный, как воззвание. Роман заканчивался свадьбой.

Пора кончать! Задернуть зеркало несвежей простыней, но пока, присев на пуфик, отразясь

в трюмо, смотрю, охваченная волнением и усталостью, на пузо, подвела глаза, задумалась. Ириша, гости ждут! Столы благоухали кулебякой. Мое приданое: хрусталь и столовое серебро. Не стыдно. Пошлепала по животу, ну, как ты, лягушонок? Присмирел. Твоя мамочка нынче на выданье. И снова к окну, и через форточку взглянуть на вереницу приглашенных, и Катериночка Максимовна пришла, и Вероника с Тимофеем, тот носится по двору, как оглашенный, ну, собирайся, Ира! — Леонардик, развалясь в торжествующей позе насытившегося барина, торопит, они никогда не в силах скрыть этого животного торжества, я простодушно напеваю, причесываюсь, скольжу по паркету, о чем подумать, откладываю думать, хотя ловлю себя на том, когда же думать, если не сейчас, часы пробили шесть, ну, вот: еще осталась половинка времени, чтобы все вспомнить или помолиться: отец Вениамин, мой сахарный попик, входил в состав гостей, но был в штатском, я первый раз видела его в штатском, отчего показался мне более соблазнительным, так и тянулись ручки к запорам и застежкам, чтобы схватить — о этот дивный миг! — с мутной капелькой нетерпенья, но Ира! Не время об этом! Ты должна им что-нибудь сказать. Почему это я должна? Мне смешно. А что мне им сказать?

Мы не в Руане. Где англичане? Вся моя Британия — разгромленный оркестр во главе с ялтинским козлом, сорвавшимся с привязи, с веревкой на шее, пока его жена, мать крохотных дочерей, томится в валютном баре, сокрушаясь по поводу поездки в варварскую державу, где понятие о порядочности не совпадает с гринвичем. Мы не в Руане. И все-таки скажи. Ирина Владимировна прогуливается. Ирина Владимировна украла конфетку. Жует. Уютно закинув ножку на ножку, сидит Леонардик с гвоздикой в петлице, это бесчисленное явление. Ну, хорошо.

Ходите медленно, следите за походкой, у нас плохие, скверные походки. Я была исключение. Выработывайте походку, больше писать не о чем, сокрушаюсь о содеянном, прошу принять во внимание мою разрозненную жизнь, была всегда на грани, не владела собой, была слишком застенчива, не верила в то, что я кому-нибудь желанна. Скоро, скоро поток гостей вольется в эти унылые комнаты, скоро крикнут: горько! Пир горой. Ну, чего ты копаешься, ворчит Леонардик. Жениху свойственно волноваться. Я в последний раз выхожу замуж, но я не горячусь, я просто счастлива жить и работать в этой стране, посреди такого удивительного народа, и если кому не угодила, извиняюсь. И ты, Виктор Харито-

ныч, не будь строг! Что ты хочешь? Баба! Но зато какая красивая... И напрасно говорит мой милейший Станислав Альбертович, что я бабушка русского аборта. Обижает... Прижимаясь к подругам жизни или минуты, кто не думал в тот миг обо мне, кто не думал: с ней, только с ней я чувствовал себя королем, она незабываема, и я решила сохраниться в лучшем виде, я вам дарю покой, и из подвала уголовного морга несите бережно мой труп: я вас любила. Я встала и пошла в ванную, вот моя столбовая дорожка, за дверью шум, и бедная мамаша с трудом сдерживает осаду. Матушка! Ты была страшная дура, но мне нравится, как ты закричишь! Кричи, не стесняйся!.. Леонардик, подай мне шлепанцы... Куда? К тебе, дорогой и любимый. Лапочка ты мой, я к тебе. До встречи! Я знаю, что за дверью пустота и на дворе мартовская слякоть, что воздух влажный и гнилой, что столы ломаются от яств, и я ничего не говорю, так не лучше ли пойти в ванную и принять теплый душ, пусть расслабится моя охваченная старостью шея! Пусть свадьба идет на убыль. Убирайтесь! Я вас сочинила, чтобы сочинить себя, но рассочинив вас, я самораспускаюсь как персона, но перед роспуском замечу невпопад: пейзаж ранней весны в Москве без брюта слишком сир, итак, пейте шам-

панское! я для вас купила три ящика, там, на балконе, возьмете, если мороз за ночь не разорвал бутылки, ой, Леонардик, а вдруг разорвал? Какая без шампанского свадьба? Я выпила и закусила семгой. В желудке найдете косточки. Уходя к своему жениху, скажу, что ничего вам не скажу.

Все правильно, и вы, пленительные американки, напишите очередной протест. В нем будет горечь непонимания стерляжьей ухи и брусничного варенья, в нем будет сказано, что братство женщин не знает границ, объединившись в муке пиздорванства. Я сегодня сделала так, что вместо бермудского треугольника вы обнаружите волосатое любящее сердечко. Витасик, ты знаешь, я всегда была немножко сентиментальна. Я ходила в твоём белом свитере по твоей богатой квартире и ждала чуда. Оно случилось: ты меня полюбил навсегда. Но обстоятельства превыше нас и всего остального, сегодня мы говорим друг другу нежности вокзального свойства, только не хватает проводника, итак, пора, а то они успеют. Я карабкаюсь к потолку по мыльной табуретке, которая служила мне для стирки белья, и мыло затвердело, я лезу вверх, и входит Леонардик. — Жанна, — говорит он, — на этот раз вы выбираете такой способ? — Да, — отвечаю

Русская красавица

я. — Ну, что же, это вполне по-хамски. — Да, мой повелитель, — соглашаюсь я. — Да, мой неземной жених. — Поцелуемся? И мы целуемся. Помирился? И мы миримся. Жизнь трудна. Я делаю шаг к нему. Бросаюсь в объятия. Крепче! Обними меня крепче, милый! Войди, войди в меня, коханий!.. Ой, как хорошо!.. Ой, как кружатся стены и полотенец!.. Ах, как неожиданно! Еще!.. Ну, еще!.. Сдави сильнее! сильнее сдави! Ну, еще. Дай мне сладко кончить! Ты меня совсем задушил, любимый... Ой, нет! Не надо! Больно, дурак! Не х-а-а-а-а-а-а-xxx-xx-ха...ха...xxxxx...ха...

Свет! Я вижу свет! Он ширится. Он растет. Рывок — и я на воле. Я слышу ласковые голоса. Они подбадривают и одобряют. Гудит газоаппарат. Я вижу ее: она мерно покачивается. С таким щедрым пузом. Прощай, лягушонок! Не дрыгайся, ты поскорей засыпай, ты спи, баю-бай, лягушонок! Я смотрю на нее: она затихла. Умытая счастливыми слезами. Матушка отворяет двери. Гости хлынули. Свадьба! Свадьба! А где же невеста? А вот и невеста. — Здравствуйте.

1980—1982

Виктор Ерофеев
Русская красавица

Художник А. Бондаренко

Компьютерная верстка А. Панов

Корректор Е. Суздалева

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 1; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 02.09.2001. Формат 75х90/32
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,5
Тираж 10 000 экз. Заказ № 2171

Издательский Дом «Зебра Е»
Изд. лиц. № 05017 от 07.06.2001
115597, Москва, Воронежская ул., д. 46/1, к. 77
Тел/факс (095) 215 6444
e-mail: info@zebrae.ru
<http://zebrae.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Виктор Ерофеев
Русская красавица

